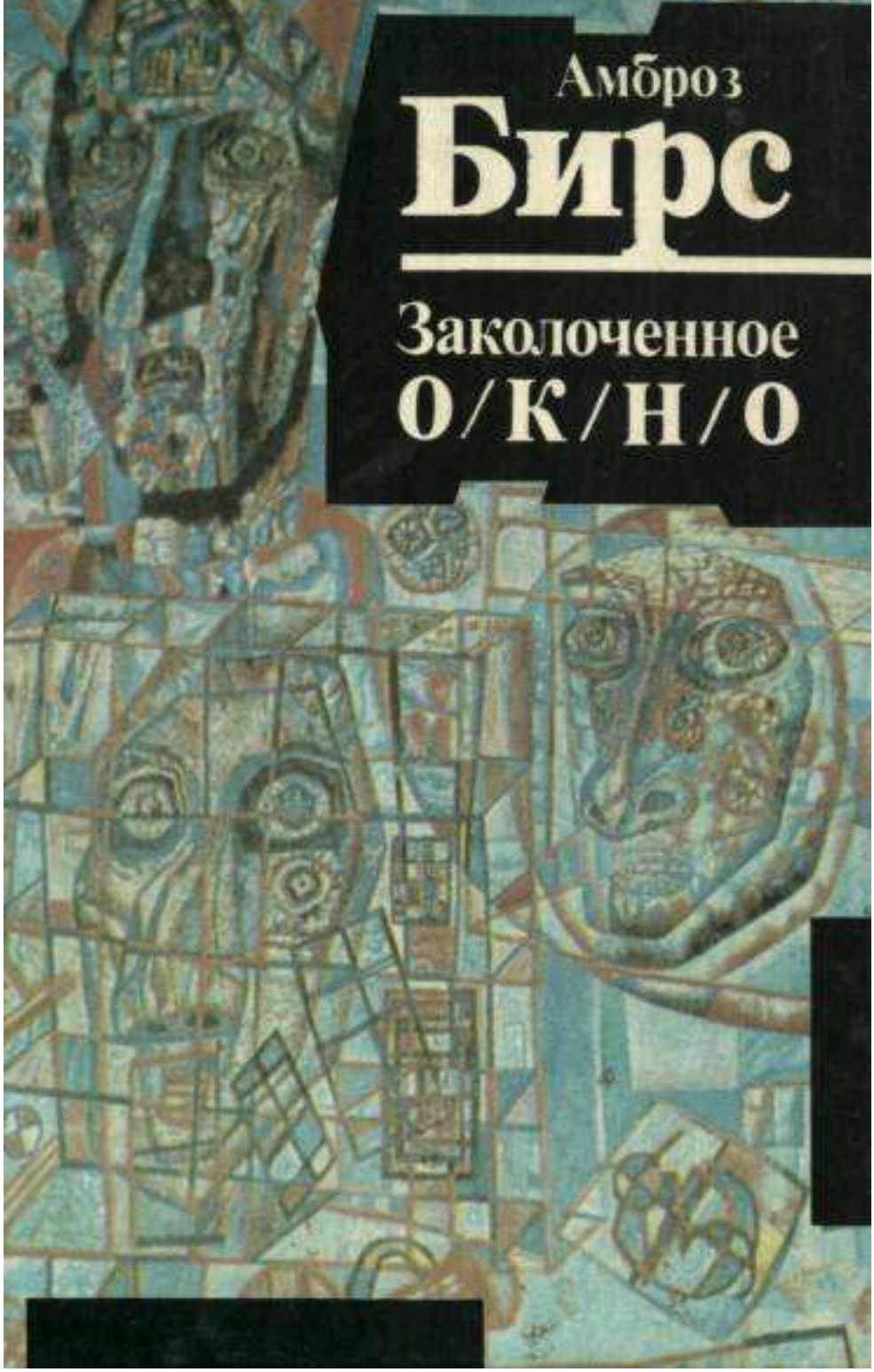
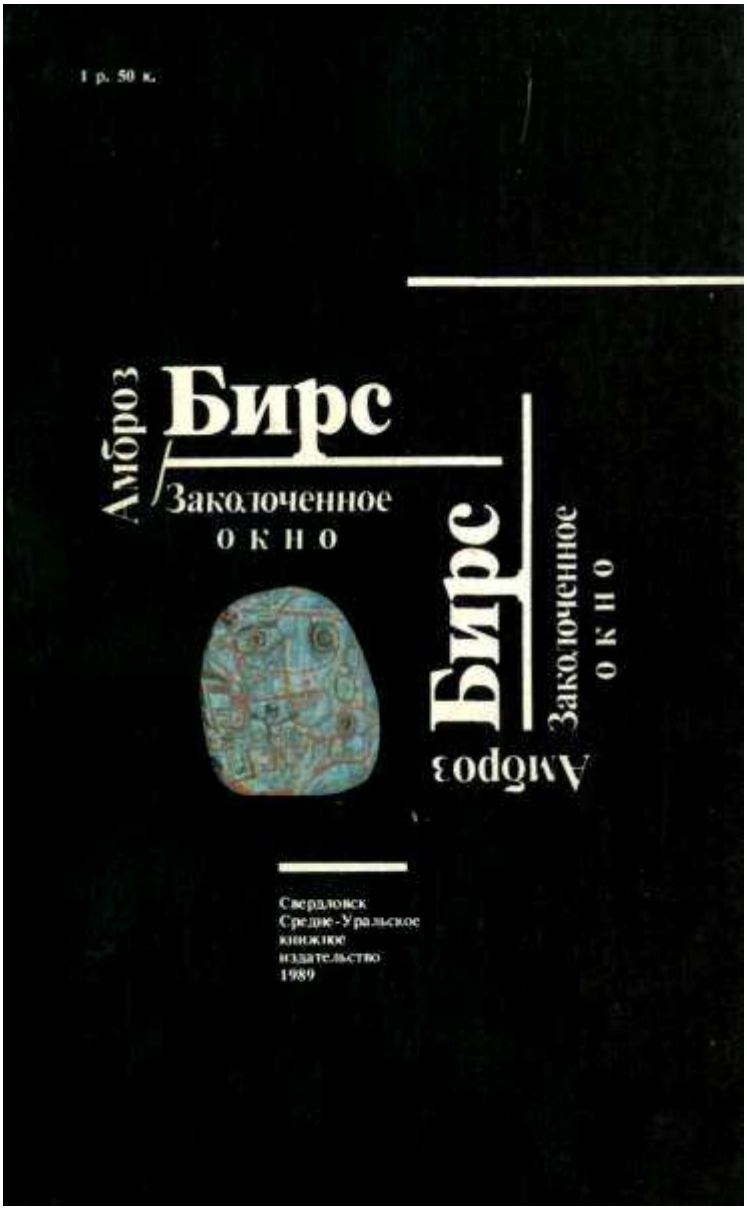
Амброз

Бирс

Заколоченное О/К/Н/О




1 р. 50 к.
Амброз Бирс
Заколоченное
окно
Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство
1989

Амброз Бирс

ЗАКОЛОЧЕННОЕ ОКНО

РАССКАЗЫ
И МИНИАТЮРЫ

Перевод
с английского

Свердловск
Средне-Уральское книжное
издательство
1989

83.37США
Б64

Текст печатается по изданию: Амброз Бирс. Словарь Сатаны и рассказы. М.: Художественная литература, 1966.

Редактор С. В. Марченко

40100-050
Б ———— 50–89
М 158 (03)-89

ISBN 5–7529–0182–0

© Средне-Уральское книжное издательство, 1989.

Амброз Бирс

Рассказ не приняли, сказали, что он слишком мрачен. Сколько раз зарекался не отдавать на суд чужих людей свое самое личное, не выставлять на всеобщее обозрение. Пиши в стол, если не можешь не писать. Прячь рассказы под кипами статей,– статьи рвут из рук, их печатают мгновенно. Давно уже его называют королем калифорнийского журнализма. Слава. А ему кажется, главное не сказано. А если и сказано, то вот на этих пожелтевших листах, которых никто, почти никто не читал. Может быть, и правы те, кто отвергает?

Амброз Бирс медленно перечитывает свой рассказ «Случай на мосту через Совиный ручей». Память той, далекой, почти легендарной войны. Для него – главная память.

Герой рассказа Пэйтон Факуэр – южанин, враг. Его сейчас повесят. Бирс читает и ясно видит перед собой этот берег, железнодорожный мост, его стропила, этот ручей, видит, как расположена доска для казни. Так помнят карту-двухверстку, тот клочок земли, который сам прошел, прополз. Так помнят, когда малейшая неточность может стоить жизни.

Оборвалась веревка, герой упал в воду. «Он ощущал лицом набегающую рябь и по очереди различал звук каждого толчка воды. Он смотрел на лесистый берег, видел отдельно каждое дерево, каждый листик и жилки на нем, вплоть до насекомых в листве – цикад, мух с блестящими спинками, серых пауков, протягивающих свою паутину от ветки к ветке».

Пауза, толчок, снова пауза – сам ритм прозы следует за движениями человека, чудом спасшегося от смерти. Только что все на берегу, в лесу было так ясно, так обычно, так нормально и вдруг – странный, чужой, пугающий пейзаж. Пейзаж – сигнал: «Черные стволы могучих деревьев стояли отвесной стеной по обе стороны дороги, сходясь в одной точке на горизонте, как линии на перспективном чертеже. Взглянув вверх из этой расселины в лесной чаще, он увидел над головой крупные золотые звезды,– они соединялись в странные созвездия и показались ему чужими». Призрачный пейзаж вновь сменяется реальным, даже домашним, жена спускается с крыльца. «Он уже хочет прижать ее к груди, как вдруг яростный удар обрушивается сзади на его шею; ослепительно белый свет в грохоте пушечного выстрела полыхает вокруг него – затем мрак и безмолвие!

Пэйтон Факуэр был мертв, тело его с переломанной шеей мерно покачивалось под стропилами моста через Совиный ручей».

Вот они – эти строчки, развязка, ему кажется, нашел главное; а редакции рассказ не понравился.

Что было на самом деле? Уже трудно вспомнить. Так, конечно, не было. Много раз бывало хмурое утро. Стреляли. Ловили шпионов. Убивали – умирали. Не хотели умирать, надеялись до конца на чудо. Было еще и на войне, и в мирной жизни нечто таинственное, странное – как это выразить на бумаге?

Бирс часто думал о погибших друзьях, об однополчанах, все чаще возвращался в прошлое. А если бы они остались в живых? Часто «проигрывал» про себя чужие жизни. Мнимое спасение героя, мнимое возвращение – это, конечно, писательская фантазия.

В конце концов рассказ «Случай на мосту через Совиный ручей» опубликовали. Мог ли Бирс тогда думать, что этот рассказ будут читать и перечитывать разные люди в разных странах, переведут на многие иностранные языки, экранизируют?

Потому что писателю удалось выразить нечто важное, страстное стремление к жизни, способность человека до самого конца надеяться,– и мрачно-ироническую издевку над этой надеждой.

Удалось закрепить богатую и мгновенную изобразительную способность сознания – и выразить все это в емкой, единственной, художественно законченной форме.

«Случай на мосту через Совиный ручей» – один из лучших рассказов Бирса. Далеко не все написанное им – на этом уровне.

* * *

Амброз Бирс родился в 1842 году в маленькой деревушке штата Огайо десятым ребенком в семье обедневшего фермера. Его родители – шестое поколение переселенцев, стойкие, замкнутые, фанатично религиозные люди. Они жили с убеждением, что человек рожден на свет, для горя, а всякая радость от лукавого.

У отца была небольшая библиотека, по тогдашнему времени это был человек начитанный, не без склонности к иронии. Всем своим детям он дал имена, начинающиеся с буквы «А»,– Абигайл, Адиссон, Аурелин, Алмеда, Анна, Амелия, Августин, Андрью, Альберт. И десятый, младший,– Амброз.

Семья часто переезжала,– может быть, там, в соседней деревне, в соседнем штате, хлеб дешевле, кров дешевле, легче жить.

Родителям трудно было прокормить всех, Амброз рано начал работать. В пятнадцать лет он уже помощник типографщика антирабовладельческой газеты «Норзерн Индианиен». Потом он переменил много профессий: рекламировал пищевые продукты, служил официантом, рабочим на кирпичной фабрике. Поступил в военную школу в Кентукки. И всегда очень много читал.

Бирс – «человек, сам себя сделавший», «self made man», как говорят американцы.

Важнейший из жизненных университетов Бирса – гражданская война, война между Севером и Югом. Он сражался в рядах северян, четыре года провел на фронте, был тяжело ранен, лежал в госпитале. Увидел, испытал войну не штабную, а настоящую, в окопах, на передовой. С войны остались головокружения и головные боли, которые мучили всю жизнь.

Мальчик, подросток, юноша жил в мире запретов. Почти все было «нельзя», многое было «надо». «Добродетель – некоторые виды воздержания»,– горько сформулирует он потом в «Словаре Сатаны». **Долг** представал вездесущим, **с**трашным, карающим, неизбежным. От долга не уйдешь никуда. Долг мял, душил. И вдруг все это исчезло. Не надо было ни о чем думать. Не надо было выбирать. Рядовой девятого пехотного полка не выбирает.

Бирс храбро сражался, ему в первый и последний раз в жизни было беззаботно и радостно жить. Даже радостно. Посреди насилия, крови, горя, смертей. Молодой солдат еще не думал о литературе, он лишь с жадностью, ненасытностью молодости, да и натуры артистической, вбирал, впитывал в себя все впечатления. А потом, много лет спустя, это в нем очнулось уже отстоявшимся и оформленным в рассказах. С теми серьезными поправками, которые вносились новыми представлениями о жизни.

На войне его повышали в чинах – от рядового до майора. Он стал топографом в армии Шермана. В 1865 году его демобилизовали.

После войны он участвовал, как представитель правительства США, в распределении оставленной южанами собственности. И послевоенное похмелье он увидел в самых отвратительных, мелочных, подлых проявлениях. Пытался сопротивляться, одерживал небольшие победы, но перед ним была стена.

Он начал писать стихи, рассказы, очерки, статьи. Его подписи к карикатурам появились однажды наклеенными на стенах в Сан-Франциско. Так пришел первый сладкий вкус славы. Он становится корреспондентом газеты «Ньюз Леттер» и потом, тридцать лет подряд, сотрудничает в разных газетах и журналах, от его пера многое зависит – слава или безвестность, богатство или бедность, созданные или поверженные репутации. Бирс – колумнист; русское слово «обозреватель» не вполне передает его смысл. Колумнист ведет постоянный раздел, рубрику, направляет газету, объясняет читателю, как надо расценивать очередной шаг правительства и мероприятия городских властей, новую книгу и политические перевороты в далеких странах. Колумнист очень силен.

В 1871 году Бирс печатает свой первый рассказ «Долина призраков» в журнале «Оверленд Мансли». На страницах этого журнала совсем недавно прославился Брет Гарт. Двадцать лет спустя там же были опубликованы первые рассказы Джека Лондона,– и

началась его мировая известность. Но в отличие от них и от других, более удачливых литературных собратьев дебют Бирса, как и первый его сборник рассказов «Самородки и пыль» (1872), не был замечен.

После трехлетнего пребывания в Англии, где Бирс тоже успешно сотрудничал в прессе, он снова возвращается в Сан-Франциско. Становится одним из организаторов Клуба богемы, хотя пуританин в нем бушует страстно. Он издает книгу, в которой обличает... вальс, как «открытое и бесстыдное проявление сексуальных влечений, проявление похоти...». Книга вызвала немалый шум.

Бирс ходит по улицам с револьвером в кармане и с палкой в руках – это не бутафория и не причуды старого вояки. Порою дерется с обидчиками, лицемерами, лжецами.

Журналистика не приносит богатства. Семья не такая большая, как у отца, но все же требует денег. Как и Твен, Бирс пытается стать бизнесменом, но также безуспешно. Он много пишет, обличает могущественных властителей Америки. В одном из еженедельников он печатает статьи против корпорации «Сентрал Пасифик». «Мы считаем этих людей врагами общества и самыми настоящими преступниками»,– заявляет Бирс в 1882 году. За двадцать лет до первых выступлений «разгребателей грязи» Бирс начал их дело, начал партизанские набеги на хозяев страны. «Он поражал молниями негодяев капиталистов и двуличных политиканов. Хотя многое в статьях Бирса было легковесным и маловажным, значительная часть состояла в обличении той подлости, которая, подобно раку, разъедала американскую жизнь взятками, подкупом, сделками – всем тем, что сопровождало путь разбойников капитала к власти»,– пишет его биограф Фэтаут.

При этом до конца жизни Бирс скептически относился к любым попыткам переустройства общества, отрицательно относился к социализму, в статьях нападал на американских социалистов. Порою солидаризировался с правительством; так, например, он поддерживал империалистическую войну, которую Соединенные Штаты вели против Испании за владение Кубой и Филиппинами.

В 1887 году молодой Херст сделал Бирса фактическим редактором газеты «Сан-Франциско Экземинер». Растет известность, растет шумное и недолговечное – на один день – могущество газетчика. Его инициалы АГБ – Амброз Грегори Бирс – расшифровываются острословами как Almighty Yod Bierce – Всемогущий Бог Бирс. И все больше грязи видит вокруг себя журналист. «Моя религия – ненавидеть негодяев». Эту религию он исповедует с истовой страстью.

Он обличает в печати железнодорожного короля Хантингтона, а когда того, под давлением множества фактов, привлекают к судебной ответственности, Бирс едет в Вашингтон в качестве общественного обвинителя. Его пытаются подкупить. На вопрос, сколько он хочет отступного, Бирс отвечает: семьдесят пять миллионов долларов. Эти семьдесят пять миллионов и вынужден был вернуть правительству США обвиняемый миллионер-разбойник.

Американцы обогащались. Власть золота становилась все более всеобъемлющей. Бирс оказался среди тех немногих, кто осмеливался этому противостоять.

И продолжал писать. В 1891 году на деньги почитателей издается сборник «В гуще жизни»; в 1892 году – «Может ли это быть?»; в 1899 году – «Фантастические басни», сборники стихов и статей. Незадолго до смерти, в 1909–1912 годах, публикуется первое и единственное собрание сочинений в двенадцати томах. Туда включено все без отбора, безо всякой критической оценки. Это издание – тоже результат частной инициативы, тираж – двести пятьдесят экземпляров. Маленький даже по тем временам, да и тот не расходится, лежит в книжных лавках Сан-Франциско. Это еще более горько, чем возвращенные рукописи.

В детстве он страдал от отцовского деспотизма, но своих жену и детей тоже тиранил. И становился все более одиноким. Ушла жена, пятнадцатилетний сын сбежал из дому и угодил в тюрьму. Бирс пережил обоих своих сыновей.

В 1907 году он обращается к правительству США с просьбой о пенсии. Прошло сорок пять лет с тех пор, как он добровольно вступил в американскую армию. Для большинства правительственных чиновников, которые рассматривали его заявление, гражданская война – мертвая страница из учебников истории и сам Бирс – обломок канувшей в Лету эпохи. Его прошение – очередное чудачество – удовлетворили, назначили двенадцать долларов в месяц.

В 1913 году Бирс уехал военным корреспондентом в Мексику. И пропал. Последнее полученное от него письмо датировано 26 декабря 1913 года. Смерть его окружена легендой. Расстрелян Панчо Вильей, вождем восставших мексиканских крестьян? Это возможно, ведь Бирс как американец, гринго – враг. Заплутался в неразберихе гражданской войны? Просто не выдержал физических лишений? На этот раз ему не девятнадцать, а семьдесят один год. Как бы то ни было – не вернулся. Пришла смерть, о которой он столько писал.

Бирс был одним из самых ярких, примечательных людей своего времени. А как писатель он при жизни был почти неизвестен. К его книгам критика и читатели начали обращаться лишь в двадцатые годы. Легенда и по сей день соперничает с истиной; и порою побеждает легенда.

Лучшее из созданного им уцелело. Не двенадцать томов, которые издавались полвека тому назад, а сравнительно немногое, те самые рассказы, которые отвергались, пылились в ящиках письменных столов.

Рекомендуя начинающему писателю, что читать, Хемингуэй назвал среди других и Бирса.

Первый сборник рассказов Бирса в СССР вышел в 1926 году («Настоящее чудовище»). В 1928 году в «Вестнике иностранной литературы» публикуются афоризмы из «Словаря Сатаны». В 1938

году вышел второй, гораздо более полный сборник. Настоящее издание осуществлено по сборнику «The Collected Writings of Ambrose Bierce», Нью-Йорк, 1946 год.

О Бирсе писали многие советские критики – И. Анисимов, А. Елистратова, С. Динамов, И. Кашкин. Точную характеристику стилю Бирса дал Михаил Левидов: «...бешеный поток страсти и ненависти клокочет подо льдом стилистического равнодушия, и какой стремительный натиск в этом медлительном по внешности повествовании...» (Литературное обозрение, № 7, 1939).

* * *

Рассказы Бирса – горький комментарий на полях буржуазного преуспеяния. Америка после гражданской войны пережила то время, которое точно охарактеризовано заглавием романа молодого Твена: «Позолоченный век». Апологеты называли его золотым. Росли города, прокладывались железные дороги, строились заводы, возникали сказочные состояния. Именно тогда родились нынешние империи – Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов, Вандербильтов. Печать возвещала «неограниченные возможности». В отличие от Старого Света, от Европы, здесь возможно все,– надо иметь лишь голову на плечах, крепкие нервы, цель, волю, упорство, и вчерашний чистильщик сапог может стать миллионером. Успех – вот главное слово, вот мерка всех ценностей, вот принцип отношения к жизни и к человеку. И рядом полным-полно иллюстраций – биографии новых королей. Да и жизнь самого Бирса – сын безвестного фермера из глухой деревушки стал королем журнализма...

А в рассказах писателя Бирса предстают люди, которых «позолоченный век» не сделал счастливыми. Люди искалеченные, люди горькой, несостоявшейся судьбы. Очень много мертвецов. В предисловии к одному из своих сборников автор говорит: «Когда я писал эту книгу, мне пришлось тем или другим способом умертвить очень многих ее героев, но читатель заметит, что среди них нет людей, достойных того, чтобы их оставить в живых». Да и живые тоже часто напоминают мертвых.

Богач Амос Эберсаш построил приют для престарелых («Проситель»). Так поступали многие богачи. Хорошая вывеска для бизнеса, расходы, которые в конце концов окупаются. К тому же дань церкви – отличный вклад в загробную жизнь. Рассказ построен в характерно бирсовском духе: маленький мальчик обо что-то споткнулся. Это начало и вместе с тем – конец, который раскрывается во всем своем гротескном ужасе только в последнем абзаце. «Что-то» – труп старика, основателя этого самого убежища для престарелых, Амоса Эберсаша. Его имя выведено на каменном фронтоне. С каменной черствостью его отбрасывает в смерть то учреждение, цель

которого – будто бы – принять, накормить, дать кров бездомным старикам.

Работает каждая деталь: споткнувшийся мальчик, сын председателя совета попечителей, это под его председательством и было решено отказать просителю. Время действия – рождественское утро, когда люди, вспоминая о Христе, должны быть особенно добры друг к другу. Есть в рассказе диккенсовские интонации, прежде всего в изображении смотрителя убежища Тилбоди. Злобное существо мечтает только о том, чтобы вовсе освободить убежище от стариков, а пока ускоряет их переход в загробный мир. Но ирония Бирса злее и безнадежнее диккенсовской. Ничто, ни один звук не смягчает леденящего ужаса.

В рассказе прежде всего ирония ситуации. Иронические ситуации возникают у Бирса подчас из простого недоразумения («Банкротство фирмы Хоуп и Уондел», «Сальто м-ра Свиддлера» и др.). А в рассказе «Проситель» само недоразумение выражает глубокую дисгармонию между внешностью и сущностью. Писатель драматически сталкивает два факта: замерз нищий старик – и основатель убежища на своем опыте познал бесчеловечность созданного им учреждения. Обманчива благодушная интонация повествования.

Гротеск Бирса остро социален. В его рассказах раскрывается бесчеловечная сущность бизнеса. Многое он предугадывает. В рассказе «Город Почивших» некий пройдоха наживался на мертвецах,– он их не хоронил, а продавал на мыло. Трест назывался «Гомолин». Так переосмысливается безудержный азарт «грюндерства», когда создавалось великое множество разных трестов – мыльных пузырей.

«Может ли машина мыслить?» – спрашивается в рассказе «Хозяин Моксона». Герой – изобретатель, создавший робота, играющего в шахматы, злобного робота, который убил изобретателя.

Так написанное, по существу, век тому назад совпадает с мыслями, настроениями, ситуациями наших дней. Но характернее, пожалуй, не частные совпадения, а то общее, разлитое во всем творчестве Бирса ощущение обреченности человека, которое и оказывается родственным некоторым течениям современной литературы. Разрушение личности, по Бирсу, обуславливается не только давлением обстоятельств, но и непрочностью того нравственного материала, из которого сделан человек. То горько, то с отчаянием, то почти злорадно показывает автор, – вот они, люди, людишки, мелкие, подлые, трусливые. Разумеется, их, таких, можно заменить машинами, разумеется, их легко можно менять местами («Страж мертвеца»).

Среди множества лиц, населяющих рассказы, почти нет запоминающихся характеров,– важно не с кем происходит, а что происходит. Это естественно вытекает из отношения писателя к человеку.

В «Словаре Сатаны» Бирс так определяет понятие «привидение»: «внешнее и видимое воплощение внутреннего страха». Этими

«внешними и видимыми воплощениями» наполнены его книги. А сам он, по свидетельствам современников, был человеком бесстрашным.

В повседневной жизни, воспроизведенной писателем, было много реальных причин для страхов,– люди жили на границе лесов, населенных дикими зверями, люди были довольно слабы перед могущественными силами природы. Еще больше оснований для страхов создавали сами люди, история общества,– истребление индейцев, издевательства над неграми, линчевания, преследования всяких инакомыслящих, малые и большие, внешние и внутренние войны.

В рассказах Бирса постоянно встречаются трупы, призраки, таинственные шорохи, гулкие шаги. Часто люди погибают не от выстрела, не от ножа, не от зубов зверя, а от самого страха («Человек и змея», «Страж мертвеца»). И автор издевается над попытками науки просветить, объяснить. Так, от разрыва сердца умер ученый-скептик, приняв пуговицы чучела за глаза змеи.

Храбрость Бирс считает одной из самых редких и великих человеческих добродетелей, любуется храбрецами. Любуется лейтенантом Брэйлом, который в любом сражении не кланялся пулям, шел с высоко поднятой головой. Его храбрость была явно безрассудна и тем не менее прекрасна. Недаром и его смерть изображена так необычно для Бирса,– смерть, окруженная почтительным восхищением и соратников и противников. Ничуть не похожая на обычную в его рассказах, отвратительную, уродливую смерть. И в этом рассказе конец по-новому освещает начало,– лейтенант был храбр во имя любви, он все время красовался перед той, которая написала ему жестокие и несправедливые слова. А женщина эта, как обычно в книгах Бирса, была совершенно недостойна любви героя («Убит под Ресакой»).

Бирс развивает жанр «страшного» рассказа. Этот жанр уже стал классическим до Бирса, в творчестве Эдгара По. И, вслед за По, кошмарное он помещает в условия совершенно реальные.

В рассказе «Глаза пантеры» страхи оправданны, нет никакой мистики, по-настоящему жаль и безумную девушку, и полюбившего ее храброго человека. Ее безумие мотивировано, насколько может быть мотивировано безумие. Человечны и горе, и боязнь сойти с ума.

В одинокой, заброшенной хижине скоропостижно умирает любимая жена; но этого мало. Надо еще, чтобы ворвалась ночью пантера и загрызла неостывший труп («Заколоченное окно»). Это обстоятельство, пожалуй, не усиливает страх, а, напротив, ослабляет его. Такие излишества встречаются не редко.

Бесценный материал для исследования, изучения, изображения страхов дала Бирсу война.

Он сражался в армии северян, но по его рассказам этого не определишь,– война у него, всякая война – кровавое, бессмысленное побоище. Такой взгляд на войну тогда был гуманным.

Это еще война не современная, во многом не оторвавшаяся от поединка древних.

К далеким временам восходит преклонение перед личным мужеством в рассказе «Убит под Ресакой» или поведение генерала в рассказе «Паркер Аддерсон, философ».

Война очень важна для Бирса не только потому, что это часть его биографии, личный опыт, но и потому, что на войне обнажается сокровенная сущность человека, обнажается то, что в мирное время могло лежать под спудом на дне души и остаться тайной для всех и для него самого.

Бирсу всегда хотелось заглянуть вглубь, исследовать человека в обстоятельствах особых, чрезвычайных, испытать на излом. Война предоставила неисчислимое количество особых ситуаций – невероятных, необычайных, но тем не менее реалистически правдоподобных. Ситуаций, которые он сам наблюдал, в которых сам участвовал, о которых ему рассказывали очевидцы. В изображении войны много беспощадной правды. Его война – не парадная, не приукрашенная, но романтизация войны у него еще сохраняется.

Казалось бы, самоубийство в бою совершенно невероятно. А Бирс скрупулезным психологическим анализом мотивирует закономерность самоубийства («Один офицер, один солдат»).

Храбрость, трусость, самоотверженность, товарищество, ужас перед смертью, преодоление страха – особые и вместе с тем всеобщие темы – выступают в военных рассказах писателя.

Сражающуюся армию Бирс ощущает как нечто целое, как живой организм. И смотрит на военные действия снизу, преимущественно глазами рядового солдата. Гневно звучит обличение спесивого генерала («Офицер из обидчивых»),– из-за его дурацкого приказа артиллерия вела огонь по своим.

Глубинная связь военных тем с основными мотивами творчества Бирса отчетливо видна в рассказе «Заполненный пробел». Герой рассказа существует в далеком, давно ушедшем прошлом, он потерял память, ему кажется, что все еще продолжается война. Он отбился от армии северян и во что бы то ни стало должен найти свой отряд. Он не верит врачу, случайно встретившемуся на дороге, не верит свидетельствам своих глаз, которые видят морщины на руках. И только взглянув на свое отражение в луже, на старого, седого человека, он на миг понимает, что в беспамятстве прожита целая долгая жизнь.

Незадолго до отъезда в Мексику Бирс посетил места боев, участником которых он был много лет тому назад. Он не терял памяти, он был нормальным человеком, но и он не мог вместить того, что было *тогда*, в свою теперешнюю жизнь.

В стихотворении Анны Ахматовой «Есть три эпохи у воспоминаний» говорится:

И вот когда горчайшее приходит:

Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни.

Так было у самого Бирса. Так стало – в драматическом сгущении – у героя его рассказа. Особая ситуация – места, знакомые с юности, места, особо запомнившиеся, потому что здесь произошли, вероятно, самые значительные, самые важные события,– эти места неожиданно ставят человека лицом к лицу с его прошлым. А прошлое – давным-давно поросшая мохом могила. Выдержать это столкновение невозможно. Мгновенная драматическая развязка в последнем абзаце завершает повествование, которое началось замедленно, эпически плавно.

Военные рассказы Бирса, при всех их противоречиях, вместе с романом Крейна «Алый знак доблести» – начало правдивого изображения войны в литературе США.

* * *

В американских книгах той поры добро и зло были строго разделены. Представления догматической религии с ее двумя полюсами: Бог – Сатана, господствовали и во взглядах на мораль, на общественное и личное поведение человека, на искусство. Существование в жизни и необходимость в литературе «положительных» и «отрицательных» героев в чистом виде не вызывали сомнений. За редкими исключениями, в американской литературе конца XIX – начала

XX века, даже и в первых книгах критических реалистов, царил еще весьма метафизический взгляд на человека. Хорошее и дурное в нем существовали строго порознь, отделенные непроницаемыми перегородками. И в этом проявился тот отроческий характер литературы, о котором постоянно говорит американская критика.

Были, конечно, исключения – Мелвил, По, Джеймс,– но именно исключения. Среди них был и Бирс. В отличие от господствовавших в литературе представлений он остро ощущал противоречия и вокруг себя, и в себе самом.

На войне он видел убийства, горе, смерть. Ужас войны он пронес через всю жизнь. Война выступает в глубоком подтексте часто в тех горьких, мрачных произведениях, которые по сюжету своему не имеют никакого отношения к войне.

И вместе с тем годы войны так и остались самыми счастливыми годами, годами истинного братства, близости с людьми. Недаром до конца жизни его друзьями оставались только ветераны войны.

И дорога в искусство была усеяна добрыми намерениями, но прямолинейной связи добра и таланта Бирс не увидел.

Его творчество пришлось на время краха идеалов, утраты веры. «Одно из великих верований вселенной» – так определяет он безверие. В то самое время, когда Бирс работает над «Словарем Сатаны», Твен записывает в дневник: «Шестьдесят лет тому назад слова «оптимист» и «дурак» еще не были синонимами». Здесь историческое объяснение афоризмов Бирса.

«Словарь Сатаны» в наиболее ясной и общей форме воплощает универсальность отрицания. Свергаются, сокрушаются все современные Бирсу боги, церковные и светские. Самоуверенность, американизм, оптимизм.

«Словарь» построен остро полемически, это как бы серия ответов на общераспространенные убеждения, утверждаемые везде, всеми, кстати, и в тех самых журналах, в которых сотрудничал Бирс.

– Упорный труд может привести каждого американца к славе и богатству, к миллионам в банке и президентскому креслу.

«Труд,– отвечает Бирс,– один из процессов, с помощью которых «А» добывает собственность для «Б».

– Люби Америку, это благословенная страна, избранная страна господа бога, свободная от всех пороков Старого Света.

«Моя страна, права она или нет»,– Бирс еще солдатом мог слышать эти слова Карла Шурца, деятеля гражданской войны.

«Патриотизм,– отвечает теперь Бирс,– легковоспламеняющийся мусор, готовый вспыхнуть от факела честолюбца, ищущего прославить свое имя. В знаменитом словаре д-ра Джонсона патриотизм определяется как последнее прибежище негодяя. Со всем должным уважением к высокопросвещенному, но уступающему нам лексикографу мы берем на себя смелость назвать это прибежище первым».

«Бизнесмены – оплот нации»,– на все **лады** кричали газеты, журналы, проповедники.

«Уолл-стрит,– отвечает Бирс,– символ греховности в пример и назидание любому дьяволу. Вера в то, что Уолл-стрит не что иное, как воровской притон, заменяет каждому неудачливому воришке упование на царство небесное».

«Самые улыбчивые стороны жизни и есть самые американские»,– говорил писатель Уильям Дин Гоуэллс.

«Иностранный» (не американский) – порочный, нестерпимый, нечестивый»,– издевался Бирс.

Сама энергия афоризмов – от этого внутреннего полемического запала.

Бирс издевается и над тем, что есть, и над всеми попытками изменений. Он видит прежде всего не различия между либералами и консерваторами той поры – не слишком, впрочем, существенные. Он видит то общее, что их объединяет,– видит иллюзии разного рода, системы заблуждений.

Бирс обличает подряд богатство, шовинизм, веру в прогресс, в науку, претензии христианства на монополию. Он наблюдает за внешней политикой и горько формулирует: «Союз – в международных отношениях – соглашение двух воров, руки которых так глубоко завязли друг у друга у карманах, что они уже не могут грабить третьего порознь». Обличения Бирса относятся не только к политике. Не остается ничего – ни в обществе, ни в мире личности. Само устройство планеты кажется писателю на редкость нелепым,– на две трети земля покрыта водой, а человек лишен жабр...

«Святой – мертвый грешник в пересмотренном издании». Снова и снова писатель настаивает: нет личностей, говорит о заменяемости, о том, что видимое не совпадает с сущностью.

Конечно, Бирс односторонен в своих афоризмах. Без односторонности нет ни жанра, ни этого писателя. Геометрическая, линейная универсальность жанра, быть может, в наибольшей степени соответствует особенностям его дарования. Эти особенности и помогли ему запечатлеть существенное, не только преходящее, но свойственное иным временам.

Подступом к диалектике добра и зла стал для Бирса цинизм. «Словарь Сатаны» в первом издании (1906) назывался «Словарем циника». Причем цинизм Бирса был своеобразным развитием, следствием истовой веры. «Он был вывернутым наизнанку идеалистом»,– справедливо замечает его биограф.

В «Фантастических баснях» политическая жизнь современной писателю Америки предстает как бесстыдное торжище, где все и вся продается и покупается. Политика – грязная возня у кормушек. Политический деятель, будь то сенатор, конгрессмен, член Верховного суда – вор, шантажист, негодяй. Здесь в сгущенном виде содержится своеобразное ядро творчества писателя.

Басня «Фермер и его сыновья» – вариант распространенного в мировой литературе сюжета. Умирающий отец обманывает нерадивых сыновей, утверждая, что в саду зарыт клад. Но вместе с тем говорит правду: тщательно перекопав сад в поисках мнимого сокровища, сыновья снимут большой урожай и получат настоящее богатство. Но бирсовская концовка – горькая ирония: «И сыновья выкопали все сорные травы, а заодно и виноградные лозы и за недосугом даже забыли похоронить старика отца».

Ни проблеска надежды, всеподавляющее царство зла. Бирс был наделен трезвостью ума, стремлением сдирать оболочку, добираясь до сути, что отнюдь не способствовало его собственному счастью и спокойствию. Он был сатириком, обличителем не только по мировоззрению, по взглядам на жизнь, но и по склонностям, по складу характера, что и проявилось в самом типе дарования.

Однако содрать с человека кожу – значит ли это, всегда глубже проникнуть в его суть?

Джек Лондон сказал однажды, что у него никогда не было отрочества. Как бы возмещая это, большая часть написанных им книг отроческая по своему характеру и обращенная к отрочеству.

Амброз Бирс заметил, что никогда не был мальчишкой. Но писал он так, как будто и никто на свете не был мальчишкой. Будто доверчивого – особенно свойственного детям – отношения к жизни и не существует вовсе. В тех редких случаях, когда в его произведениях действуют дети,– это маленькие старички.

На долю шестилетнего героя рассказа «Чикамога» выпадают невероятные бедствия,– он не просто случайно заблудился и ему пришлось переночевать в лесу – что уже не мало для ребенка,– он еще встречает остатки разбитого наголову отряда, и это не люди, а ползущие, страшные, окровавленные существа. Он наконец находит свой дом – дом сгорел. Лежит труп женщины, «из рваной раны над виском вывалились мозги – пенистая серая масса, покрытая гроздьями темно-красных пузырьков». Но и этого нагромождения натуралистически описанных ужасов оказывается недостаточно. Ребенок еще к тому же глухонемой.

Бирс принадлежал к числу людей, которые живут без иллюзий. А ведь иллюзии и вера – тоже необходимейшая часть опыта человечества. Без них нельзя не только преобразовывать общество, без них нельзя ни сеять, ни рожать, ни строить дом. Человеку свойственна вера в будущее – сознательная или бессознательная,– без которой нет ни жизни, ни искусства. И потому периоды безверия неизбежно сменяются периодами новой веры и часто новых заблуждений, новых иллюзий. Без веры в будущее нет и большого искусства. В отсутствии веры сила и слабость, ограниченность писателя. Это остро ощущал и сам Бирс. Понимал, что его взгляд, во многом повернутый только на дурное, подлое, пошлое, сужает его возможности художника. «Я люблю встречи с йеху»,– вызывающе замечает он в одном из писем, подчеркивая свое родство с великим сатириком Свифтом, который воплотил в страшных йеху свое представление о выродившемся человечестве. А на самом деле Бирс, как и Свифт, содрогался от ужаса при этих встречах. Судороги ужаса, отчаяния запечатлены и в самой форме его произведений.

«Невозможно представить себе Шекспира или Гете, истекающих кровью и вопящих от творческих мук в тяжелых тисках обстоятельств. Великое мне представляется всегда с улыбкой, пусть горькой по временам, но всегда в сознании недостижимого превосходства над ходульными, маленькими титанами, докучающими Олимпу своими бедствиями, хлопушечными катастрофами»,– говорил он в одном из писем. Так он сам, между прочим, объяснил, почему не стал, не мог стать великим сатириком.

Сатана не перестает мечтать о потерянном рае. Циничная ухмылка Мефистофеля скрывает тоску по идеалам.

* * *

Исследователи современной американской новеллы Мэри и Уоллес Стегнеры пишут: «Если существует литературная форма, которая в наибольшей степени выражает нас как народ, то это нервная, концентрированная, краткая, всепроникающая, законченная форма новеллы». Амброз Бирс принадлежит к числу создателей этой формы. Лучшие его рассказы включаются во все американские антологии.

Головокружительно неожиданные концы рассказов, казалось, несколько роднят новеллистику Бирса и новеллистику О'Генри. Но функция концовок у этих двух писателей почти противоположна.

У Генри в самых печальных, драматических ситуациях конец обычно выявляет случайность, незначительность, несущественность конфликта, сводя его к недоразумению. Конец смягчает, примиряет.

У Бирса конец всегда усугубляет драматизм, исключает возможность примирения, доводит гротескное до наивысшего предела.

Художники-современники смотрят на одно и то же, перед ними те же человеческие типы, те же обстоятельства. Но великое разнообразие искусства, само его существование обуславливается и тем особым видением, тем своим магическим кристаллом, сквозь который проступает объективный мир. Был и у Бирса свой магический кристалл, потому есть и его полоса спектра в большой, богатой, разнообразной литературе США.

Р. Орлова

Из сборника «В гуще жизни» (1891)

Случай на мосту через Совиный ручей

1

На железнодорожном мосту, в северной части Алабамы, стоял человек и смотрел вниз, на быстрые воды в двадцати футах под ним. Руки у него были связаны за спиной. Шею стягивала веревка. Один конец ее был прикреплен к поперечной балке над его головой и свешивался до его колен. Несколько досок, положенных на шпалы, служили помостом для него и для его палачей – двух солдат федеральной армии под началом сержанта, который в мирное время скорее всего занимал должность помощника шерифа. Несколько поодаль, на том же импровизированном эшафоте, стоял офицер в полной капитанской форме, при оружии. На обоих концах моста стояло по часовому с ружьем «на караул», то есть держа ружье вертикально, против левого плеча, в согнутой под прямым углом руке, – поза напряженная, требующая неестественного выпрямления туловища. По-видимому, знать о том, что происходит на мосту, не входило в обязанности часовых; они только преграждали доступ к настилу.

Позади одного из часовых никого не было видно; на сотню ярдов рельсы убегали по прямой в лес, затем скрывались за поворотом. По всей вероятности, в той стороне находился сторожевой пост. На другом берегу местность была открытая – пологий откос упирался в частокол из вертикально вколоченных бревен, с бойницами для ружей и амбразурой, из которой торчало жерло наведенной на мост медной пушки. По откосу, на полпути между мостом и укреплением, выстроились зрители – рота солдат-пехотинцев в положении «вольно» : приклады упирались в землю, стволы были слегка наклонены к правому плечу, руки скрещены над ложами. Справа от строя стоял лейтенант, сабля его была воткнута в землю, руки сложены на

эфесе. За исключением четверых людей на середине моста, никто не двигался. Рота была повернута фронтом к мосту, солдаты застыли на месте, глядя прямо перед собой. Часовые, обращенные лицом каждый к своему берегу, казались статуями, поставленными для украшения моста. Капитан, скрестив руки, молча следил за работой своих подчиненных, не делая никаких указаний. Смерть – высокая особа, и если она заранее оповещает о своем прибытии, ее следует принимать с официальными изъявлениями почета; это относится и к тем, кто с ней на короткой ноге. По кодексу военного этикета безмолвие и неподвижность знаменуют глубокое почтение.

Человеку, которому предстояло быть повешенным, было на вид лет тридцать пять. Судя по платью – такое обычно носили плантаторы, – он был штатский. Черты лица правильные – прямой нос, энергичный рот, широкий лоб; черные волосы, зачесанные за уши, падали на воротник хорошо сшитого сюртука. Он носил усы и бороду клином, но щеки были выбриты; большие темно-серые глаза выражали доброту, что было несколько неожиданно в человеке с петлей на шее. Он ничем не походил на обычного преступника. Закон военного времени не скупится на смертные приговоры для людей всякого рода, не исключая и джентльменов.

Закончив приготовления, оба солдата отступили на шаг, и каждый оттащил доску, на которой стоял. Сержант повернулся к капитану, отдал честь и тут же встал позади него, после чего капитан тоже сделал шаг в сторону. В результате этих перемещений осужденный и сержант очутились на концах доски, покрывавшей три перекладины моста. Тот конец, на котором стоял штатский, почти – но не совсем – доходил до четвертой. Раньше эта доска удерживалась в равновесии тяжестью капитана; теперь его место занял сержант. По сигналу капитана сержант должен был шагнуть в сторону, доска – качнуться и осужденный – повиснуть в пролете между двумя перекладинами. Он оценил по достоинству простоту и практичность этого способа. Ему не закрыли лица и не завязали глаз. Он взглянул на свое шаткое подножие, затем обратил взор на бурлящую речку, бешено несущуюся под его ногами. Он заметил пляшущее в воде бревно и проводил его взглядом вниз по течению. Как медленно оно плыло! Какая ленивая река!

Он закрыл глаза, стараясь сосредоточить свои последние мысли на жене и детях. До сих пор вода, тронутая золотом

раннего солнца, туман, застилавший берега, ниже по течению – маленький форт, рота солдат, плывущее бревно – все отвлекало его. А теперь он ощутил новую помеху. Какой-то звук, назойливый и непонятный, перебивал его мысли о близких – резкое, отчетливое металлическое постукивание, словно удары молота по наковальне: в нем была та же звонкость. Он прислушивался, пытаясь определить, что это за звук и откуда он исходит; он одновременно казался бесконечно далеким и очень близким. Удары раздавались через правильные промежутки, но медленно, как похоронный звон. Он ждал нового удара с нетерпением и, сам не зная почему, со страхом. Постепенно промежутки между ударами удлинялись, паузы становились все мучительнее. Чем реже раздавались звуки, тем большую силу и отчетливость они приобретали. Они, словно ножом, резали ухо; он едва удерживался от крика. То, что он слышал, было тиканье его часов.

Он открыл глаза и снова увидел воду под ногами. «Высвободить бы только руки, – подумал он, – я сбросил бы петлю и прыгнул в воду. Если глубоко нырнуть, пули меня не достанут, я бы доплыл до берега, скрылся в лесу и пробрался домой. Мой дом, слава богу, далеко от фронта; моя жена и дети пока еще недосягаемы для захватчиков».

Когда эти мысли, которые здесь приходится излагать словами, сложились в сознании обреченного, точнее – молнией сверкнули в его мозгу, капитан сделал знак сержанту. Сержант отступил в сторону.

2

Пэйтон Факуэр, состоятельный плантатор из старинной и весьма почтенной алабамской семьи, рабовладелец и, подобно многим рабовладельцам, участник политической борьбы за отделение Южных штатов, был ярым приверженцем дела южан. По некоторым, не зависящим от него обстоятельствам, о которых здесь нет надобности говорить, ему не удалось вступить в ряды храброго войска, несчастливо сражавшегося и разгромленного под Коринфом, и он томился в бесславной праздности, стремясь приложить свои силы, мечтая об увлекательной жизни воина, ища случая отличиться. Он верил, что такой случай ему представится, как он представляется всем в военное время. А пока он делал, что мог. Не было услуги –

пусть самой скромной, – которой он с готовностью не оказал бы делу Юга; не было такого рискованного предприятия, на которое он не пошел бы, лишь бы против него не восставала совесть человека штатского, но воина в душе, чистосердечно и не слишком вдумчиво уверовавшего в неприкрыто гнусный принцип, что в делах любовных и военных дозволено все.

Однажды вечером, когда Факуэр сидел с женой на каменной скамье у ворот своей усадьбы, к ним подъехал солдат в серой форме и попросил напиться. Миссис Факуэр с величайшей охотой отправилась в дом, чтобы собственноручно исполнить его просьбу. Как только она ушла, ее муж подошел к запыленному всаднику и стал жадно расспрашивать его о положении на фронте.

– Янки восстанавливают железные дороги, – сказал солдат, – и готовятся к новому наступлению. Они продвинулись до Совиного ручья, починили мост и возвели укрепление на своем берегу. Повсюду расклеен приказ, что всякий штатский, замеченный в порче железнодорожного полотна, мостов, туннелей или составов, будет повешен без суда. Я сам читал приказ.

– А далеко до моста? – спросил Факуэр.

– Миль тридцать.

– А наш берег охраняется?

– Только сторожевой пост на линии, в полмили от реки, да часовой на мосту.

– А если бы какой-нибудь кандидат висельных наук, и притом штатский, проскользнул мимо сторожевого поста и справился бы с часовым, – с улыбкой сказал Факуэр, – что мог бы он сделать?

Солдат задумался.

– Я был там с месяц назад, – ответил он, – и помню, что во время зимнего разлива к деревянному устою моста прибило много плавника. Теперь бревна высохли и вспыхнут, как пакля.

Тут вернулась миссис Факуэр и дала солдату напиться. Он учтиво поблагодарил ее, поклонился хозяину и уехал. Час спустя, когда уже стемнело, он снова проехал мимо плантации в обратном направлении. Это был лазутчик федеральных войск.

3

Падая в пролет моста, Пэйтон Факуэр потерял сознание и был уже словно мертвый. Очнулся он – через тысячелетие, казалось ему, – от острой боли в сдавленном горле, за которой последовало ощущение удушья. Мучительные, резкие боли словно отталкивались от его шеи и расходились по всему телу. Они мчались по точно намеченным разветвлениям, пульсируя с непостижимой частотой. Они казались огненными потоками, накалявшими его тело до нестерпимого жара. До головы боль не доходила – голова гудела от сильного прилива крови. Мысль не участвовала в этих ощущениях. Сознательная часть его существа уже была уничтожена; он мог только чувствовать, а чувствовать было пыткой. Но он знал, что движется. Лишенный материальной субстанции, превратившись всего только в огненный центр светящегося облака, он, словно гигантский маятник, качался по немыслимой дуге колебаний. И вдруг со страшной внезапностью замыкающий его свет с громким всплеском взлетел кверху; уши ему наполнил неистовый рев, наступили холод и мрак. Мозг снова заработал; он понял, что веревка оборвалась и что он упал в воду. Но он не захлебнулся; петля, стягивающая ему горло, не давала воде заливать легкие. Смерть через повешение на дне реки! Что может быть нелепее? Он открыл глаза в темноте и увидел над головой слабый свет, но как далеко, как недосягаемо далеко! По-видимому, он все еще погружался, так как свет становился слабей и слабей, пока не осталось едва заметное мерцание. Затем свет опять стал больше и ярче, и он понял, что его выносит на поверхность, понял с сожалением, ибо теперь ему было хорошо «. Быть повешенным и утопленным, – подумал он, – это еще куда ни шло; но я не хочу быть пристреленным. Нет, меня не пристрелят; это было бы несправедливо».

Он не делал сознательных усилий, но по острой боли в запястьях догадался, что пытается высвободить руки. Он стал внимательно следить за своими попытками, равнодушный к исходу борьбы, словно праздный зритель, следящий за работой фокусника. Какая изумительная ловкость! Какая великолепная сверхчеловеческая сила! Ах, просто замечательно! Браво! Веревка упала, руки его разъединились и всплыли, он смутно различал их в ширящемся свете. Он с растущим вниманием следил за тем, как сначала одна, потом другая ухватилась за петлю на его шее. Они сорвали ее, со злобой отшвырнули, она извивалась, как уж.

«Наденьте, наденьте опять! Ему казалось, что он крикнул это своим рукам, ибо муки, последовавшие за ослаблением петли, превзошли все испытанное им до сих пор. Шея невыносимо болела; голова горела, как в огне; сердце, до сих пор слабо бившееся, подскочило к самому горлу, стремясь вырваться наружу. Все тело корчилось в мучительных конвульсиях. Но непокорные руки не слушались его приказа. Они били по воде сильными, короткими ударами сверху вниз, выталкивая его на поверхность. Он почувствовал, что голова его поднялась над водой; глаза ослепило солнце; грудная клетка судорожно расширилась – и в апогее боли его легкие наполнились воздухом, который он тут же с воплем исторгнул из себя.

Теперь он полностью владел своими чувствами. Они даже были необычайно обострены и восприимчивы. Страшное потрясение, перенесенное его организмом, так усилило и утончило их, что они отмечали то, что раньше было им недоступно. Он ощущал лицом набегающую рябь и по очереди различал звук каждого толчка воды. Он смотрел на лесистый берег, видел отдельно каждое дерево, каждый листик и жилки на нем, все вплоть до насекомых в листве – цикад, мух с блестящими спинками, серых пауков, протягивающих свою паутину от ветки к ветке. Он видел все цвета радуги в капельках росы на миллионах травинок. Жужжание мошкары, плясавшей над водоворотами, трепетание крылышек стрекоз, удары лапок жука-плавунца, похожего на лодку, приподнятую веслами, – все это было внятной музыкой. Рыбешка скользнула у самых его глаз, и он услышал шум рассекаемой ею воды.

Он всплыл на поверхность спиной к мосту; в то же мгновение видимый мир стал медленно вращаться вокруг него, словно вокруг своей оси, и он увидел мост, укрепление на откосе, капитана, сержанта, обоих солдат – своих палачей. Силуэты их четко выделялись на голубом небе. Они кричали и размахивали руками, указывая на него; капитан выхватил пистолет, но не стрелял; у остальных не было в руках оружия. Их огромные жестикулирующие фигуры были нелепы и страшны.

Вдруг он услышал громкий звук выстрела, и что-то с силой ударило по воде в нескольких дюймах от его головы, обдав ему лицо брызгами. Опять раздался выстрел, и он увидел одного из часовых, – ружье было вскинуто, над дулом поднимался сизый дымок. Человек в воде увидел глаз человека на мосту,

смотревший на него сквозь щель прицельной рамки. Он отметил серый цвет этого глаза и вспомнил, что серые глаза считаются самыми зоркими и что будто бы все знаменитые стрелки сероглазы. Однако этот сероглазый стрелок промахнулся.

Встречное течение подхватило Факуэра и снова повернуло его лицом к лесистому берегу. Позади него раздался отчетливый и звонкий голос, и звук этого голоса, однотонный и певучий, донесся по воде так внятно, что прорвал и заглушил все остальные звуки, даже журчание воды в его ушах. Факуэр, хоть и не был военным, достаточно часто посещал военные лагеря, чтобы понять грозный смысл этого нарочито мерного, протяжного напева; командир роты, выстроенной на берегу, вмешался в ход событий. Как холодно и неумолимо, с какой уверенной невозмутимой модуляцией, рассчитанной на то, чтобы внушить спокойствие солдатам, с какой обдуманной раздельностью прозвучали жесткие слова:

– Рота. смирно!... Ружья к плечу!... Готовсь... Целься... Пли!

Факуэр нырнул – нырнул как можно глубже. Вода взревела в его ушах, словно то был Ниагарский водопад, но он все же услышал приглушенный гром залпа и, снова всплывая на поверхность, увидел блестящие кусочки металла, странно сплющенные, которые, покачиваясь, медленно опускались на дно. Некоторые из них коснулись его лица и рук, затем отделились, продолжая опускаться. Один кусочек застрял между воротником и шеей; стало горячо, и Факуэр его вытащил.

Когда он, задыхаясь, всплыл на поверхность, он понял, что пробыл под водой долго; его довольно далеко отнесло течением – прочь от опасности. Солдаты кончали перезаряжать ружья; стальные шомполы, выдернутые из стволов, все сразу блеснули на солнце, повернулись в воздухе и стали обратно в свои гнезда. Тем временем оба часовых снова выстрелили по собственному почину – и безуспешно.

Беглец видел все это, оглядываясь через плечо; теперь он уверенно плыл по течению. Мозг его работал с такой же энергией, как его руки и ноги; мысль приобрела быстроту молнии.

«Лейтенант, – рассуждал он, – допустил ошибку, потому что действовал по шаблону; больше он этого не сделает. Увернуться от залпа так же легко, как от одной пули. Он, должно быть, уже скомандовал стрелять вразброд. Плохо дело, от всех не спасешься». Но вот в двух ярдах от него – чудовищный всплеск

и тотчас же громкий стремительный гул, который, постепенно слабея, казалось, возвращался по воздуху к форту и наконец завершился оглушительным взрывом, всколыхнувшим реку до самых глубин! Поднялась водяная стена, накренилась над ним, обрушилась на него, ослепила, задушила. В игру вступила пушка. Пока он отряхивался, высвобождаясь из вихря вспененной воды, он услышал над головой жужжанье отклонившегося ядра, и через мгновение из лесу донесся треск ломающихся ветвей. «Больше они этого не сделают, – думал Факуэр, – теперь они пустят в ход картечь. Нужно следить за пушкой; меня предостережет дым – звук ведь запаздывает; он отстает от выстрела. А пушка хорошая! Вдруг он почувствовал, что его закружило, что он вертится волчком. Вода, оба берега, лес, оставшийся далеко позади мост, укрепление и рота солдат – все перемешалось и расплылось. Предметы заявляли о себе только своим цветом. Бешеное вращение горизонтальных цветных полос – вот все, что он видел. Он попал в водоворот, и его крутило и несло к берегу с такой быстротой, что он испытывал головокружение и тошноту. Через несколько секунд его выбросило на песок левого – южного – берега, за небольшим выступом, скрывшим его от врагов. Внезапно прерванное движение, ссадина на руке, пораненной о камень, привели его в чувство, и он заплакал от радости. Он зарывал пальцы в песок, пригоршнями сыпал его на себя и вслух благословлял его. Крупные песчинки сияли, как алмазы, как рубины, изумруды: они походили на все, что только есть прекрасного на свете. Деревья на берегу были гигантскими садовыми растениями, он любовался стройным порядком их расположения, вдыхал аромат их цветов. Между стволами струился таинственный розоватый свет, а шум ветра в листве звучал, как пение эоловой арфы. Он не испытывал желания продолжать свой побег, он охотно остался бы в этом волшебном уголке, пока его не настигнут.

Свист и треск картечи в ветвях высоко над головой нарушили его грезы. Канонир, обозлившись, наугад послал ему прощальный привет. Он вскочил на ноги, бегом взбежал по отлогому берегу и укрылся в лесу.

Весь день он шел, держа направление по солнцу. Лес казался бесконечным; нигде не видно было ни прогалины, ни хотя бы охотничьей тропы. Он и не знал, что живет в такой глуши. В этом открытии было что-то жуткое.

К вечеру он обессилел от усталости и голода. Но мысль о жене и детях гнала его вперед. Наконец он выбрался на дорогу и почувствовал, что она приведет его к дому. Она была широкая и прямая, как городская улица, но, по-видимому, никто по ней не ездил. Поля не окаймляли ее, не видно было и строений. Ни намека на человеческое жилье, даже ни разу не залаяла собака. Черные стволы могучих деревьев стояли отвесной стеной по обе стороны дороги, сходясь в одной точке на горизонте, как линии на перспективном чертеже. Взглянув вверх из этой расселины в лесной чаще, он увидел над головой крупные золотые звезды – они соединялись в странные созвездия и показались ему чужими. Он чувствовал, что их расположение имеет тайный и зловещий смысл. Лес вокруг него был полон диковинных звуков, среди которых – раз, второй и снова – он ясно расслышал шепот на незнакомом языке.

Шея сильно болела, и, дотронувшись до нее, он убедился, что она страшно распухла. Он знал, что на ней черный круг – след веревки. Глаза были выпучены, он уже не мог закрыть их. Язык распух от жажды: чтобы унять в нем жар, он высунул его на холодный воздух. Какой мягкой травой заросла эта неезженная дорога! Он уже не чувствовал ее под ногами!

Очевидно, не смотря на все мучения, он уснул на ходу, потому что теперь перед ним была совсем другая картина, – может быть, он просто очнулся от бреда. Он стоит у ворот своего дома. Все осталось как было, когда он покинул его, и все радостно сверкает на утреннем солнце. Должно быть, он шел всю ночь. Толкнув калитку и сделав несколько шагов по широкой аллее, он видит воздушное женское платье; его жена, свежая, спокойная и красивая, спускается с крыльца ему навстречу. На нижней ступеньке она останавливается и поджидает его с улыбкой неизъяснимого счастья, – вся изящество и благородство. Как она прекрасна! Он кидается к ней, раскрыв объятия. Он уже хочет прижать ее к груди, как вдруг яростный удар обрушивается сзади на его шею; ослепительно-белый свет в грохоте пушечного выстрела полыхает вокруг него – затем мрак и безмолвие!

Пэйтон Факуэр был мертв; тело его, с переломанной шеей, мерно покачивалось под стропилами моста через Совиный ручей.

Всадник в небе

1

В солнечный осенний день 1861 года в зарослях лавровых деревьев, у обочины одной из дорог западной Виргинии, лежал солдат. Он лежал на животе, вытянувшись во весь рост, положив голову на согнутую левую руку. Правая рука была выкинута вперед, в ней он держал винтовку. Если бы не его поза и не чуть заметное ритмичное колебание сдвинутого за спину патронташа, его можно было бы принять за мертвого, – но на самом деле он просто спал на посту. Однако если бы его застали за этим занятием, то очень скоро он стал бы мертвым, ибо такой проступок, по закону и справедливости, карается смертью.

Лавровая рощица, где спал этот преступник, росла у поворота дороги; до этого места дорога, неуклонно поднимавшаяся в гору, устремлялась на юг, здесь же она круто сворачивала на запад и огибала вершину горы – ярдов через сто она опять поворачивала на юг и бежала, виляя вниз, через лес.

Там, где дорога делала второй поворот, над ней нависала большая плоская скала, слегка выдававшаяся на север и обращенная к низине, откуда начинала свой подъем эта дорога. Скала эта накрывала высокий утес; камень, брошенный с вершины этого утеса, упал бы прямо вниз, на верхушки высоких сосен, пролетев расстояние в тысячу ярдов. Солдат же лежал на другом уступе этого самого утеса. Если бы он не спал, его взору представился бы не только короткий отрезок дороги и нависавшая над ней скала, но и весь утес под ней. По всей вероятности, от такого вида у него закружилась бы голова.

Местность была лесистая, и только в глубине долины, в северном направлении виднелся небольшой луг, по которому протекала речка, чуть видимая с опушки. Издалека казалось, что луг этот не превышает размерами обычный приусадебный, двор, на самом же деле он простирался на несколько акров. Луг покрывала сочная зеленая трава, куда более яркая, нежели обступивший его со всех сторон лес. Вдали за этой долиной громоздился целый ряд гигантских утесов, подобных тому, с которого нам открывается вид на эту первобытную картину и по

которому дорога взбегала вверх к самой вершине. Отсюда с наблюдательного пункта на вершине утеса казалось, что долина замкнута с всех сторон, и на ум невольно приходила мысль – каким образом дорога, нашедшая себе выход из долины, нашла в нее вход, откуда течет и куда убегает речка, разрезавшая надвое лежавшую далеко внизу долину.

Как бы дика и непроходима ни была какая-нибудь местность, люди все равно превратят ее в театр военных действий. В лесу, на дне этой военной мышеловки, где полсотни солдат, охраняющих выходы, могли бы взять измором и принудить к сдаче целую армию, скрывались пять полков федеральной пехоты. Форсированным маршем шли они целые сутки без остановки и теперь расположились на отдых. Как только стемнеет, они снова выступят в поход, поднимутся на кручу, туда, где спал сейчас их вероломный часовой, и, спустившись по другому склону горы, обрушатся на лагерь врага в полночь. Они рассчитывали напасть неожиданно, с тыла, так как именно в тыл вела эта дорога. Они знали, что в случае неудачи окажутся в чрезвычайно трудном положении. знали они и то, что, если благодаря какой-нибудь случайности или бдительности врага передвижение их будет обнаружено, на удачу им рассчитывать нечего.

2

Спавший среди лавровых деревьев часовой был уроженец штата Виргиния, молодой человек по имени Картер Дрюз. Единственный сын состоятельных родителей, он получил хорошее воспитание и образование и привык пользоваться всеми благами жизни, какие только доступны человеку, обладающему богатством и утонченным вкусом. Дом его отца находился всего в нескольких милях от того места, где он сейчас лежал.

Как-то раз утром, встав из-за стола после завтрака, молодой человек сказал спокойно, но серьезно:

– Отец, в Графтон прибыл союзный полк, я решил вступить в него.

Отец поднял свою львиную голову, минуту молча глядел на сына, затем сказал:

– Ну, что ж, сэр, иди к северянам и помни, что бы ни случилось, ты должен исполнять то, что считаешь своим

долгом. Виргиния, по отношению к которой ты стал предателем, обойдется и без тебя. Если мы оба доживем до конца войны, мы еще поговорим на эту тему. Твоя мать, по словам врача, находится в тяжелом состоянии. Ей осталось жить среди нас самое большее несколько недель, но для меня эти недели очень дороги. Лучше не будем тревожить ее.

Итак, Картер Дрюз, почтительно поклонившись отцу, ответившему ему величественным поклоном, за которым скрывалось разбитое сердце, оставил родительский кров и ушел на войну. Своей честностью, преданностью делу и отвагой он быстро заслужил признание товарищей и полкового начальства, и именно благодаря этим качествам и некоторому знанию местности ему и было дано опасное поручение – занять крайний сторожевой пост.

Однако усталость взяла свое, и он заснул на посту. Кто скажет, злым или добрым был дух, который явился ему во сне и разбудил его? В глубокой тиши и истоме жаркого полудня какой-то невидимый посланник судьбы неслышно коснулся своим перстом очей его сознания, прошептал ему на ухо таинственные слова, неведомые людям и неслыханные ими, и разбудил его. Часовой слегка приподнял голову и, чуть раздвинув ветки лавра, за которым лежал, выглянул – и тут же инстинктивно сжал в правой руке винтовку.

В первый момент он испытывал только наслаждение – такое чувство доставляет человеку созерцание картины редкой красоты. На самом краю плоской скалы, лежавшей на колоссальном пьедестале утеса, неподвижно застыла величественная статуя всадника, четко вырисовывавшаяся на фоне неба. Человек сидел на коне с военной выправкой, но в его фигуре чувствовалось вынужденное спокойствие мраморного греческого бога.

Серый мундир всадника как нельзя лучше гармонировал с бескрайним простором, блеск металлических частей его оружия и блях на попоне смягчался падающей тенью, масть лошади была спокойного, не яркого тона. Спереди на луке седла лежал карабин, казавшийся отсюда удивительно коротким; всадник придерживал его правой рукой; левую руку, в которой он держал поводья, не было видно. Лошадь стояла в профиль, и ее силуэт отчетливо выделялся на фоне неба, морда была вытянута по направлению к большим утесам. Всадник чуть повернул голову в сторону, так что были видны только его борода и

висок, – он смотрел вниз, в долину. Снизу вырисовывавшаяся на фоне неба фигура всадника казалась громадной, а сознание, что ее присутствие означает близость грозного врага, делало ее в глазах солдата чем-то героическим и внушительным.

На одно мгновение у Дрюза явилось какое-то необъяснимое, смутное чувство, ему показалось, что он проспал до конца войны и теперь смотрит на замечательную скульптуру, воздвигнутую на этой скале, чтобы напоминать людям о славном прошлом, в котором лично он играл роль довольно бесславную. Но это чувство быстро рассеялось, стоило только скульптурной группе чуть шелохнуться: конь, не переступив ногами, слегка отпрянул назад от края пропасти, однако человек оставался неподвижным, как и прежде. Совершенно очнувшись ото сна и со всей ясностью представив себе серьезность положения, Дрюз приложил приклад винтовки к щеке, осторожно просунул вперед между кустами дуло, взвел курок и прицелился прямо в сердце всадника. Достаточно нажать на спуск – и Картер Дрюз выполнит свой долг солдата. Но в эту самую секунду всадник повернул голову и взглянул туда, где, скрытый ветвями, лежал его враг, – казалось, он смотрит ему прямо в лицо, в глаза, в храброе, отзывчивое сердце.

Неужели так страшно убить врага на войне? Врага, овладевшего тайной разоблачения, которая грозит гибелью и самому часовому, и его товарищам, врага, который, открыв эту тайну, стал более страшным, нежели вся его армия, как бы велика она ни была.

Картер Дрюз побледнел. Его охватила нервная дрожь, он почувствовал дурноту, скульптурная группа завертелась перед его глазами, распалась на отдельные фигуры, которые черными пятнами запрыгали на фоне огненного неба. Рука его соскользнула с винтовки, голова стала медленно склоняться, пока он не уткнулся лицом в опавшие листья. Этот храбрый молодой человек, этот закаленный воин от сильного волнения едва не лишился чувств.

Но это продолжалось всего лишь мгновение. В следующую минуту он поднял голову, руки его снова крепко сжали винтовку, палец лег на спуск: голова, сердце и глаза были совершенно ясны, совесть чиста и разум незамутнен. Он не мог надеяться взять врага в плен, а напугать его означало дать ему возможность ускользнуть в свой лагерь с роковой вестью. Долг солдата был ясен. Он должен застрелить всадника из засады без

малейшего промедления, не размышляя, не обращаясь мысленно к богу... уничтожить его сразу. Но... может быть, есть еще надежда; может быть, всадник ничего не увидел, может, он просто любуется величественным пейзажем? Может, если его не спугнуть, он спокойно повернет назад своего коня и уедет туда, откуда приехал. Ведь когда он тронет коня, по нему сразу будет видно, обнаружил он что-нибудь или нет. Вполне возможно, что его напряженное внимание...

Дрюз повернул голову и посмотрел вниз, на дно воздушной пропасти, казалось, с поверхности моря он глядел в его прозрачные глубины. И сразу же увидел цепочку всадников, – извиваясь, она ползла по зеленому лугу. Какой-то идиот командир позволил своим солдатам поить лошадей на открытом месте, за которым можно было наблюдать, по крайней мере, с десяти горных вершин!

Дрюз отвел взгляд от долины и снова устремил его на всадника в небо; сейчас он снова смотрел на него сквозь прицел своей винтовки. Только на этот раз он целился в лошадь. В памяти у него, как священный наказ, встали слова отца, сказанные им при прощании: «Что бы ни случилось, ты должен исполнить то, что считаешь своим долгом». Он совсем овладел собой. Зубы его были сжаты крепко, но не судорожно. Он был спокоен, как спящий ребенок, – никакой дрожи; дыхание, задержанное на мгновение, пока он брал прицел, было ровным, неучащенным. Долг победил. Дух приказал телу: «Спокойно, сохраняй хладнокровие!» Дрюз выстрелил.

3

Офицер федеральной армии, движимый то ли жаждой приключений, то ли побуждаемый желанием получить дополнительные данные о враге, покинул свой бивуак в долине и, добравшись до небольшой прогалины у подножия скалы, остановился в раздумье – стоит ли идти дальше. Прямо перед ним на расстоянии четверти мили, хотя ему казалось, что он легко может добросить туда камнем, вздымался гигантский утес, окаймленный у подножья огромными соснами; он был так высок, что при одном взгляде на него, на его острую зубчатую вершину офицер почувствовал сильное головокружение. Сбоку утес казался совершенно отвесным, его верхняя часть отчетливо выделялась на фоне голубого неба, приблизительно на половине

небо уступало место далекому кряжу, соперничающему с ним своей голубизной; ближе к земле утес исчезал в пышной зелени деревьев. Задрав голову, офицер смотрел вверх на недосягаемый утес; вдруг он увидел потрясающую картину: по воздуху верхом на коне в долину спускался человек!

Всадник сидел очень прямо, по-кавалерийски, крепко держась в седле и натянув поводья, словно сдерживая чересчур норовистого коня. Волосы вздыбились на его обнаженной голове и напоминали султан. Руки были скрыты облаком взметнувшейся конской гривы. Лошадь летела, вытянувшись в струнку, можно было подумать, что она мчится бешеным галопом по гладкой дороге. Затем, на глазах у офицера, она вдруг изменила положение и выбросила вперед все четыре ноги, как скакун, взявший барьер. И все это происходило в воздухе.

С ужасом и изумлением смотрел офицер на призрак всадника в небе, у него даже мелькнула мысль, не предоставлено ли ему судьбой стать летописцем нового Апокалипсиса; он был потрясен, взволнован, ноги его подкосились, и он упал. И почти в ту же минуту раздался странный треск ломающихся деревьев, треск, который сразу замер, не отдавшись эхом, затем снова наступила тишина.

Офицер поднялся на ноги, не в состоянии справиться с охватившей его дрожью. Только боль от ушибленного бедра вернула ему сознание. Собравшись с силами, он побежал изо всех сил к месту, расположенному довольно далеко от подножья скалы, где, по его расчетам, он должен был найти всадника и где он его, конечно, не нашел. Все это произошло так молниеносно, воображение его так поразили изящество и грация, с какими был исполнен чудесный прыжок, что офицеру и в голову не пришло, что воздушный кавалерист совершил свой полет вниз по прямой линии и что предмет своих поисков он мог найти только у самого подножия скалы.

Спустя полчаса он вернулся в лагерь.

Офицер этот был человек не глупый. Он понимал, что вряд ли ему кто-нибудь поверит и что лучше держать язык за зубами. Он никому не рассказал о том, что видел. Но когда командир поинтересовался, увенчалась ли успехом его разведка, обнаружил ли он что-нибудь, что могло бы облегчить их экспедицию, он ответил:

– Да, сэр. Я выяснил, что с южной стороны дороги в долину нет.

Командир, человек бывалый и опытный, только улыбнулся в ответ.

4

Выстрелив, рядовой Картер Дрюз заложил в винтовку новый патрон и снова стал зорко следить за дорогой. Не прошло и десяти минут, как к нему на четвереньках осторожно подполз сержант федеральной армии.

Дрюз не повернул к нему головы, лаже не взглянул на него – он продолжал лежать неподвижно.

– Ты стрелял? – спросил сержант.

– Да.

– В кого?

– В коня. Он стоял вон на той скале, у самого края. Видишь, его больше там нет. Он полетел в пропасть.

Лицо часового было бледно, он прекрасно владел собой. Ответив на вопрос, он отвел глаза в сторону и замолчал. Сержант ничего не мог понять.

– Послушай, Дрюз, – сказал он после минутного молчания, – перестань-ка крутить. Я приказываю тебе толком доложить, как было дело. Сидел кто на коне?

– Да.

– Кто?

– Мой отец.

Сержант поднялся и быстро зашагал прочь.

– О господи! – пробормотал он.

Чикамога

Солнечным осенним днем ребенок, покинув свой бревенчатый дом на лугу, никем не замеченный, забрел в лес. Избавившись от надзора, он наслаждался новым для него чувством свободы, предвкушая неожиданные открытия и приключения. Пробудившийся в ребенке отважный дух его предков тысячелетиями воспитывался на незабываемых подвигах многих поколений первооткрывателей и покорителей, побеждавших в битвах, исход которых решали века, и строивших на отвоеванных землях города из камня.

От колыбели своей расы победоносно прошли они через два материка и, переплыв океан, ступили на третий, оставив и здесь в наследство своим потомкам страсть к войнам и завоеваниям.

Ребенок этот – мальчик лет шести – был сыном небогатого плантатора. Отец мальчика в молодые годы был солдатом, сражался с дикарями и пронес знамя своей родины далеко на юг, в столицу цивилизованной расы. Мирная жизнь плантатора не остудила его воинственного пыла; вспыхнув однажды, он продолжает гореть вечно. Человек этот любил книги о войне и батальные гравюры, и мальчик почерпнул достаточно сведений, чтобы смастерить себе деревянный меч, хотя даже наметанный глаз его отца едва ли смог бы определить, что это за предмет.

Им-то и размахивая он теперь со смелостью, достойной потомка героической расы, и, останавливаясь время от времени на залитых солнцем полянках, играл в войну, несколько утрированно изображая нападающих и обороняющихся воинов так, как подсказало ему это искусство гравера. Окрыленный легкой победой над невидимым врагом, стремившимся преградить ему путь, он допустил довольно распространенную стратегическую ошибку и в азарте преследования углубился далеко в лес, пока не вышел на берег широкого, но мелководного ручья, чьи быстрые воды отрезали его от бегущего противника, с непостижимой легкостью перебравшегося через поток. Но это не смутило бесстрашного победителя. Дух предков, пересекших океан, неугасимо пылал в его маленькой груди и не допускал отступления. Отыскав место, где камешки на дне ручья лежали друг от друга на расстоянии шага, мальчик перескочил по ним на другой берег и снова напал

на арьергард воображаемого противника, предавая мечу все вокруг.

Теперь, когда битва была выиграна, благоразумие требовало, чтобы он отступил на исходные позиции. Но увы! Подобно многим могущественным завоевателям и даже самому могущественному из них, он не мог: Страсть к битве обуздать или понять, Что, коль судьбу без меры искушают, Она и сильных мира покидает.

Удаляясь от ручья, мальчик вдруг столкнулся с еще одним, гораздо более грозным врагом. На тропинке, по которой он шел, сидел, вытянувшись струной, держа на весу передние лапки, кролик с торчащими кверху ушами. С криком ужаса ребенок повернул назад и пустился бежать, не разбирая дороги, невнятными воплями призывая мать, плача, спотыкаясь и больно раня нежную кожу в зарослях терновника. Сердечко его бешено колотилось, мальчик задыхался и совсем ослеп от слез. Он был один, затерянный в гуще леса! Более часа блуждал он среди густых зарослей, а затем, наконец сраженный усталостью, улегся в ложбинке между двумя валунами в нескольких ярдах от ручья и, прижимая к себе игрушечный меч – теперь уже не оружие, а единственного товарища, – плача, заснул. Лесные пташки весело щебетали у него над головой; белки, помахивая пышными хвостами, вереща, перепрыгивали с дерева на дерево, а откуда-то издалека доносился странный приглушенный треск, точно перепела хлопали крыльями, прославляя победу природы над сыном ее извечных поработителей. А на маленькой плантации белые и черные люди в спешке и тревоге обыскивали поля и живые изгороди, и сердце матери разрывалось от страха за потерявшегося ребенка. Спустя несколько часов маленький сонливец вскочил на ноги. Вечерний холод пронизывал его до костей, страх перед надвигающейся тьмой проникал в самое сердце. Но он отдохнул и больше не плакал. Повинуясь слепому инстинкту, побуждавшему его к действиям, мальчик выбрался из зарослей на более открытое место. Справа от него был ручей, слева – отлогий склон, покрытый редкими деревьями. Вокруг сгущались сумерки. Едва заметная призрачная мгла поднималась над водой. Она пугала и отталкивала мальчика. Вместо того, чтобы пересечь ручей обратно, мальчик пошел прочь от него, в самую гущу темнеющего леса. Внезапно он увидел перед собою странный движущийся предмет – не то собаку, не то свинью; что именно – он не знал. А может быть,

это был медведь. Мальчик видел их на картинках и, не зная за ними ничего плохого, не прочь был повстречаться с медведем в лесу. Но что-то в очертаниях или движениях существа, – быть может, неуклюжесть, с какой оно продвигалось вперед, – подсказало мальчику, что это не медведь, и детское любопытство его было парализовано страхом. Он замер на месте, но по мере того как животное приближалось, мужество возвращалось к ребенку, так как он увидел, что у этого зверя нет, по крайней мере, таких страшных длинных ушей, как у кролика. Возможно, впечатлительный ребенок уловил в неуклюжей, переваливающейся поступи животного нечто знакомое. Не успело оно приблизиться настолько, чтобы окончательно разрешить сомнения мальчика, как он увидел, что вслед за ним ряд за рядом движутся еще такие же существа. Они были и справа и слева. Вся поляна кишела ими – и все они двигались к ручью.

Это были люди. Они ползли. Они ползли на руках, волоча за собою ноги. Они ползли на коленях, а руки их плетьми висели вдоль тела. Они пытались подняться, но тут же как подкошенные падали ничком на землю. Они вели себя крайне неестественной каждый по-своему, если не считать того, что все они шаг за шагом продвигались в одном и том же направлении. В одиночку, парами, небольшими группами возникали они из мрака; время от времени некоторые из них застывали в неподвижности, между тем как другие медленно проползали мимо них. Затем отставшие возобновляли движение. Они появлялись дюжинами, сотнями, распространялись вокруг, насколько их можно было различить в сгустившейся тьме. Конца им не было видно, черный лес позади них казался неистощимым. Чудилось, будто сама земля шевелится, медленно сползая к ручью. Порой кто-нибудь из тех, кто останавливался, больше не трогался с места и продолжал лежать, не шевелясь. Он был мертв. Иные, остановившись, начинали странно жестикулировать – поднимали и опускали руки, сжимали ими голову, воздевали кверху ладони, – это было похоже на общую молитву.

Ребенок замечал не все из того, что бросилось бы в глаза наблюдателю постарше. Он видел лишь, что это взрослые люди, которые почему-то ползают, точно младенцы. Но раз они люди, то и пугаться их нечего, хотя некоторые из них и одеты как-то странно. Мальчик безбоязненно двигался среди них, переходя

от одного к другому, с детским любопытством заглядывая им в лица, необычайно бледные и покрытые красными пятнами и полосами. Что-то в этих лицах, – быть может, в сочетании с причудливыми позами и движениями людей – напомнило ему о размалеванном клоуне, которого он видел прошлым летом в цирке, и мальчик расхохотался. А они все ползли и ползли вперед, эти изувеченные, истекающие кровью люди, столь же мало, как и ребенок, сознавая трагическое несоответствие между его веселым смехом и их ужасающей серьезностью. Для мальчика это было всего лишь забавное зрелище. Ребенок видел, как дома, на плантации, негры ползали на четвереньках, чтобы позабавить его, и не раз ездил на них верхом, играя в лошадки. И теперь мальчик подкрался сзади к одному из ползущих людей и мигом вскочил ему на спину. Человек припал грудью к земле, а затем, собравшись с силами, приподнялся и, точно необъезженный жеребенок, яростно сбросил мальчика на землю. Он обратил к ребенку лицо, на котором недоставало нижней челюсти, – от верхних зубов до горла зияла огромная красная рана, окаймленная по краям клочьями мяса и раздробленными костями. Неестественно выступающий вперед нос, отсутствие подбородка и горящие глаза придавали ему сходство с какой-то хищной птицей, грудь и горло которой были окрашены кровью растерзанной ею жертвы. Человек встал на колени, мальчик вскочил на ноги. Человек погрозил ему кулаком, и ребенок, которого наконец одолел страх, отбежал в сторону и спрятался за ствол ближайшего дерева. Теперь ему было далеко не так весело. Мрачная толпа, точно в зловещей пантомиме, медленно и мучительно ползла вниз, похожая на рой огромных черных жуков. Не слышно было ни шороха, ни единого звука – стояла глубокая всепоглощающая тишина. Несмотря на приближавшуюся ночь, в призрачном лесу вдруг стало светлеть. За грядой деревьев по ту сторону ручья заполыхало странное красное зарево, на фоне которого черной кружевной вязью выделялись стволы и ветви. Отблеск этого зарева падал на фигуры ползущих людей, и чудовищные тени искаженно повторяли их движения на освещенной траве. Свет озарял бледные лица, окрашивая их легким румянцем и еще резче подчеркивая красные пятна, которыми многие из них были покрыты. Он играл на пуговицах и металлических пряжках одежды. Инстинктивно ребенок повернул к этому

ослепительному зареву и двинулся ему навстречу вниз по склону вместе со своими ужасными спутниками. В несколько минут мальчик обогнал переднего – что было не такой уж большой заслугой, если принять во внимание его преимущество перед ползущими людьми, – и, сжав в руке деревянный меч, торжественно возглавил шествие, приноравливая свой шаг к темпу тех, кто двигался вслед за ним. Время от времени он оглядывался назад, как бы желая убедиться, что его войско не отстает. Без сомнения, никогда еще подобный предводитель не возглавлял подобного похода.

На поляне, которая становилась все уже, по мере того как страшное шествие приближалось к ручью, там и сям разбросаны были различные предметы, не вызывавшие никаких ассоциаций в уме маленького полководца. Шерстяное одеяло, плотно сложенное и скатанное, со связанными ремешком концами; там – тяжелый ранец, тут – сломанный мушкет, – короче говоря, вещи, которые обычно оставляет на своем пути отступающая армия, «следы» людей, убегающих от преследования. У самого ручья болотистый низкий берег был истоптан множеством ног и копыт, и земля здесь превратилась в жидкую грязь. Более опытный наблюдатель заметил бы, что следы ведут в двух направлениях. Берег ручья пересекали дважды – при атаке и при отступлении. Несколько часов назад эти несчастные, израненные люди вместе со своими более удачливыми товарищами, которые теперь были далеко отсюда, тысячами наводнили лес. Наступающие батальоны, разбившись на группы и перестроившись в ряды, прошли по обе стороны от спящего мальчика, едва не наступив на него. Бряцание оружия и топот ног не разбудили его. Всего в нескольких метрах от того места, где он лежал разыгралось сражение. Но ни ружейных выстрелов, ни пушечной пальбы не слышал ребенок, и шум битвы, громкие голоса вождей и крики

до него не доносились. Все это время он спал, быть может лишь немного крепче сжимая свой маленький деревянный меч из бессознательной солидарности с окружавшей его боевой обстановкой, но столь же мало подозревая о величии разыгравшейся битвы, как и те мертвецы, что пали во славу ее.

Зарево за грядой леса, по ту сторону ручья, поднимающееся над пеленой дыма, теперь освещало всю окрестность. Извилистую полосу тумана оно превратило в золотистый пар. На воде мерцали красные отблески, и красными были камни,

выступавшие из ручья. Но на камнях была кровь: легко раненные запятнали их, переходя на другой берег. Мальчик нетерпеливо перебежал по ним через ручей – он шел навстречу зареву. Остановившись на противоположном берегу, мальчик обернулся, чтобы взглянуть на остальных участников похода. Шествие приближалось к ручью. Менее ослабевшие уже подползли к самой воде и погрузили лица в поток. Трое или четверо из них лежали без движения, головы их были скрыты под водой. При виде этого глаза ребенка изумленно расширились. Даже его доверчивое воображение не могло постигнуть столь удивительной живучести. Утолив жажду, эти люди не в силах были ни отползти от воды, ни поднять кверху головы. Они захлебнулись. Позади них на. лесных полянках маленький полководец увидел все такое же множество бесформенных фигур, составлявших его мрачное войско. Однако двигались теперь далеко не все. Он ободряюще помахал им панамкой и с улыбкой указал мечом на путеводный огненный столб этого своеобразного Исхода.

Уверившись в преданности своей армии, мальчик вошел в полосу леса, без труда миновал ее при красном свете пламени, перелез через изгородь, перебежал луг, то и дело поворачиваясь, словно играя со своей послушной тенью, и, наконец, приблизился к развалинам горящего дома. Повсюду безлюдье! Несмотря на яркий свет, вокруг не видно ни одного живого существа. Но мальчика это не заботило. Зрелище радовало его, и он, ликуя, пританцовывал, подражая пляшущим языкам пламени. Он стал бегать вокруг, пытаясь собрать топливо для костра, но все, что он находил, оказывалось слишком тяжелым, чтобы бросить это в огонь издалека. А жар костра не позволял подойти к нему на близкое расстояние. Отчаявшись, мальчик швырнул в костер свой меч, – сложил оружие перед превосходящими силами природы. Его военная карьера была окончена.

Когда мальчик повернулся в другую сторону, взгляд его упал на несколько надворных построек, которые были странно знакомы ему, точно он видел их когда-то во сне. Он застыл на месте, с удивлением разглядывая их, как вдруг плантация и окружающий лес завертелись у него перед глазами. Что-то сдвинулось в его ребячьем мирке, и окрестность предстала перед ним под новым углом зрения. В горящем строении он узнал собственный дом!

Какое-то мгновение ребенок стоял неподвижно, ошеломленный этим открытием, а затем, спотыкаясь, побежал вокруг развалин. По другую сторону дома, озаряемое пламенем пожара, лежало тело мертвой женщины. Бледное лицо было запрокинуто кверху, в пальцах разметавшихся рук зажата вырванная с корнем трава, платье разорвано, в спутанных черных волосах запеклись сгустки крови. Большая часть лба была снесена, из рваной раны над виском вывалились мозги – пенистая серая масса, покрытая гроздьями темно-красных пузырьков. Это была работа снаряда!

Ребенок задвигал руками, делая отчаянные, беспомощные жесты. Из горла его один за другим вырвались бессвязные, непередаваемые звуки, нечто среднее между лопотаньем обезьяны и кулдыканьем индюка, – жуткие, нечеловеческие, дикие звуки, язык самого дьявола. Ребенок был глухонемой.

Затем он застыл на месте, глядя на труп. Губы у него дрожали.

Без вести пропавший

Джером Сиринг, рядовой армии генералу Шермана, стоявшей лицом к лицу с неприятелем в горах Кенесо, штат Джорджия, отошел от небольшой группы офицеров, с которыми вел вполголоса какие-то переговоры, перешагнул через 'узкую траншею и скрылся в лесу. Никто из оставшихся по эту сторону окопов не. сказал ему ни слова, и он, проходя мимо, даже не кивнул на прощанье, но все поняли, что этому храброму человеку поручено какое-то опасное дело. Джером Сиринг был рядовым, однако не нес службы в строю, а был прикомандирован к штабу дивизии и значился в списках как ординарец. Понятие «ординарец» включает множество смыслов. Ординарец может быть связным, писарем, денщиком – кем угодно. Иногда он исполняет обязанности, не предусмотренные военными приказами и уставами. Характер поручений зависит от его личных способностей, от расположения к нему начальства, наконец просто от случая. Рядовой Сиринг несравненный стрелок, молодой, находчивый, стойкий, не ведающий страха, был разведчиком. Генерал, командовавший этой дивизией, не любил подчиняться приказам слепо. Действовала ли дивизия самостоятельно или же занимала лишь участок фронта, он хотел точно представлять себе, что делается перед его позициями. Генерала не удовлетворяли официальные сведения о его визави, получаемые из обычных источников, ему мало было сообщений, поступающих от командира корпуса или от дозоров и секретов после стычек: он желал знать больше. Вот зачем нужен был Джером Сиринг с его редким бесстрашием, превосходной ориентировкой в лесу, острым глазом и правдивым языком. На этот раз задание было простое: как можно ближе подобраться к неприятельским позициям и разузнать все, что будет в его силах.

Через несколько минут он уже был на линии передовых постов: дозорные лежали по двое, по трое или по четыре за невысокими земляными насыпями; землю накопали из мелких углублений, в которых солдаты лежали, просунув винтовки между зелеными ветками, маскировавшими прикрытия. Отсюда до передовых позиций врага сплошной стеной тянулся лес, торжественный и молчаливый; требовалось большое

воображение, чтобы представить себе, что он полон вооруженных людей, бдительных и настороженных, что он таит в себе военную угрозу. Задержавшись на минуту в одном из стрелковых окопчиков, чтобы сообщить товарищам о полученном задании, Сиринг осторожно пополз вперед и вскоре исчез в густых зарослях кустарника.

– Только его и видели, – заметил один из солдат. – Оставил бы лучше свою винтовку мне – из нее еще немало наших уложат.

Сиринг полз вперед, используя как прикрытие каждую кочку, каждый куст. Глаза его подмечали все, уши улавливали малейший звук. Он старался дышать как можно тише и, стоило под ним треснуть сучку, прижимался к земле. Работа была медленная, но отнюдь не скучная – опасность делала ее волнующей. Однако волнение Сиринга ни в чем не проявлялось: пульс бился ровно, нервы были так спокойны, словно он выслеживал воробья.

«Времени прошло как будто много, – подумал он, – но я, должно быть, ушел недалеко – ведь я еще жив».

Его насмешил такой способ измерять расстояние, он улыбнулся и пополз дальше. Вдруг он распластался на земле и замер. Сквозь просвет в кустах он разглядел невысокий холмик желтой глины – неприятельский стрелковый окоп. Немного погодя он осторожно, дюйм за дюймом, поднял голову, затем, широко расставив руки, приподнялся, не спуская при этом напряженного взгляда с насыпи. В следующую секунду он выпрямился во весь рост и, уже не прячась, быстро зашагал с винтовкой наперевес. По каким-то ему одному известным приметам он понял, что враг оставил эти места.

Желая окончательно в этом удостовериться, прежде чем вернуться с донесением о столь важном событии, Сиринг двинулся вперед через линию покинутых окопов, перебегая от укрытия к укрытию в поредевшем лесу и в то же время зорко высматривая, не притаился ли где-нибудь враг. Так он очутился на границе плантации – одной из тех покинутых, запущенных усадьб, каких стало много к концу войны. Вся она заросла ежевикой. Повалившаяся изгородь, пустые строения с зияющими проемами на месте дверей и окон придавали плантации жалкий, неприглядный вид. Внимательно оглядев местность из-за группы молодых сосенок, Сиринг перебежал поле и фруктовый сад, направляясь к строеньицу, стоявшему на

отлете на небольшом возвышении. Оттуда, полагал он, просматривалось большое пространство в том направлении, в котором, видимо, отошел неприятель. Строение стояло на четырех сваях футов десять высотой. От него осталась, по существу, одна крыша: пол единственной комнаты провалился, балки и доски грудой лежали на земле или свисали вниз в разные стороны, только одним концом удерживаясь в гнездах. Сваи тоже утратили вертикальное положение. Казалось, стоит дотронуться пальцем – и все сооружение рухнет.

Спрятавшись среди обломков настила и балок, Сиринг обвел взглядом открытую местность, протянувшуюся на полмили до отрога горы Кенесо. Дорога, которая переваливала через отрог, была забита войсками, это был арьергард отступавшего неприятеля. На утреннем солнце поблескивали стволы винтовок.

Сиринг узнал теперь все, что он рассчитывал узнать. Долг предписывал ему как можно скорее вернуться и доложить о своем открытии. Но серая колонна пехоты, медленно взбиравшаяся по горной дороге, представляла соблазнительную цель. Его винтовке – обыкновенному спрингфилду, только снабженному особой мушкой и двойным шепталом, – ничего не стоило послать унцию свинца в самую гущу врага. Скорей всего это не повлияло бы на длительность и исход войны, но ведь убивать – ремесло солдата. Если он при этом еще и хороший солдат, то и привычка. Сиринг взвел курок и приложил палец к спусковому крючку.

Но в начале начал было предрешено, что рядовой Сиринг никого не убьет в то солнечное летнее утро и никого не известит об отступлении южан. События неисчислимыми веками так складывались в удивительной мозаике, смутно различимые части которой мы именуем историей, что задуманные Сирингом поступки нарушили бы гармонию рисунка.

Высшая сила, распоряжающаяся тем, чтобы события развивались согласно предначертанию, лет двадцать пять назад приняла меры против возможного отклонения от предначертанного плана. Она позаботилась о появлении на свет младенца мужского пола в деревушке у подножья Карпат, старательно вырастила его, помогла получить образование, направила его стремления в русло военной карьеры, а в положенное время сделала артиллерийским офицером. В результате стечения бесчисленного множества благоприятных

факторов и их перевесу над бесчисленным множеством неблагоприятных этот артиллерийский офицер был поставлен перед необходимостью нарушить военную дисциплину. Дабы избегнуть наказания, он покинул родную страну. Та же высшая сила направила его в Новый Орлеан (а не в Нью-Йорк), где на пристани его уже поджидал вербовщик. Офицера завербовали, потом повысили в чине, после чего события развернулись таким образом, что в настоящий момент он командовал батареей южан милях в двух от того места, где разведчик северян, Джером Сиринг, взвел курок. Ничто не было забыто: на каждой ступени жизни обоих этих людей, жизни их предков и современников и даже современников их предков совершалось именно то событие, которое должно было дать заранее предусмотренный результат. Будь упущено хотя бы одно звено в этой длинной цепи взаимосвязанных обстоятельств, рядовой Сиринг, возможно, выстрелил бы вдогонку отступающим южанам и, может статься, промахнулся бы. Случилось же так, что капитан армии конфедератов, ожидая, когда наступит его черед сняться и отойти, навел от нечего делать полевое орудие на гребень холма, где, как ему показалось, стояли офицеры-северяне, и выстрелил. Получился перелет. Джером Сиринг, оттянув назад ударник и глядя на удалявшихся южан, обдумывал, куда лучше послать пулю с таким расчетом, чтобы отнять мужа у жены, отца у ребенка или сына у матери, а если повезет, то обездолить всех троих сразу (хотя рядовой Сиринг неоднократно отказывался от повышения, он был не вовсе лишен честолюбия). Внезапно он услышал в воздухе резкий свист, какой производит тело хищной птицы, камнем падающей на добычу. Быстрее, чем это дошло до его сознания, свист перерос в хриплый ужасающий рев, и снаряд ринулся вниз, с оглушительным грохотом ударил в одну из свай, поддерживавших беспорядочное нагромождение досок, раздробил в щепы ветхое сооружение и с громким треском обрушил его на землю, взметнув тучи слепящей пыли!

Когда Джером Сиринг пришел в себя, он не сразу понял, что произошло. Он не сразу открыл глаза. Ему представилось, будто он умер и похоронен. Он старался вспомнить слова заупокойной службы. Ему чудилось, будто жена стоит, преклонив колени, на его могиле и тяжесть ее тела вместе с землей давит ему на грудь. Обе они, вдова и земля, уже раздавили гроб. Если дети не уговорят мать пойти домой, он скоро задохнется. Им овладело

чувство обиды. «Я не могу заговорить с ней, – думал он, – ведь у мертвых нет голоса. А если я открою глаза, в них набьется земля»

Он открыл глаза: безгранично голубой простор, неровная кайма верхушек деревьев, а на переднем плане, загораживая деревья, высокий, какой-то угловатый серый бугор, исчерченный беспорядочным переплетением прямых линий, и в самом центре его – блестящее металлическое кольцо. Все это находилось недосягаемо далеко, на таком неподдающемся измерению расстоянии, что Сиринг почувствовал усталость и закрыл глаза. В тот же миг он ощутил невыносимо яркий свет. В ушах у него стоял тихий, мерный гул далекого морского прибоя, набегающего волна за волной на песок, и, родившись из этого гула, а может быть и вне его, но слившись с этим непрестанным ровным звуком, возникли отчетливые слова:

«Джером Сиринг, ты попался, как крыса в капкан.... капкан.... капкан.»

Внезапно наступила мертвая тишина, беспросветный мрак, бесконечный покой, и Джером Сиринг, прекрасно сознавая свое крысиное положение, твердо уверенный в том, что попал в капкан, вспомнил все, что с ним случилось. Нимало не взволнованный, он снова открыл глаза, собираясь произвести разведку, определить силы врага, выработать план защиты.

Он полулежал, припертый к массивной балке другой такой же балкой, проходившей у него поперек груди; ему удалось слегка отодвинуться, так что она перестала давить на него, но о том, чтобы столкнуть ее с места, нечего было и думать. Скоба, прикрепленная к ней под прямым углом, притиснула Сиринга слева к груде досок и лишила его возможности действовать левой рукой. Ноги, слегка раздвинутые, были завалены снизу до колен грудой обломков и мусора, закрывавшей от него перспективу. Голова его была зажата точно в тисках, он мог только переводить взгляд и двигать подбородком – не больше. Лишь правая рука была частично свободна. – Выручай нас, – сказал он правой руке.

Но он не мог вытащить ее из-под тяжелой балки, не мог высунуть наружу дальше, чем на шесть дюймов.

Сиринг не был тяжело ранен, не испытывал боли. Сильный удар по голове, нанесенный обломком раздробленного столба, совпал с внезапным и страшным потрясением, на мгновенье лишив его чувств. Бессознательное состояние, включая то

время, когда он галлюцинировал, продолжалось, вероятно, не больше нескольких секунд: еще даже не улеглась пыль от рухнувшего строения.

Сиринг попытался ухватиться правой рукой за балку, проходившую поперек его груди, хотя и не касавшуюся ее. Из этого ничего не вышло. Он не в состоянии был опустить плечо настолько, чтобы высунуть локоть за нижний край балки, а без этого ему было не согнуть руку в локте. Скоба, образуя угол с балкой, не давала ему ничего предпринять с левой стороны, так как промежуток между скобой и его телом был чуть не вполовину меньше расстояния от кисти до локтя. Таким образом, он не мог дотронуться до нее. Убедившись в невозможности сдвинуть балку, он оставил безуспешные попытки и принялся думать, каким образом добраться до обломков, заваливших ему ноги.

Стараясь решить этот вопрос, он разглядывал груду обломков, и тут его внимание приковал к себе предмет на уровне его глаз, выглядевший как блестящее металлическое кольцо. Сперва ему показалось, будто это кольцо, диаметром чуть побольше полдюйма, заполнено абсолютно черным веществом. И вдруг его осенило, что чернота – это просто тень, а кольцо не что иное, как дуло его винтовки, высунувшейся из развалин. Понадобилось не так много времени, чтобы он с удовлетворением убедился в правильности своей догадки (если тут вообще уместно говорить об удовлетворении). Поочередно прищуривая глаза, Сиринг рассмотрел ствол до того места, где он зарывался в мусор. Каждым глазом он видел соответствующую сторону ствола, и, по-видимому, под одним и тем же углом. Когда он смотрел правым глазом, оружие казалось направленным влево от его головы – и наоборот. Он не видел ствола сверху, но видел под острым углом нижнюю поверхность. Короче говоря, дуло винтовки было нацелено в самую середину его лба. Когда Сиринг осознал это обстоятельство, когда вспомнил, что перед самой катастрофой, повлекшей за собой эту нелепую ситуацию, он взвел курок и поставил спусковой крючок в такое положение, что малейшее прикосновение к нему означало бы выстрел, ему стало не по себе. Но это был отнюдь не страх. Джерому Сирингу был привычен вид винтовок, да и пушек тоже, с такой именно точки зрения. Ему даже стало забавно, когда он вдруг припомнил случай, происшедший с ним при взятии штурмом

Миссионерского хребта: подойдя к одной из вражеских амбразур, откуда недавно тяжелое орудие извергало в осаждающих один за другим заряды картечи, он решил, что орудие отвели, ибо ничего не увидел в амбразуре, кроме медного кольца. Чем было это кольцо, он сообразил как раз вовремя, чтобы отпрянуть в сторону, когда оно выбросило еще один железный плевок на кишевший людьми склон. Увидеть направленное на себя огнестрельное оружие, да еще когда за ним сверкают враждебные глаза – обычнейший эпизод в повседневной жизни солдата. Солдат для этого и существует. И. все же, отнюдь не находя сложившуюся ситуацию приятной, рядовой Сиринг отвел глаза. Пошарив было без толку правой рукой, он сделал безрезультатную попытку выпростать левую руку. Затем он попробовал освободить зажатую голову, – он не понимал, что удерживает ее в неподвижности, и это особенно раздражало его. Потом он попытался вытащить ноги, напрягая сильные мышцы, но тут же спохватился, что, сдвигая с места наваленный мусор, может задеть винтовку и разрядить ее. Он не мог понять, почему она не выстрелила раньше, когда разорвался снаряд, но память тут же подсказала ему аналогичные случаи. В частности, он вспомнил, как в минуту какого-то самозабвения он схватил винтовку за дуло и вышиб прикладом мозги другому джентльмену и только потом заметил, что оружие, которым он столь усердно размахивал, было заряжено и курок взведен до отказа. Будь этот факт известен его противнику, тот, несомненно, сопротивлялся бы дольше. Сиринг всегда с улыбкой вспоминал эту оплошность неопытного новичка, но сейчас ему было не до улыбки. Он снова устремил глаза на дуло: ему показалось, что оно передвинулось: оно теперь было как будто ближе.

Он опять отвел глаза. Верхушки далеких деревьев, росших позади плантации, заинтересовали его, он никогда прежде не замечал, как они легки и пушисты, как густа синева неба, даже между ветвями, где зелень как бы высветила его. А прямо над ним небо казалось почти черным.

«Днем здесь будет пекло, – подумал он. – Интересно, с какой стороны солнце».

Судя по теням, лицо его было обращено на север. По крайней мере, солнце не будет бить в глаза, а кроме того, север..... все-таки на севере его жена и дети. – Это еще что? – воскликнул он вслух. – Они-то здесь при чем? Он закрыл глаза.

– Раз я все равно тут застрял, почему бы мне не поспать? Мятежники ушли, а наши наверняка завернут сюда в надежде поживиться. Меня найдут.

Но он не мог заснуть. Он ощутил какую-то боль в самой середине лба – сначала тупую, едва заметную, но постепенно все нарастающую и нарастающую. Он открыл глаза – боль исчезла, закрыл – опять вернулась.

– Черт! – сказал он, ни к кому не обращаясь, и уставился в небо. Он услышал птичьи голоса, услышал особенный металлический оттенок в щебете жаворонка, похожий на лязг скрестившихся звонких клинков. Он погрузился в приятные воспоминания детства, он снова играл с братом и сестрой, носился с криками по полям, распугивая сидящих в траве жаворонков, входил в сумрачный лес, робкими шагами ступал по еле заметной тропинке, ведущей к скале Привидений, и, наконец, слушая громкий стук своего сердца, стоял перед пещерой Мертвеца, горя желанием проникнуть в ее страшную тайну. Впервые в жизни он обратил внимание на то, что вход в эту таинственную пещеру окружен металлическим кольцом. Внезапно все исчезло, и он снова, как раньше, смотрел в дуло своей винтовки. Но если прежде ему казалось, что оно приблизилось, то теперь оно отодвинулось недосягаемо далеко, став от этого еще более угрожающим. Сиринг вскрикнул и, пораженный тем, что послышалось в его голосе, – ноткой страха, – оправдываясь, солгал себе: «Если я не буду кричать во все горло, я рискую остаться тут, пока не подохну».

Он больше не избегал зловещего взора оружейного дула. Если он и отводил на минутку глаза, то только чтобы взглянуть (хотя ему ничего не было видно из-за развалин), не идет ли кто-нибудь на помощь. А затем, повинуясь властному зову, он снова устремлял взгляд на винтовку. Если он закрывал глаза, то только от усталости, но тотчас же острая боль в середине лба – предчувствие и боязнь пули – вынуждала его открыть их.

Умственное и нервное напряжение становилось невыносимым; природа иногда приходила ему на помощь, и он терял сознание. Один раз, придя в себя, он ощутил резкую, жгучую боль в правой руке; сжав несколько раз пальцы и потерев ими ладонь, он почувствовал, что они стали мокрыми и скользкими. Он не видел свою руку, но и на ощупь понял, что ладонь в крови. В момент беспамятства он колотил рукой по зазубренным краям обломков и исколол ее. Он решил, что

должен встретить конец как подобает мужчине. Он простой, обыкновенный солдат, не верящий в бога, не понимающий всяких там философских мудрствований. Он не может умереть как герой, произнося напоследок красивые и возвышенные слова, если б даже было кому их услышать. Но он может умереть «молодцом», что он и сделает. Только бы знать, когда винтовка выстрелит!

Несколько крыс, вероятно обитательниц сарая, принюхиваясь, забегали вокруг него. Одна из них влезла на кучу мусора, в которой застряла винтовка, за ней вторая, третья. Сиринг следил за ними сперва равнодушно, затем с дружелюбным интересом, по том в его отупевшем мозгу мелькнула мысль, что они могут задеть за спусковой крючок, и он закричал на них: – Убирайтесь! Нечего вам тут делать!

Твари убежали. Они вернутся позднее, начнут кусать ему лицо, отъедят нос, перегрызут горло, – он знал, что так будет, но надеялся, что успеет до тех пор умереть.

Теперь уже ничто не могло заставить Сиринга отвести глаза от маленького металлического кольца с черной середкой. Боль во лбу стала неистовой и непрерывной. Она постепенно проникала все глубже в мозг, пока ее не остановила деревянная преграда за его головой. Тогда она сделалась совсем невыносимой. Сиринг принялся ожесточенно бить израненной рукой по щебню, чтобы заглушить эту безумную боль. Она пульсировала медленно, равномерно, и каждый последующий толчок был резче предыдущего, и время от времени он вскрикивал, так как ему казалось, что он уже ощущает в себе роковую пулю. Он не думал ни о доме, ни о жене, ни о детях, ни о родине, ни о славе. Все изгладилось из летописи его памяти. Мир перестал существовать – от него не осталось и следа. Здесь, в этом хаосе досок и бревен, сосредоточилась для него вселенная. Здесь заключена бесконечность; каждый толчок пульсирующей боли – бессмертная жизнь. Каждый из них отбивал вечность.

Джером Сиринг, неустрашимый человек, грозный противник, стойкий и полный решимости боец, побледнел, как призрак. Нижняя челюсть у него отвалилась, глаза вылезли из орбит, он дрожал каждой жилкой, все тело его покрылось холодным потом, он пронзительно закричал. Это не было безумием – это был страх.

Шаря кругом истерзанной, кровоточащей рукой, он нащупал наконец какую-то планку, потянул за нее и почувствовал, что она подается. Она лежала параллельно его телу; сгибая руку в локте насколько позволяло ограниченное пространство, он стал понемногу, на дюйм, на два, подтягивать планку. Наконец она отделилась от груды обломков, теперь он мог всю ее поднять с земли. Надежда блеснула в его душе: а что, если удастся поднять ее вверх, вернее отодвинуть назад, а потом концом сшибить винтовку? Или же, если та засела слишком крепко, держать планку таким образом, чтобы пуля отклонилась в сторону? Он стал толкать планку назад, дюйм за дюймом, стараясь не дышать, чтобы не погубить свой замысел, ни на секунду не отводя глаз от винтовки, – она ведь могла в последний момент воспользоваться ускользавшим от нее случаем. Чего-то он, во всяком случае, добился: поглощенный попыткой спасти себя, он не так остро ощущал боль в голове и перестал вскрикивать. Но он все еще был перепуган насмерть, и зубы у него стучали, как кастаньеты.

Планка перестала повиноваться движениям его руки. Он дернул что было силы, сдвинул ее, насколько мог, в сторону, но она натолкнулась позади на какое-то препятствие; ее передний конец находился еще чересчур далеко, им нельзя было расчистить кучу мусора и достать до ствола винтовки. Планка, собственно, почти доходила до спускового предохранителя, который не был засыпан обломками. Сиринг кое-как видел его правым глазом. Он попытался переломить планку рукой, но ему не доставало для этого точки опоры. Когда он понял, что побежден, страх вернулся к нему с удесятеренной силой. Черное отверстие, казалось, грозило еще более жестокой и неминуемой смертью в наказание за его бунт. Будущая пулевая рана в голове причиняла мучительную боль. Его опять начала бить дрожь.

Неожиданно он успокоился. Дрожь прекратилась. Он стиснул зубы, нахмурился. Он еще не исчерпал всех средств к освобождению. У него родился новый замысел – новый план боя. Приподняв передний конец планки, он принялся осторожно пропихивать его сквозь мусор вдоль винтовки, пока конец не уперся в спусковой предохранитель. Сиринг медленно подвигал конец в сторону, пока не почувствовал, что предохранитель освобожден, и тогда, закрыв глаза, с силой нажал на крючок. Выстрела не последовало: винтовка разрядилась, выпав из его руки уже тогда, когда обрушилось строение. Но Джером Сиринг

был мертв. Лейтенант Адриан Сиринг, начальник передового дозора, расположившегося в том месте линии траншей, где, отправляясь на разведку, их перешел его брат Джером, сидел за бруствером и внимательно прислушивался. Ни один самый слабый звук не ускользал от него: крик птицы, верещание белки, шум ветра в соснах – все нетерпеливо фиксировал его напряженный слух. Внезапно где-то впереди раздался глухой непонятный шум, похожий на ослабленный расстоянием грохот падающего здания. В ту же минуту к Адриану Сирингу сзади подошел адъютант и отдал честь.

– Лейтенант, – сказал он, – полковник приказывает продвинуться вперед и произвести разведку. Если неприятель не будет обнаружен, продолжайте продвижение, пока не получите приказа остановиться. Есть основания думать, что враг отвел войска.

Лейтенант молча кивнул, адъютант ушел. Сержанты вполголоса отдали команду, и через минуту солдаты покинули окопы, рассыпным строем двинулись вперед. Лейтенант машинально посмотрел на часы: шесть часов восемнадцать минут.

Цепочка застрельщиков-северян растянулась по плантации, – их путь лежал к горе. С обеих сторон они обошли разрушенную постройку, ничего не заметив. Немного позади за ними следовал командир, лейтенант Адриан Сиринг. Он с любопытством посмотрел на развалины и увидел труп, наполовину погребенный под досками и балками. Труп был так густо покрыт пылью, что одежда его выглядела как серая форма южан. Лицо мертвеца было изжелта-бледным, щеки ввалились, виски запали, лобные кости резко выдавались, отчего лоб казался неестественно узким, верхняя губа слегка задралась и обнажила судорожно стиснутые зубы. Волосы намокли, лицо было влажным, как росистая трава вокруг.

С того места, где стоял офицер, винтовки не было видно. По-видимому, человек был убит при падении дома.

– Лежит не меньше недели, – отрывисто произнес офицер и прошел мимо. При этом он машинально достал часы, как бы желая проверить, верно ли он определил время: шесть часов сорок минут.

Лучшим офицером нашего штаба был лейтенант Герман Брэйл, один из двух адъютантов. Я не помню, где разыскал его генерал, – кажется, в одном из полков штата Огайо; никто из нас не знал его раньше, и не удивительно, так как среди нас не было и двух человек из одного штата или хотя бы из смежных штатов. Генерал был, по-видимому, того мнения, что должности в его штабе являются высокой честью и распределять их нужно осмотрительно и мудро, чтобы не породить раздоров и не подорвать единства той части страны, которая еще представляла собой единое целое. Он не соглашался даже подбирать себе офицеров в подчиненных ему частях и путем каких-то махинаций в Генеральном штабе добывал их из других бригад. При таких условиях человек действительно должен был отличиться, если хотел, чтобы о нем услышали его семья и друзья его молодости; да и вообще «славы громкая труба» к тому времени уже слегка охрипла от собственной болтливости.

Лейтенант Брэйл был выше шести футов ростом и великолепно сложен; у него были светлые волосы, серо-голубые глаза, которые в представлении людей, наделенных этими признаками, обычно связываются с исключительной храбростью. Неизменно одетый в полную форму, он был очень яркой и заметной фигурой, особенно в деле, когда большинство офицеров удовлетворяются менее бьющим в глаза нарядом. Помимо этого, он обладал манерами джентльмена, головой ученого и сердцем льва. Лет ему было около тридцати.

Брэйл скоро завоевал не только наше восхищение, но и любовь, и мы были искренне огорчены, когда в бою при Стонс-ривер – первом, после того как он был переведен в нашу часть, мы заметили в нем очень неприятную и недостойную солдата черту: он кичился своей храбростью. Во время всех перипетий и превратностей этого жестокого сражения, безразлично, дрались ли наши части на открытых хлопковых полях, в кедровом лесу или за железнодорожной насыпью, он ни разу не укрылся от огня, если только не получал на то строгого приказа от генерала, у которого голова почти всегда была занята более важными вещами, чем жизнь его штабных офицеров, да, впрочем, и солдат тоже.

И дальше, пока Брэйл был с нами, в каждом бою повторялось то же самое. Он оставался в седле, подобный конной статуе, под градом пуль и картечи, в самых опасных местах, – вернее, всюду, где долг, повелевавший ему уйти, все же позволял ему остаться, – тогда как мог бы без труда и с явной пользой для своей репутации здравомыслящего человека находиться в безопасности, поскольку она возможна на поле битвы в короткие промежутки личного бездействия.

Спешившись, будь то по необходимости или из уважения к своему спешенному командиру или товарищам, он вел себя точно так же. Он стоял неподвижно, как скала, на открытом месте, когда и офицеры и солдаты уже давно были под прикрытием; в то время как люди старше его годами и чином, с большим опытом и заведомо отважные, повинуясь долгу, сохраняли за гребнем какого-нибудь холма свою драгоценную для родины жизнь, этот человек стоял на гребне праздно, как и они, повернувшись лицом в сторону самого жестокого огня.

Когда бои ведутся на открытой местности, сплошь и рядом бывает, что части противников, расположенные друг против друга на расстоянии каких-нибудь ста ярдов, прижимаются к земле так крепко, как будто нежно любят ее. Офицеры, каждый на своем месте, тоже лежат пластом, а высшие чины, потеряв коней или отослав их в тыл, припадают к земле под адской пеленой свистящего свинца и визжащего железа, совершенно не заботясь о своем достоинстве.

В таких условиях жизнь штабного офицера бригады весьма незавидна, в первую очередь из-за постоянной опасности и изнуряющей смены переживаний, которым он подвергается. Со сравнительно безопасной позиции, на которой уцелеть, по мнению человека невоенного, можно только «чудом», его могут послать в залегшую на передовой линии часть с поручением к полковому командиру-лицу, в такую минуту не очень заметному, обнаружить которое подчас удается лишь после тщательных поисков среди поглощенных своими заботами солдат, в таком грохоте, что и вопрос и ответ можно передать только с помощью жестов. В таких случаях принято втягивать голову в плечи и пускаться в путь крупной рысью, являя собой увлекательнейшую мишень для нескольких тысяч восхищенных стрелков. Возвращаясь... впрочем, возвращаться в таких случаях не принято.

Брэйл придерживался другой системы. Он поручал своего коня ординарцу – он любил своего коня – и, даже не сутулясь, спокойно отправлялся выполнять свое рискованное задание, причем его великолепная фигура, еще подчеркнутая мундиром, приковывала к себе все взгляды. Мы следили за ним затаив дыхание, не смея шелохнуться. Как-то случилось даже, что один из наших офицеров, очень экспансивный заика, увлекшись, крикнул мне:

– Д-держу. п-пари на д-два д-доллара, чго его с-собьют, п-прежде чем он д-дойдет до т-той к-канавы!

Я не принял этого жестокого пари; я сам так думал.

Мне хочется воздать должное памяти храбреца: все эти ненужные подвиги не сопровождались ни сколько-нибудь заметной бравадой, ни хвастовством. В тех редких случаях, когда кто-нибудь из нас несмело протестовал, Брэйл приветливо улыбался и отделывался каким-нибудь шутливым ответом, который, однако, отнюдь не поощрял к дальнейшему развитию этой темы. Однажды он сказал:

– Капитан, если я когда-нибудь буду наказан за то, что пренебрегал вашими советами, я надеюсь, что мои последние минуты скрасит звук вашего милого голоса, нашептывающего мне в ухо сакраментальные слова: «Я же вам говорил!»

Мы посмеялись над капитаном, – почему, мы, вероятно, и сами не могли бы объяснить, – а в тот же день, когда его разорвало снарядом, Брэйл долго оставался у его тела, с ненужным старанием собирал уцелевшие куски – посреди дороги, осыпаемой пулями и картечью. Такие вещи легко осуждать, и не трудно воздержаться от подражания им, но уважение рождается неизбежно, и Брэйла любили, несмотря на слабость, которая проявлялась столь героически. Мы досадовали на его безрассудство, но он продолжал вести себя так до конца, иногда получал серьезные ранения, но неизменно возвращался в строй как ни в чем не бывало.

Разумеется, в конце концов это произошло; человек, игнорирующий закон вероятности, бросает вызов такому противнику, который редко терпит поражение. Случилось это под Ресакой, в Джорджии, во время похода, который закончился взятием Атланты. Перед фронтом нашей бригады линия неприятельских укреплений проходила по открытому полю вдоль невысокого гребня. С обеих сторон этого открытого пространства мы стояли совсем близко от неприятеля в лесу, но

поле мы могли бы занять только ночью, когда темнота даст нам возможность зарыться в землю, подобно кротам, и окопаться. В этом пункте наша позиция находилась на четверть мили дальше, в лесу. Грубо говоря, мы образовали полукруг, а укрепленная линия противника была как бы хордой этой дуги.

– Лейтенант, вы передадите полковнику Уорду приказ продвинуться насколько возможно вперед, не выходя из-под прикрытия, и не расстреливать без нужды снарядов и патронов. Коня можете оставить здесь.

Когда генерал отдал это распоряжение, мы находились у самой опушки леса, близ правой оконечности дуги. Полковник Уорд находился на ее левом конце. Разрешение оставить коня ясно означало, что Брэйлу предлагается идти обходным путем, рощей, вдоль наших позиций. В сущности, тут и разрешать было нечего; пойти второй, более короткой дорогой значило потерять какие бы то ни было шансы выполнить задание. Прежде чем кто-либо успел вмешаться, Брэйл легким галопом вынесся в поле, и линия противника застрекотала выстрелами.

– Остановите этого болвана! – крикнул генерал.

Какой-то ординарец, проявив больше честолюбия, чем ума, поскакал исполнять приказ и в двадцати шагах оставил своего коня и себя самого мертвыми на поле чести.

Вернуть Брэйла было невозможно, лошадь легко несла его вперед, параллельно линии противника и меньше чем в двухстах ярдах от нее. Зрелище было замечательное! Шляпу снесло у него с головы ветром или выстрелом, и его длинные светлые волосы поднимались и опускались в такт движению коня. Он сидел в седле выпрямившись, небрежно держа поводья левой рукой, в то время как правая свободно висела. То, как он поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, позволяя нам мельком увидеть его красивый профиль, доказывало, что интерес, проявляемый им ко всему происходящему, был естественный, без тени аффектации.

Зрелище было в высшей степени драматическое, но никоим образом не театральное. Один за другим, десятки винтовок злобно плевали в него, по мере того как он попадал в их поле действия, и было ясно видно и слышно, как наша часть, залегшая в лесу, открыла ответный огонь. Уже не считаясь ни с опасностью, ни с приказами, наши повскакали на ноги и, высыпав из-под прикрытий, не скупясь, палили по сверкающему гребню неприятельской позиции, которая в ответ поливала их

незащищенные группы убийственным огнем. С обеих сторон в бой вступила артиллерия, прорезая гул и грохот глухими, сотрясающими землю взрывами и раздирая воздух тучами визжащей картечи, которая со стороны противника разбивала в щепы деревья и обрызгивала их кровью, а с нашей – скрывала дым неприятельского огня столбами и облаками пыли с их брустверов.

На минуту мое внимание отвлекла общая картина битвы, но теперь, бросив взгляд в просвет между двумя тучами порохового дыма, я увидел Брэйла, виновника всей этой бойни. Невидимый теперь ни с той, ни с другой стороны, приговоренный к смерти и друзьями и недругами, он стоял на пронизанном выстрелами поле неподвижно, лицом к противнику. Неподалеку от него лежал его конь. Я мгновенно понял, что его остановило.

Как военный топограф, я в то утро произвел беглое обследование местности и теперь вспомнил, что там был глубокий и извилистый овраг, пересекавший половину поля от позиции противника и под прямым углом к ней. Оттуда, где мы стояли сейчас, этого оврага не было видно, и Брэйл, судя по всему, не знал о его существовании. Перейти его было явно невозможно. Его выступающие углы обеспечили бы Брэйлу полную безопасность, если бы он решил удовлетвориться уже совершившимся чудом и спрыгнуть вниз. Вперед он идти не мог, поворачивать обратно не хотел; от стоял и ждал смерти. Она недолго заставила себя ждать.

По какому-то таинственному совпадению, стрельба прекратилась почти мгновенно после того, как он упал, – одиночные выстрелы, казалось, скорее подчеркивали, чем нарушали тишину. Словно обе стороны внезапно раскаялись в своем бессмысленном преступлении. Сержант с белым флагом, а за ним четверо наших санитаров беспрепятственно вышли в поле и направились прямо к телу Брэйла. Несколько офицеров и солдат южной армии вышли им навстречу и, обнажив головы, помогли им положить на носилки их священную ношу. Когда носилки двинулись к нам, мы услышали за неприятельскими укреплениями звуки флейт и заглушенный барабанный бой – траурный марш. Великодушный противник воздавал почести павшему герою.

Среди вещей, принадлежавших убитому, был потертый.сафьяновый бумажник. Когда, по распоряжению

генерала, имущество нашего друга было поделено между нами на память, этот бумажник достался мне.

Через год после окончания войны, по пути в Калифорнию, я открыл его и от нечего делать стал просматривать. Из незамеченного мною раньше отделения выпало письмо без конверта и без адреса. Почерк был женский, и письмо начиналось ласковым обращением, но имени не было.

В верхнем углу значилось: «Сан-Франциско, Калифорния, июля 9, 1862». Подпись была «Дорогая» в кавычках. В тексте упоминалось и полное имя писавшей – Мэрией Менденхолл.

Тон письма говорил об утонченности и хорошем воспитании, но это было обыкновенное любовное письмо, если только любовное письмо может быть обыкновенным. В нем было мало интересного, но кое-что все же было. Вот что я прочел:

«Мистер Уинтерс, которому я никогда этого не прощу, рассказывал, что во время какого-то сражения в Виргинии, в котором он был ранен, видели, как вы прятались за деревом. Я думаю, что он хотел повредить вам в моих глазах, он знает, что так оно и было бы, если бы я поверила его рассказу. Я легче перенесла бы известие о смерти моего героя, чем о его трусости».

Вот слова, которые в тот солнечный день, в далеком краю, стоили жизни десяткам людей. А еще говорят, что женщина – слабое создание!

Как-то вечером я зашел к мисс Менденхолл, чтобы вернуть ей это письмо. Я думал также рассказать ей, что она сделала, – но не говорить, что это сделала она. Я был принят в прекрасном особняке на Ринкон-хилле. Она была красива, хорошо воспитана, – словом, очаровательна.

– Вы знали лейтенанта Германа Брэйла, – сказал я без всяких предисловий. Вам, конечно, известно, что он пал в бою. Среди его вещей было ваше письмо к нему. Я пришел, чтобы вернуть его вам.

Она машинально взяла письмо, пробежала его глазами, краснея все гуще и гуще, потом, взглянув на меня с улыбкой, сказала:

– Очень вам благодарна, хотя, право же, не стоило трудиться. – Вдруг она вздрогнула и изменилась в лице. – Это пятно, – сказала она, – это... это же не...

– Сударыня, – сказал я, – простите меня, но это кровь самого верного и храброго сердца, какое когда-либо билось.

Она поспешно бросила письмо в пылающий камин.

– Брр! Совершенно не переношу вида крови, – сказала она. – Как он погиб?

Я невольно вскочил, чтобы спасти этот клочок бумаги, священный даже для меня, и теперь стоял за ее стулом. Задавая этот вопрос, она повернула голову и слегка закинула ее. Отсвет горящего письма отражался в ее глазах, бросая ей на щеку блик такой же алый, как то пятно на странице. Я в жизни не видел ничего прекраснее этого отвратительного создания.

– Его укусила змея, – ответил я ей.

– Как вы думаете, полковник, захочет ли ваш храбрый Коултер поставить здесь одну из своих пушек? – спросил генерал.

Он, по-видимому, говорил это не вполне серьезно; ясно было, что ни один артиллерист, пусть даже самый храбрый, не захотел бы поставить в этом месте свою пушку. Полковник решил, что в словах командира дивизии заключен, по всей вероятности, добродушный намек на их недавний разговор, в котором уж слишком превозносилась храбрость капитана Коултера.

– Генерал, – с горячностью ответил он, – Коултер готов поставить свою пушку где угодно, хотя бы даже под носом у этой публики. – И полковник указал в сторону неприятеля.

– Это самое подходящее место, – заметил генерал. Стало быть, он вовсе не шутил.

Место это представляло собою впадину, ущелье в остроконечном горном хребте. Здесь проходила дорога. Извилистая крутая тропа пробиралась вверх к перевалу через редкий лесок, а оттуда уже более пологий спуск вел прямо в расположение противника. На две мили вправо и влево от ущелья, укрываясь за горной цепью, лепилась к отвесным склонам пехота северян, точно придавленная к ним воздушной струей. Но сюда артиллерия не могла добраться. Единственным местом для огневой позиции было дно ущелья, однако оно было настолько узким, что его почти все целиком занимало полотно дороги. Этот участок находился под контролем двух батарей южан, расположенных чуть пониже, за ручьем, в полумиле от горного хребта Все их орудия, за исключением одного, укрывали деревья фруктового сада. Одна пушка – и это казалось дерзким вызовом – стояла перед довольно величественным особняком, домом плантатора. Выставленное напоказ орудие находилось в относительной безопасности, но только потому, что пехоте федеральной армии было запрещено стрелять. В этот чудесный летний день ущелье Коултера, как его потом назвали, отнюдь не являлось той позицией, на которой артиллерист «захотел бы поставить свою пушку».

Несколько убитых лошадей валялось на дороге; несколько убитых солдат были уложены рядом на обочине и чуть подальше, у подножья горы. Один из убитых был интендантом, остальные – кавалеристами из авангарда северян. Генерал, командовавший дивизией, и полковник. командовавший бригадой, со своими штабами и свитой верхом въехали в ущелье, чтобы взглянуть на вражеские орудия, которые незамедлительно скрылись за густыми клубами дыма. Вряд ли имело смысл интересоваться орудиями, обладавшими свойством каракатицы, и потому осмотр длился недолго. По окончании осмотра, на обратном пути, и произошел разговор, частично уже изложенный в начале повествования.

– Это единственная позиция, с которой мы можем их атаковать, – задумчиво повторил генерал.

Полковник серьезно взглянул на него.

– Здесь есть место только для одного орудия, генерал. Одного – против двенадцати.

– Совершенно верно. Здесь придется ставить по одному орудию, – ответил командир дивизии, и на лице его промелькнуло некое подобие улыбки. Впрочем, ваш храбрый Коултер один стоит целой батареи.

Это было сказано уже явно ироническим тоном.

Полковник почувствовал досаду, но не нашелся, что ответить. Дух военной субординации не допускает ни резкого ответа, ни даже простого возражения. В это время на дороге появился молодой артиллерийский офицер, который ехал верхом к ущелью в сопровождении своего горниста. Это был капитан Коултер. На вид ему было не больше двадцати трех лет. Он был среднего роста, очень худощав и гибок. В его манере держаться на лошади было что-то сугубо штатское. Лицо капитана представляло разительный контраст с лицами окружающих – тонкое, с орлиным носом, серыми глазами и белокурыми усами. Его длинные, слегка спутанные волосы были такими же светлыми, как усы. Костюм его отличался явной небрежностью. Козырек потрепанной фуражки был чуть сдвинут набок, из-под мундира, застегнутого лишь у портупеи, виднелась рубашка, относительно чистая, если принять во внимание условия походной жизни. Но небрежность была только в его одежде и осанке; лицо, напротив, выражало напряженный интерес ко всему окружающему. Взгляд его серых глаз время от времени, точно луч прожектора, скользивший по

окрестностям, был большей частью устремлен на небосвод по другую сторону ущелья. Только небо он и мог видеть в том направлении, пока не добрался до верхней части дороги. Приблизившись к дивизионному и бригадному командирам, он машинально отдал честь и хотел было проехать мимо. Но тут полковник, повинуясь внезапному побуждению, жестом приказал ему остановиться.

– Капитан Коултер, – сказал он. – На соседней горе, по ту сторону ущелья, находятся двенадцать вражеских орудий. Если я правильно понял генерала, он приказывает вам доставить сюда пушки и атаковать их.

Последовало глубокое молчание. Генерал бесстрастно смотрел на отдаленный склон, по которому медленно карабкался вверх полк пехоты, напоминая стелющееся по колючему кустарнику клочковатое грязно-голубое облако. Коултер, казалось, не обращал на генерала никакого внимания. Наконец капитан заговорил, медленно и с видимым усилием:

– Вы сказали, на соседней горе, сэр? Пушки находятся поблизости от дома?

– А, вы, значит, уже побывали на этой горе? Да, пушки стоят у самого дома.

– И... их необходимо... атаковать? Это приказ? – спросил Коултер хриплым, срывающимся голосом. Он заметно побледнел.

Полковник был неприятно поражен. Он искоса взглянул на командира дивизии. На застывшем, неподвижном лице генерала не дрогнул ни единый мускул. Оно казалось отлитым из бронзы. Спустя минуту генерал ускакал прочь в сопровождении своего штаба и свиты. Полковник. посрамленный и негодующий, готов был уже отправить капитана Коултера под арест, но последний вдруг сказал что-то вполголоса своему горнисту, отдал честь и поскакал в глубь ущелья; спустя некоторое время он снова показался на верхней части дороги, где застыл в неподвижности, приставив к глазам подзорную трубу и напоминая величественную конную статую, четко вырисовывающуюся на фоне неба. Горнист с сумасшедшей скоростью помчался в обратном направлении вниз по тропе и мгновенно исчез в лесу. Вскоре звук его горна послышался из кедровой рощи, и спустя непостижимо короткое время две шестерки лошадей, поднимая тучи пыли, с грохотом потащили вверх пушки и зарядный ящик. Затем пушку сняли с передка и,

не убирая чехла, вручную покатили по телам убитых лошадей к роковой вершине. Взмах руки капитана, несколько молниеносных движений заряжающих – и не успел отзвучать грохот колес, как большое белое облако пронеслось вниз по склону и оглушительный залп возвестил о том, что сражение в ущелье Коултера началось.

Мы не собираемся подробно рассказывать о ходе и отдельных эпизодах этого страшного поединка – поединка без переменного успеха, каждый новый этап которого лишь усугублял отчаянное положение атакующих, Почти в то же мгновение, как пушка Коултера метнула, словно вызов, белое облако в сторону неприятельской батареи, двенадцать ответных дымков взвилось из-за деревьев, окружавших дом плантатора, и двенадцать залпов грянуло в ответ многократным эхо. Начиная с этой минуты канониры федеральной армии вели свой безнадежный бой среди ожившего металла, чей полет был быстрее молнии и чье прикосновение несло смерть.

Не желая быть свидетелем усилий, поддержать которые он не мог, и кровопролития, остановить которое было не в его власти, полковник отъехал на четверть мили вверх по левому склону, откуда ущелья не было видно, и лишь грохот да беспрерывно извергающиеся из него клубы дыма делали его похожим на кратер действующего вулкана. Приставив к глазам подзорную трубу, полковник смотрел на неприятельскую батарею, отмечая результаты огня Коултера – если только Коултер был еще жив и сам направлял его. Видно было, что северяне, игнорируя те орудия, чье местоположение можно было определить лишь по дымкам выстрелов, сосредоточили весь свой огонь на пушке, стоящей вне укрытия, на лужайке прямо перед домом плантатора. Через каждые две-три секунды вокруг этой безрассудно дерзкой пушки рвались снаряды, пролетая то над нею, то сбоку от нее. Некоторые из них попадали внутрь особняка, судя по дыму, поднимавшемуся над пробитой крышей. Полковник ясно различал лежавшие повсюду трупы людей и лошадей.

– Если наши молодцы натворили таких дел с одной пушкой, то как же им самим должно быть дьявольски жарко от двенадцати! – воскликнул полковник, обращаясь к одному из оказавшихся поблизости адъютантов. – Отправляйтесь туда и передайте командиру орудия мои поздравления. Он точно ведет огонь.

Повернувшись к своему начальнику штаба, он сказал:

– А вы заметили, черт возьми, с какой неохотой Коултер подчинился приказу?

– Да, сэр, заметил.

– Пожалуйста, не говорите об этом никому. Не думаю, чтобы генерал вздумал его обвинять. У него самого будет, вероятно, немало хлопот, когда придется объяснять, чего ради он устроил это оригинальное развлечение для авангарда отступающего противника.

Молодой офицер, запыхавшись, взбирался к ним вверх по склону. Едва успев взять под козырек и с трудом переводя дыхание, он проговорил:

– Полковник, по приказанию полковника Хармона я прибыл сообщить, что пушки противника находятся от нас на расстоянии ружейного выстрела. Многие из них прекрасно видны с различных пунктов горного склона.

Командир бригады взглянул на посланца, не проявив ни малейшего интереса к его словам.

– Я знаю, – спокойно ответил он.

Молодой адъютант был явно озадачен.

– Полковник хотел бы получить разрешение утихомирить эти пушки, – пробормотал он.

– И я бы этого хотел, – все так же спокойно ответил полковник. – Передайте мой привет полковнику Хармону и скажите, что приказ генерала не стрелять все еще остается в силе.

Адъютант отдал честь и удалился. Полковник вдавил каблуки в землю, круто повернулся и снова стал смотреть на вражеские орудия.

– Полковник, – сказал начальник штаба, – не знаю, следует ли мне говорить об этом, но, по-моему, за всей этой историей с Коултером что-то кроется. Не приходилось ли вам слышать о том, что капитан Коултер уроженец Юга?

– Нет. А он действительно родом с Юга?

– Я слыхал, что прошлым летом дивизия, которой тогда командовал генерал, находилась поблизости от дома Коултер а... Они несколько недель стояли лагерем в этих местах, и...

– Слушайте! – прервал его полковник, предостерегающе подняв руку. – Вы слышите?

Пушка северян молчала. Офицеры штаба, ординарцы, ряды пехоты за горной цепью – все напряженно прислушивались и

смотрели на кратер вулкана, над которым больше не клубился дым и лишь взлетали легкие облачка от рвущихся вражеских снарядов. Затем послышался звук горна, отдаленный стук колес, и спустя минуту канонада возобновилась с удвоенной силой. Разбитое орудие было заменено новым.

– Так вот, – сказал начальник штаба, продолжая прерванный рассказ, – генерал познакомился с семейством Коултера. И там вышла какая-то неприятность. Не знаю точно, в чем дело, – кажется, из-за жены Коултера. Она – ярая сецессионистка

, как, впрочем, и вся их семья, за исключением Коултера. Но она прекрасная жена и настоящая леди. В штаб главного командования поступила жалоба, и генерал был переведен в нашу дивизию. Странно, что к этой же дивизии приписали потом и батарею Коултера.

Полковник поднялся с обломка скалы, на котором они сидели. Глаза его пылали благородным негодованием.

– Послушайте, Моррисон, – – сказал он, глядя прямо в лицо болтливому офицеру. – Кто рассказал вам эту историю, джентльмен или сплетник?

– Я бы не хотел без особой надобности сообщать, кто мне ее рассказал. – Начальник штаба слегка покраснел. – Но я готов поклясться, что, в основном, все это сущая правда.

Полковник повернулся к стоящей в отдалении группе адъютантов.

– Лейтенант Уильямс! – закричал он.

Один из офицеров отделился от группы, подошел к полковнику и, отдав честь, сказал:

– Простите, полковник, я думал, вас поставили в известность. Лейтенант Уильямс убит там, около орудия. Что прикажете, сэр?

Лейтенант Уильямс был тем самым адъютантом, который имел удовольствие передать командиру орудия поздравления полковника.

– Ступайте, – приказал полковник, – и немедленно распорядитесь об отходе орудия. Постойте! Я пойду сам.

И он, рискуя сломать себе шею, ринулся вниз по крутому спуску прямо через валуны и колючий кустарник, туда, где открывался проход в ущелье с тыла. Сопровождающие в замешательстве и беспорядке последовали за ним. У подножья склона они сели на поджидавших лошадей, рысью поскакали по

дороге и свернули в ущелье. Зрелище, открывшееся им, было ужасно.

В узкой теснине, где едва могла уместиться одна пушка, валялись обломки по меньшей мере четырех орудий. Все, следившие за боем издали, не заметили того момента, когда были заменены эти пушки. И лишь замена последней привлекла их внимание, так как на батарее уже не хватало свободных рук, чтобы сделать это, не прерывая стрельбы. Обломки орудий громоздились по обочинам дороги; люди с трудом расчистили проход между грудами железа и поставили там пятую пушку, которая теперь вела огонь. Люди?.. Нет, они походили скорее на дьяволов из преисподней! Все были без фуражек, все обнажены до пояса. Их покрытые испариной тела были черны от пороховых пятен и обрызганы кровью. Они, точно одержимые, забивали заряд, орудовали банником и шнуром. Всякий раз при откате орудия они, упираясь в колеса распухшими плечами и окровавленными руками, толкали его на прежнее место. Здесь никто не отдавал приказаний. Среди чудовищного грохота залпов, визга летящих осколков и обломков дерева их все равно нельзя было бы услышать. Офицеров, если они и были здесь, невозможно было отличить от солдат.

Все трудились наравне. Каждый стоял на своем месте, пока был в состоянии. Смочив ствол, орудие заряжали, зарядив, устанавливали прицел и стреляли. Полковник вдруг увидел нечто такое, чего ему еще никогда не доводилось видеть, несмотря на богатый военный опыт, нечто ужасное и противоестественное: из жерла пушки текла кровь! Канониры не успели поднести воды, и человек, смачивавший ствол, обмакнул губку в луже крови, натекшей из раны его товарища. Все работали слаженно, не сталкиваясь и не мешая друг другу. Каждый знал, что ему нужно делать. Когда один падал, другой, выглядевший чуть почище, вырастал, точно из-под земли, и заменял убитого, чтобы потом, в свою очередь, пасть самому.

Вперемешку с останками орудий лежали останки людей. Трупы были под грудами обломков, поверх их и рядом с ними. А по дороге в сторону тыла двигалась страшная процессия – на руках и коленях ползли раненые, которые еще в силах были передвигаться. Полковник – он из сострадания отправил свою свиту вправо, в обход – вынужден был ехать по телам явных мертвецов, чтобы не раздавить тех, кто был мертв только наполовину. Он спокойно въехал в самое пекло, остановился

около орудия и, ничего не видя в дыму только что прозвучавшего выстрела, ощупью коснулся щеки человека, державшего банник. Тот, вообразив себя убитым, немедленно упал. Какой-то страшный дух преисподней вынырнул из дыма, чтобы встать на его место, но остановился и посмотрел на возвышавшегося перед ним всадника диким взглядом. Зубы его сверкали между почерневших губ, глаза, расширенные и свирепые, горели, точно угли, под окровавленным лбом. Полковник повелительным жестом указал в сторону тыла. Дьявол поклонился в знак повиновения. Это был капитан Коултер.

Сразу же вслед за останавливающим жестом полковника на поле сражения воцарилась тишина. Шквал снарядов больше не обрушивался на это ущелье смерти, потому что неприятельские орудия также умолкли. Армия южан отступила уже много часов назад, и командир арьергарда, который и так слишком долго удерживал позицию, надеясь утихомирить пушку северян, теперь приказал прекратить огонь.

– А я и не подозревал, сколь широко простирается моя власть, – с усмешкой обратился к кому-то полковник, въезжая на вершину горы, чтобы взглянуть, что же в действительности произошло.

Спустя час его бригада расположилась лагерем на оставленных противником позициях. От нечего делать солдаты рассматривали валявшиеся тут же трупы лошадей и обломки трех разбитых вдребезги орудий. Они взирали на все это с неким благоговейным трепетом, точно богомольцы на святые реликвии. Тела южан давно унесли; зрелище растерзанных на куски врагов доставило бы уж слишком большую радость.

Разумеется, полковник и вся его боевая семья разместились в усадьбе плантатора. Правда, дом был довольно сильно разрушен, но все-таки это было лучше, чем ночевать под открытым небом. Повсюду были разбросаны остатки поломанной мебели, потолок и стены во многих местах оказались пробитыми, а в комнате стоял укоренившийся запах порохового дыма. Но кровати, сундуки с женской одеждой и буфет не слишком пострадали. Новые постояльцы с комфортом устроились на ночлег, а эпизод с батареей Коултера, буквально стертой с лица земли, служил интересной темой для разговоров.

Вечером, во время ужина, в столовой появился один из ординарцев свиты и попросил разрешения обратиться к полковнику.

– В чем дело, Барбур? – приветливо спросил тот, услышав просьбу ординарца.

– Полковник, там, в погребе, что-то неладно. Не знаю, в чем дело. По-моему, там кто-то есть. Я спускался туда, осматривая помещение.

– Я пойду посмотрю, – сказал один из штабных офицеров, поднимаясь с места.

– И я также, – заявил полковник, – все другие пусть остаются на местах. Ведите нас, ординарец.

Захватив со стола свечу, они стали спускаться по ступенькам погреба вслед за взволнованным ординарцем. Свеча отбрасывала тусклый свет, но сразу же, едва только они вошли, в узкой полосе освещенного пространства обнаружилась чья-то фигура. Человек сидел на полу, прислонившись к черной каменной стене, вдоль которой они продвигались. Колени его были высоко подняты, голова опущена на грудь. Лицо человека, хотя и обращенное к ним в профиль, разглядеть было невозможно, так как его скрывали длинные, свисающие вниз волосы. И странно! – борода, гораздо более темная, чем волосы на голове, густой спутанной массой падала к его ногам и стелилась по полу. Все невольно остановились. Затем полковник, взяв свечу из дрожащей руки ординарца, приблизился к человеку и внимательно вгляделся в него. Длинная черная борода оказалась волосами мертвой женщины. В объятиях убитой покоился ребенок, а оба они покоились в объятиях мужчины, который прижимал их к своей груди и губам. Кровь была на волосах женщины, кровь была на волосах мужчины. В нескольких метрах от них валялась оторванная детская нога. В неровном земляном полу зияла яма – это была свежая воронка, – а в ней – осколок снаряда с зазубренными краями. Полковник как можно выше поднял свечу. Пол комнаты, находящейся над погребом, был пробит, и обломки досок торчали вниз во все стороны.

– Да, этот каземат не приспособлен под убежище, серьезно сказал полковник. Он не почувствовал, что его заключение прозвучало несколько легковесно.

Некоторое время они молча стояли над этой группой. Штабной офицер думал о неоконченном ужине, ординарец – о

том, что бы такое могло находиться в бочонках на другом конце погреба.

Внезапно человек, которого они считали мертвым, поднял голову и спокойно посмотрел на окружавших его людей. Лицо его было черным как уголь, щеки изборождены волнистыми светлыми полосами, тянувшимися книзу от глаз. Губы были серовато-белыми, как у актера, загримированного под негра. На лбу запеклась кровь.

Штабной офицер отступил на один шаг, ординарец – на два шага.

– Что вы здесь делаете, дружище? – спросил полковник, не трогаясь с места.

– Этот дом принадлежит мне, сэр, – последовал учтивый ответ.

– Вам? Ах, вот как! А это кто?

– Это моя жена и ребенок. Я – капитан Коултер.

Бой был жарким и продолжительным; это чувствовалось во всем. Воздух был пропитан запахом битвы. Теперь все уже позади; осталось только оказать помощь раненым да похоронить убитых – «упаковать», как сказал один остряк из похоронного взвода. «Паковать» придется немало. Куда ни посмотришь, по всему лесу среди расщепленных деревьев валялись человеческие и конские трупы. Между ними ходят санитары с носилками, подбирая тех немногих, которые еще подают признаки жизни. Большинство раненых уже умерли без присмотра, пока обсуждали их права на последнее причастие. Раненые должны ждать – таков армейский закон; лучший способ позаботиться о них – выиграть сражение. Следует признать, что победа – это особая привилегия человека, нуждающегося в помощи. Однако многие не доживают до нее.

Пока рыли братские могилы, убитых собирали по двенадцать-двадцать человек и складывали рядами. Тех, кого нести сюда было слишком далеко, закапывали на месте. Попыток опознать трупы почти не было сделано, хотя в большинстве случаев похоронные команды собирали трупы там, где они сами сражались. Имена мертвых победителей были известны и занесены в списки. Павшие солдаты противника вынуждены были довольствоваться простым пересчетом. Зато это они получили сполна: многих из них пересчитали несколько раз, и общая цифра, включенная впоследствии в официальную сводку командира-победителя, отражала скорее мечту, чем истинный итог.

На некотором расстоянии от того места, где одна из похоронных команд разбила «бивуак павших», облокотившись о дерево, стоял человек в форме офицера федеральной армии. Весь облик его выражал крайнюю усталость; но при этом он беспокойно вертел головой из стороны в сторону; очевидно, какие-то мысли не давали ему покоя. Возможно, он не знал, в какую сторону идти; казалось, он не собирался долго оставаться на этом месте, ибо прямые красноватые лучи заходящего солнца уже играли в просветах между деревьями и усталые солдаты заканчивали свое дело. Вряд ли он намерен был провести ночь в одиночестве среди покойников. Девять человек из десяти,

которых вы встречаете на дороге после боя, обычно спрашивают, как добраться до той или иной воинской части, как будто кто-то может это знать. Несомненно, этот офицер заблудился. Отдохнув немного, он, вероятно, пойдет за одним из похоронных взводов,

Однако когда все ушли, он направился прямо к лесу, навстречу багряному закату, изукрасившему кровавыми пятнами его лицо. Уверенный вид, с каким он теперь шел, свидетельствовал о том, что эти места ему знакомы. Он снова хорошо ориентировался.

Он шел, не глядя на трупы, лежавшие по сторонам. Раздававшиеся то и дело хриплые стоны тяжело раненных, которых не нашли санитары и которые должны были провести беспокойную ночь под звездами, мучимые жаждой, также не привлекали его внимания. Да и чем он мог им помочь, не будучи хирургом и не имея под рукой воды? У края мелкой лощины, – простого углубления в земле, лежало несколько трупов. Он увидел их, резко изменил свой курс и быстро направился к ним. Проходя мимо трупов, он пристально разглядывал каждый и наконец остановился над одним, лежавшим в некотором отдалении от остальных, у молодой рощицы. Офицер внимательно осмотрел труп, и ему показалось, что он шевелится. Офицер наклонился и потрогал лицо трупа. Раздался крик.

Офицер был капитаном Даунингом Мэдуэллом из Массачусетского полка, доблестным и умным солдатом, благородным человеком. В этом полку служили два брата Хэлкроу – Кэффал и Крид. Кэффал был сержантом из роты Мэдуэлла, и эти два человека (сержант и капитан) были верными друзьями. Они старались держаться вместе, хотя этому мешало неравенство в чинах, различие обязанностей и соображения военной дисциплины. Они вместе росли с самого детства, а привычку сердца нелегко сломить. Кэффал Хэлкроу не имел ни склонности, ни вкуса к военной службе, но он не мог смириться с мыслью, что придется расстаться с другом; он записался в роту, где Мэдуэлл был младшим лейтенантом. Оба дважды получали повышение в звании, но пропасть между высшим сержантским званием и низшим офицерским была глубока и широка, и поддерживать старые отношения становилось все труднее, возникали разногласия.

Крид Хэлкроу, брат Кэффала, служил в том же полку майором. Это был циничный, мрачного вида человек, и между ним и капитаном Мэдуэллом существовала естественная антипатия, обстоятельства разжигали ее и усиливали, пока не довели до активной враждебности. Если бы не сдерживающее влияние Кэффала, каждый из этих двух патриотов, несомненно, приложил бы все усилия, чтобы лишить свою страну услуг другого.

В то утро в начале боя полк находился в боевом охранении в миле от основных сил. Он был атакован и почти окружен в лесу, но упорно удерживал позиции. Во время затишья майор Хэлкроу подошел к капитану Мэдуэллу. Они, как положено, обменялись приветствиями, и майор сказал:

– Капитан, полковник приказал вам с вашей ротой выдвинуться к краю лощины, занять там позицию и удерживать ее до получения приказа отходить. Вряд ли есть необходимость предупреждать вас, что это задание опасно, но, если хотите, я думаю, вы можете передать командование своему старшему лейтенанту. Я не уполномочен дать вам на это разрешение, я это просто от себя вам предлагаю.

На подобное смертельное оскорбление капитан Мэдуэлл спокойно ответил:

– Сэр, я приглашаю вас присоединиться к моей роте. Офицер на коне будет замечательной мишенью для противника, а я уже давно придерживаюсь мнения, что вам было бы лучше присоединиться к мертвецам.

Искусство остроумного ответа зародилось в военных кругах еще в 1862 году.

Через полчаса рота капитана Мэдуэлла отошла с позиций на край лощины, оставив там треть своего состава. Среди раненых был и сержант Хэлкроу. Вскоре полк вынужден был отойти к главной линии обороны и к концу боя находился в нескольких милях от лощины. И вот теперь капитан стоял возле своего подчиненного и друга.

Сержант Хэлкроу был смертельно ранен. Форма его была в страшном беспорядке. Казалось, что ее ожесточенно рвали на куски, чтобы обнажить живот. Несколько пуговиц были оторваны от куртки и валялись неподалеку на земле, кругом были разбросаны клочки обмундирования. Кожаный поясной ремень был расстегнут, и кто-то, видимо, пытался вытянуть его из-под лежащего. Большой потери крови не было. Единственная

видимая рана – большая рваная дыра в животе – была прикрыта землей и опавшими листьями. Из раны высовывалась петля тонкой кишки. Подобного ранения капитан Мэдуэлл, немало повидавший в жизни, никогда не встречал. Он не мог даже понять, как оно было нанесено, или объяснить сопутствующие обстоятельства – странно разорванную одежду, расстегнутый ремень, перепачканное тело. Он опустился на колени, чтобы лучше рассмотреть рану. Затем поднялся, осмотрелся по сторонам, словно разыскивая врага. В пятидесяти ярдах от себя, на вершине небольшого, поросшего редкими деревьями холма, он увидел несколько темных предметов, шевелящихся среди трупов, – стадо кабанов. Один стоял к нему спиной, возвышаясь над остальными. Его передние ноги уперлись в труп, голова была опущена и не видна. Щетинистый спинной хребет кабана казался черным на фоне красного заката. Капитан Мэдуэлл отвел глаза и посмотрел на то, что когда-то было его другом.

Человек, получивший эти чудовищные увечья, был еще жив. Время от времени он шевелился и издавал стон при каждом вздохе. Пустым взором он смотрел на друга; он вскрикивал при любом прикосновении. В страшной агонии он разрыл землю, на которой лежал; в кулаках он судорожно сжимал листья, перемешанные с землей. Ничего внятного он произнести был не в силах. Ощущает ли он что-нибудь, кроме боли, – это узнать было невозможно. По выражению его лица было видно, что он о чем-то просит, глаза полны мольбы. Чего он хотел?

В этом взгляде нельзя было ошибиться; слишком часто капитан видел его у тех, кто просил убить их. Сознательно или бессознательно, этот корчащийся от боли осколок человечества, этот сгусток обострившихся эмоций и чувств, эта жертва человека и зверя, этот покорный и поверженный Прометей умолял все, всех вокруг него даровать ему забвение. К земле и небу, к деревьям, к человеку, ко всему, что обретает форму в ощущении или сознании, обращало это воплощение страдания свою молчаливую мольбу.

О чем? О том, что мы даруем даже самым низким существам, не обладающим разумом, чтобы просить, и в чем мы отказываем лишь несчастным представителям нашей собственной расы: о благословенном освобождении, об обряде наивысшего сострадания, о спасительном убийстве.

Капитан Мэдуэлл произнес имя своего друга. Он тщетно повторял его снова и снова, пока чувства не начали душить его.

Слезы лились на мертвенно бледное лицо друга, ослепляя капитана. Он не видел ничего, кроме расплывчатого движущегося предмета, но стоны становились все громче и все чаще прерывались резкими криками. Капитан отвернулся, провел ладонью по лбу и отошел. Завидев его, кабаны вскинули свои темно-красные морды, секунду подозрительно смотрели на него и вдруг, захрюкав все разом, бросились прочь.

Лошадь, передняя нога которой была разбита ядром, приподняла с земли голову и жалобно заржала. Мэдуэлл подошел к ней, вынул пистолет, всадил пулю бедному животному между глаз и, стоя совсем рядом, наблюдал за предсмертной агонией, которая, вопреки его ожиданиям, была сильной и долгой; наконец лошадь застыла в неподвижности. Напряженные мышцы ее губ, в ужасной улыбке обнажившие зубы, расслабились; четкий, резкий силуэт ее застыл в вечном покое.

Далеко на западе, за поросшим редким леском холмом, почти совсем угасла кайма заходящего солнца. В его лучах стволы деревьев стали нежно-серыми; тени на их вершинах походили на большие темные птичьи гнезда. Наступала ночь, а капитана Мэдуэлла отделяли от лагеря мили девственного леса. Но он стоял возле мертвого животного, потеряв, видимо, всякое ощущение окружающего. Взор его был устремлен вниз; левая рука бессильно свисала, а правая все еще сжимала пистолет. Но вот он поднял голову, повернулся к умирающему другу и быстро зашагал к нему. Он встал на одно колено, взвел курок, приложил ствол ко лбу сержанта и, отвернувшись, нажал спуск. Выстрела не последовало. Последний патрон он потратил на лошадь.

Бедняга сержант стонал, и губы его конвульсивно дергались. Пена изо рта была слегка окрашена кровью.

Капитан Мэдуэлл поднялся и вынул из ножен свою шпагу. Пальцами левой руки он провел по лезвию от эфеса до острия. Он держал шпагу на весу перед собой, как бы испытывая свои нервы. Клинок не дрожал; отражение бледного неба в нем было ясным и четким. Капитан наклонился и левой рукой разорвал на умирающем рубашку, потом выпрямился и поставил острие шпаги прямо на сердце. На этот раз он не отводил глаз. Схватив эфес шпаги обеими руками, он нажал на нее изо всех сил, навалившись всем телом. Клинок вошел в грудь и сквозь нее – в землю; капитан Мэдуэлл чуть не упал.

Умирающий поджал колени, бросил правую руку на грудь и схватился за сталь с такой силой, что было видно, как побелели суставы пальцев. Эти страшные, но тщетные усилия вытащить клинок расширили рану; ручеек крови змейкой побежал по разодранной одежде. В этот момент три человека внезапно появились из-за деревьев. Двое были санитарами. Они тащили носилки.

Третьим был майор Крид Хэлкроу.

– Ваше имя, пленный?

– Поскольку завтра на рассвете мне предстоит расстаться с ним, вряд ли стоит его скрывать: Паркер Аддерсон.

– Чин?

– Весьма скромный; офицеры представляют слишком большую ценность, чтобы можно было рисковать ими, используя в качестве шпионов. Я – сержант.

– Какого полка?

– Прошу прощения; боюсь, что мой ответ поможет вам определить, какие войска находятся перед вами. Дело в том, что как раз эти сведения я хотел получить, пробираясь в расположение ваших частей, а вовсе не сообщать их вам.

– Вы не лишены остроумия.

– Если у вас хватит терпения подождать до завтра, я произведу на вас обратное впечатление.

– Откуда вы знаете, что смерть ожидает вас завтра утром?

– Так уж принято. Шпионов, которых ловят до наступления ночи, обычно казнят на рассвете. Это уже стало ритуалом.

Генерал снизошел до того, что пренебрег чувством собственного достоинства, которым славились все высшие чины армии конфедератов, и улыбнулся. Однако человек, находящийся в его власти и немилости, ошибся бы, приняв этот видимый признак благосклонности за доброе предзнаменование. Улыбка его не была ни веселой, ни заразительной, она не передалась людям, стоявшим перед ним, то есть пойманному шпиону, которому эту улыбку удалось вызвать, и вооруженному конвоиру, который доставил его сюда и теперь стоял немного поодаль, не сводя глаз с пленного, освещенного желтоватым пламенем свечи. В число обязанностей солдата вовсе не входило улыбаться. Его задача была другого рода. Разговор возобновился, он напоминал суд над преступником, совершившим тягчайшее преступление.

– Итак, вы признаете, что вы шпион и что, переодевшись в форму солдата-южанина, вы проникли в мой лагерь, для того чтобы раздобыть секретные сведения относительно численности и расположения наших войск.

– Главным образом относительно численности. Расположение их духа я и так знал. Скверное!

Генерал снова не смог сдержать улыбки. Конвоир, сознавая, что положение требует от него сугубой суровости, сделал совсем строгое лицо и стоял, вытянувшись в струнку. Шпион же вертел свою серую шляпу с обвисшими полями и лениво разглядывал окружающую его обстановку. Обстановка была проста. Обыкновенная палатка, размером восемь футов на десять, освещалась единственной сальной свечкой, воткнутой в основание штыка, который, в свою очередь, был воткнут в простой сосновый стол, за этим столом и сидел генерал; он что-то усердно писал, по всей видимости совершенно забыв о попавшем к нему не по собственному желанию госте. Старый, изодранный ковер покрывал земляной пол. Еще более старый кожаный чемодан, второй стул и скатанные вместе одеяла – вот, пожалуй, и вся обстановка палатки. В подразделении генерала Клаверинга особенно сильно чувствовались простота и отсутствие пышности, свойственные армии южан вообще.

На большом гвозде, вбитом в столб, у входа, висела портупея с саблей, пистолет в кобуре и почему-то охотничий нож, казавшийся совершенно здесь неуместным. Обычно генерал считал своим долгом пояснять, что это сувенир – память о мирных днях, когда он был еще штатским.

Ночь была бурная. Дождь лил как из ведра, каскадами обрушиваясь на палатки, глухой стук капель по брезенту напоминал, как всегда, барабанную дробь.

Каждый раз, когда новый порыв ветра сотрясал палатку, непрочное сооружение шаталось и вздрагивало, а веревки, прикреплявшие ее к колышкам, натягивались и грозили лопнуть.

Генерал кончил писать, сложил листок пополам и обратился к конвоиру, который привел пленного.

– Вот, Тассман, возьми отнеси это генерал-адъютанту. А затем возвращайся.

– А пленный как, господин генерал? – спросил солдат, отдавая честь, и вопросительно посмотрел на несчастного шпиона.

– Исполняй приказание, – коротко бросил генерал.

Солдат взял записку и, согнувшись, вышел из палатки. Генерал Клаверинг повернул красивое лицо к шпиону, беззлобно посмотрел ему прямо в глаза и сказал:

– Плохая ночь, приятель.

– Для меня да.

– Вы не догадываетесь, что в этой записке?

– По всей вероятности, что-то важное, хотя, возможно, это говорит во мне тщеславие, – думаю, что содержание ее посвящается мне.

– Да, я распорядился, чтобы издали приказ о вашей казни, он будет зачитан перед войсками утром. Кроме того, дал кое-какие указания начальнику военной полиции относительно того, как обставить эту церемонию.

– Надеюсь, генерал, что все будет хорошо продумано, поскольку я думаю сам посетить этот спектакль.

– Может, у вас есть какие-нибудь пожелания насчет организации этого дела, не хотели бы вы встретиться со священником?

– Не уверен, что я обрету продолжительный покой, лишив его заслуженного отдыха.

– Боже милосердный! Неужели вы и на смерть пойдете с шуточками? Неужели вы не отдаете себе отчет в том, что смерть это очень серьезное дело?

– Откуда же мне знать это? Я еще ни разу не умирал. Мне, правда, приходилось слышать, что смерть – дело серьезное. Но, как назло, всегда это говорили люди, на себе ее не испытавшие.

Генерал помолчал. Интересный человек, забавный даже, никогда еще на встречал таких, думал он.

– Во всяком случае, смерть-это утрата, – сказал он, – утрата счастья, которым мы владеем, и всех надежд на будущее.

– Потеря, которую мы никогда не осознаем не может расстраивать нас или внушать страх. Вы, без сомнения, замечали, генерал, что лица трупов, которыми усеян ваш славный путь-путь солдата, – никогда не выражают каких-либо признаков сожаления.

– Допустим, что мертвые действительно не знают сожаления, ну а как насчет, наступления смерти, приближения к ней – это-то, должно быть, весьма неприятно для каждого, кто не потерял способность чувствовать.

– Что же, боль, конечно, неприятна. Сам я всегда переносил ее плохо. Но ведь чем дольше вы живете, тем чаще вам приходится испытывать ее. То, что вы называете умиранием, есть не что иное, как последняя боль, а вообще-то говоря, никакого умирания не существует. Предположим, например,

что я делаю попытку убежать. Вы поднимаете револьвер, который предусмотрительно положили в карман, и...

Генерал покраснел, как девушка, затем негромко засмеялся, показав ослепительно-белые зубы, и слегка наклонил голову, но не сказал ни слова.

Шпион продолжал:

– Выстрел – и я получаю пулю в живот. Я падаю, но я еще не умер. Проходит полчаса мучительной агонии, и я умираю. Однако в каждый отдельный момент этого получаса я либо жив, либо мертв. Переходного периода не существует.

То же самое произойдет и завтра утром, когда меня будут вешать; находясь в сознании, я буду знать, что жив, умерев – я так и не узнаю этого. Похоже, что в данном случае природа решила соблюдать мои интересы. Именно такой порядок установил бы и я сам. Все это так просто, – добавил он с улыбкой, – что невольно начинаешь сознавать всю бессмыслицу этого акта.

Наступило долгое молчание. Генерал сидел с невозмутимым видом – он внимательно смотрел на шпиона, но, казалось, не слушал его. Можно было подумать, что глаза его стерегут пленного, тогда как голова занята совсем другим. Наконец он глубоко вздохнул, вздрогнул, словно человек, пробудившийся от страшного сна, и прошептал:

– Смерть ужасна! – Это сказал человек, повинный во многих смертях.

– Она была ужасна для наших диких предков, – серьезно возразил шпион, – они стояли на слишком низкой ступени умственного развития, чтобы разъединять два понятия – сознание и материальные формы его воплощения. Ведь существо, стоящее на еще более низкой ступени развития, скажем обезьяна, не в состоянии представить себе даже дом без его обитателей и, видя разрушенную лачугу, тут же представляет себе несчастного, обитавшего в ней. Смерть ужасна, поскольку мы с детства привыкаем думать о ней как о чем-то ужасном. Это понятие подкрепляется невежественным, фантастическим представлением о другом мире. То же самое происходит, когда название места способствует возникновению легенды, объясняющей это название, а безрассудное поведение – возникновению философского учения, оправдывающего его. Повесить меня в вашей власти, генерал, но на этом вашей злой воли приходит конец, на небо вам меня послать уже не удастся.

Генерал, казалось, не слышал всего этого. Рассуждения шпиона, по-видимому, направили его мысли по непривычному руслу. Но выводы, к которым он пришел, были его собственными, не зависящими ни от кого.

Буря стихла. Наступившая торжественная тишина сообщала, казалось, его мыслям мрачность, вселяла в него суеверный страх. Может, тут играло роль предчувствие.

– Я бы не хотел умереть, – сказал генерал, – во всяком случае, не хотел бы умереть сегодня.

Он не договорил, хотя неизвестно, хотел ли он вообще продолжать, – в палатку вошел штабной офицер, капитан Хестерлик, начальник военной полиции. Его появление заставило генерала вернуться к жизни. Взгляд перестал быть отсутствующим.

– Капитан, – сказал генерал, отвечая на приветствие вошедшего, – этот человек – шпион, подосланный янки и пойманный в расположении наших войск. При нем были найдены документы, подтверждающие, что он действительно шпион. Он во всем признался. Как сейчас на дворе?

– Буря стихла, сэр. Светит луна.

– Отлично. Возьмите взвод, отведите его на плац и расстреляйте.

Резкий крик сорвался с губ шпиона. Он подался вперед, стиснув кулаки и широко открыв глаза.

– Боже мой! – закричал он хриплым, невнятным голосом. – Вы не сделаете этого. Разве вы забыли, ведь я не должен умереть до утра.

– Я ничего не говорил вам про утро, – ответил генерал холодно. – Это решили вы сами. Вы умрете сейчас.

– Но, генерал, прошу вас, умоляю вас, вспомните – ведь я же должен быть повешен! Нужно какое-то время, чтобы соорудить виселицу, – два часа, хотя бы час. Шпионов всегда вешают. По законам, у меня есть на это право. Ради бога. Подумайте, генерал, как коротка...

– Капитан, выполняйте мое приказание.

Офицер обнажил саблю, вперил взгляд в пленного и молча указал ему на выход. Пленный медлил, и офицер, взяв его за воротник, стал подталкивать к выходу. Но в тот момент, когда они поравнялись с подпирающим палатку столбом, обезумевший пленник подпрыгнул и с кошачьей ловкостью выхватил из ножен охотничий нож. Оттолкнув капитана, он

бросился на генерала, повалил его на землю и в бешеной злобе кинулся на него сам. Стол был перевернут, свеча погасла – они боролись в темноте.

Начальник полиции бросился на помощь генералу – теперь они катались по полу втроем. Проклятия, вопли, нечленораздельные крики ярости и боли наполнили ночной воздух, палатка рухнула на копошащийся клубок тел. Покрытые полотнищем брезента, путаясь в его складках, они продолжали ожесточенно драться. Вернулся посланный с поручением Тассман. Смутно догадываясь о том, что произошло, он бросил свое ружье и схватился за шевелящийся брезент, в тщетной попытке стащить его с дерущихся. Часовой, стоявший у входа в палатку, твердо помнил, что он ни в коем случае не должен покидать свой пост, поэтому он выстрелил из ружья.

Выстрел всполошил лагерь, забили барабаны, горны заиграли сбор, со всех сторон начали сбегаться полуодетые, на ходу застегивающиеся солдаты и стали строиться, повинуясь отрывистым командам офицеров.

Солдаты замерли в строю, держа винтовки наготове, в то время как штабные офицеры и личная охрана генерала быстро восстановили порядок, подняли палатку и растащили задыхающихся и окровавленных участников разыгравшегося спектакля.

Один из них – капитан – уже не дышал. Рукоятка охотничьего ножа, которым было проткнуто его горло, торчала чуть ниже подбородка, а лезвие застряло в челюсти, и рука, нанесшая удар, по-видимому, была не в состоянии вытащить нож. В руке у мертвого была его сабля – мертвый, он сжимал рукоятку с такой силой, что живые не могли взять ее у него. Лезвие сабли до самого эфеса было в крови.

Генерала подняли, но он снова со стоном повалился на землю и потерял сознание. Он был весь в синяках и, кроме того, получил две колотые раны в бедро и в плечо.

Шпион отделался легче всех. За исключением сломанной руки, он не имел серьезных повреждений – всего лишь несколько царапин. Но он был совершенно ошеломлен и вряд ли отдавал себе отчет в том, что произошло.

Он вырвался от солдат, которые хотели помочь ему, припал к земле, сжался в комок и забормотал что-то невнятное.

Его распухшее, испачканное запекшейся кровью лицо было мертвенно бледно.

– Нет, он не сумасшедший, – ответил одному из офицеров хирург, готовивший бинты. – Просто испуган до полусмерти.

– Откуда он взялся? Кто он?

Тассман начал объяснять. Он чувствовал себя центром внимания. Он не пропустил ничего, что могло бы в какой-то мере подчеркнуть важность роли, которую он играл в событиях этой ночи. Когда он кончил и хотел было начать свой рассказ сначала, оказалось, что никто его не слушает.

Генерал тем временем пришел в себя. Он приподнялся на локте, посмотрел вокруг и, увидя шпиона, который сидел, скорчившись, у костра, сказал спокойно:

– Отведите его на плац и расстреляйте.

– Генерал бредит, – сказал офицер, стоящий поблизости.

– Нет, он не бредит, – возразил генерал-адъютант. Он прислал мне записку насчет этого дела. Такой же приказ был отдан и Хестерлику. Генерал-адъютант сделал жест в сторону убитого. – И, клянусь богом, приказ этот будет приведен в исполнение.

Через несколько минут залпом из двадцати винтовок был убит Паркер Аддерсон – сержант федеральной армии, философ и остряк, который стоял на коленях на освещенном луной плацу и еле слышно молил солдат о пощаде. Едва только в холодном ночном воздухе замерли последние отголоски залпа, генерал Клаверинг, лежавший неподвижно возле пылающего костра, открыл свои большие голубые глаза, обвел ласковым взглядом всех стоящих вокруг и сказал:

– Как тихо!

Хирург обменялся с генерал-адъютантом печальным и многозначительным взглядом. Раненый медленно опустил веки, и так с закрытыми глазами он пролежал несколько мгновений. Затем лицо его озарилось блаженной улыбкой, слабым голосом он произнес: «Похоже, что это смерть», – и в следующую минуту его не стало.

Офицер из обидчивых

1. О ФУНКЦИЯХ ВЕЖЛИВОСТИ

– Капитан Рэнсом, вам не полагается знать ни-че-го. Ваше дело – исполнять мой приказ, и разрешите, я его повторю. Если вы заметите какое бы то ни было передвижение войск впереди вашей батареи, открывайте огонь, а если вас атакуют, удерживайте эту позицию как можно дольше. Вы меня поняли, сэр?

– Вполне. Лейтенант Прайс, – это относилось к одному из офицеров батареи, который только что подъехал к ним верхом и слышал слова генерала, – смысл приказа вам ясен, не правда ли?

– Совершенно ясен.

Лейтенант проехал дальше на свое место. С минуту генерал Камерон и командир батареи сидели в седлах, молча глядя друг на друга. Говорить было больше нечего; по-видимому, и так было сказано слишком много. Затем генерал кивнул и тронул коня. Артиллерист взял под козырек медленно, серьезно и до крайности церемонно. Человек, знакомый с тонкостями военного этикета, усмотрел бы в его манере свидетельство того, что он помнит о полученном выговоре. Одна из важнейших функций вежливости – это выражать обиду.

Генерал подъехал к своим адъютантам и ординарцам, поджидавшим его в некотором отдалении, вся кавалькада двинулась вправо и скрылась в тумане. Капитан Рэнсом остался один, безмолвный, неподвижный, как конная статуя. Серый туман, сгущавшийся с каждой минутой, сомкнулся над ним, как некий зримый рок.

2. ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЛЮДЯМ НЕ УЛЫБАЕТСЯ БЫТЬ УБИТЫМИ

Накануне бои шли беспорядочно и никаких серьезных результатов не дали. Там, где происходили стычки, дым от выстрелов синими полотнищами висел в ветвях деревьев, пока его не рассеивал дождь. В размякшей земле колеса орудий и зарядных ящиков прорезали глубокие, неровные колеи, и каждому движению пехоты, казалось, мешала грязь, налипавшая на ноги солдат, когда они, в промокшей одежде,

кое-как прикрыв плащами винтовки, ломаными рядами брели во всех направлениях по мокрому лесу и залитым водою полям. Конные офицеры, выглядывая из-под капюшонов своих резиновых пончо, блестевших словно черные доспехи, поодиночке или группами пробирались среди солдат без всякой видимой цели и не вызывая интереса ни у кого, кроме как друг у друга. Там и тут лежали убитые, к их мундирам комьями пристала земля, лица были накрыты одеялами или желтели под дождем, как глина, и вид их, в довершение к прочим унылым деталям пейзажа, придавал общему подавленному настроению оттенок особенно удручающий. Отталкивающее зрелище являли собой эти трупы, отнюдь не героические, и доблестный их пример никого не способен был вдохновить. Да, они пали на поле чести, но поле чести было такое мокрое! Это сильно меняет дело.

Серьезный бой, которого все ожидали, не состоялся, так как из незначительных успехов, выпадавших на долю то одной, то другой стороны в случайных мелких стычках, ни один не был развит. Вялые атаки вызывали хмурый отпор, ни разу не вылившийся в контратаку. Приказам следовали механически, хоть и точно; люди исполняли свой долг, но не более того.

– Солдаты сегодня трусят, – сказал генерал Камерон, бригадный командир федеральной армии, своему адъютанту.

– Солдаты мерзнут, – отвечал офицер, к которому он обратился, – и... да, им не улыбается такая вот перспектива.

Он указал на один из трупов, лежавших в неглубокой желтой луже, на его лицо и мундир, забрызганные грязью из-под колес и копыт.

Оружие, как и люди, казалось, не прочь было уклониться от исполнения долга. Винтовки стрекотали нехотя и как-то бессмысленно. Стрекотание их ничего не означало и почти не вызывало интереса на спокойных участках линии огня и у ожидающих своей очереди резервов. Даже на небольшом расстоянии орудийные выстрелы раздавались слабо и глухо; им недоставало остроты и звучности. Словно стреляли холостыми зарядами. И так этот напрасный день печально миновал, а затем беспокойную ночь сменил новый день, исполненный тревоги,

У каждой армии есть свое лицо. Помимо мыслей и чувств отдельных составляющих ее людей, она мыслит и чувствует как единое целое. И это общее большое сознание мудро своей особой мудростью, которая больше суммы всего того, из чего

она состоит. В то унылое утро эта тяжелая, косная громада, ощупью продвигавшаяся на дне белого моря тумана, среди деревьев, подобных водорослям, смутно сознавала, что где-то что-то неладно; что перегруппировки целого дня привели к неправильному расположению ее составных частей, к слепому распылению сил. Солдаты чуяли опасность и говорили между собой о тех тактических ошибках, какие они, при их скудном военном словаре, умели назвать. Офицеры сходились кучками и в более ученых выражениях рассуждали о том, чего опасались не менее смутно. Бригадные и дивизионные командиры тревожно следили за постами связи справа и слева от своих частей, рассылали штабных офицеров собирать сведения, неслышно и осторожно продвигали стрелковые цепи вперед, в предательское пространство между ведомым и неведомым. В некоторых пунктах передовой линии рядовые, видимо по собственному почину, возводили укрепления из тех, какие возможно соорудить без молчаливого заступа и шумного топора,

Один из таких пунктов удерживала батарея капитана Рэнсома, состоявшая из шести орудий. Его люди, постоянно имевшие при себе шанцевый инструмент, усердно работали всю ночь, и теперь черные жерла орудий торчали из бойниц поистине грозного земляного сооружения. Оно возвышалось на небольшом оголенном откосе, с которого можно было беспрепятственно обстреливать впереди лежащую местность на очень далеком расстоянии. Трудно было бы выбрать позицию удачнее. Она имела одну особенность, которую капитан Рэнсом, очень любивший пользоваться компасом, не преминул заметить: она была обращена к северу, тогда как вся армия, он это знал, была обращена фронтом на восток. И действительно, эта часть передовой линии была «отогнута», или, другими словами, оттянута, назад, дальше от противника. Это означало, что батарея капитана Рэнсома находилась где-то близ левого фланга; ибо, если только позволяет характер местности, армия на фронте всегда загибает фланги, являющиеся ее наиболее уязвимыми точками. В самом деле, капитан Рэнсом, по-видимому, удерживал крайний левый участок фронта, так как левее его батареи никаких частей не было видно. Как раз позади его орудий и произошел тот разговор между ним и его бригадным командиром, заключительную и наиболее красочную часть которого мы привели выше.

3. КАК БЕЗ НОТ ИГРАТЬ НА ПУШКЕ

Капитан Рэнсом сидел в седле, безмолвный и неподвижный. В нескольких шагах от него стояли у орудий его солдаты. Где-то – на протяжении нескольких миль – жило сто тысяч человек, друзей и врагов. И все же он был один. Туман придавал его одиночеству такую же завершенность, как если бы он находился в сердце пустыни. Его мир ограничивался несколькими квадратными ярдами мокрой, истоптанной земли вокруг копыт его коня. Товарищей своих в этом призрачном царстве он не видел, не слышал. Обстановка располагала к раздумью, и он думал. По его резко очерченному красивому лицу трудно было судить, каковы его мысли. Оно было непроницаемо, как лицо сфинкса. Зачем оно стало бы выдавать повесть, которую некому было прочесть? При звуке шагов он только посмотрел в том направлении, откуда они послышались; один из его сержантов, казавшийся исполином в неверной перспективе тумана, приблизился к нему и, когда сократившееся расстояние придало ему четкие контуры и нормальные размеры, отдал честь и стал навытяжку.

– Ну что, Моррис? – сказал офицер, ответив на приветствие подчиненного.

– Лейтенант Прайс приказал доложить вам, сэр, что пехота везде отошла. Мы остались почти без прикрытия.

– Да, я знаю.

– Мне приказано передать вам, что наши разведчики выходили на сто ярдов за укрепления и донесли, что на нашем участке фронта сторожевых застав нет.

– Да.

– Они заходили так далеко, что слышали противника.

– Да.

– Они слышали стук колес артиллерии и команду офицеров.

– Да.

– Противник продвигается к нашему укреплению.

Капитан Рэнсом, до сих пор глядевший в сторону от своей позиции, туда, где туман поглотил бригадного командира и его свиту, теперь повернул коня и поглядел в обратную сторону. Потом он опять застыл в полной неподвижности.

– Кто сообщил эти сведения? – спросил он, не глядя на сержанта; глаза его были устремлены прямо в туман поверх головы коня.

– Капрал Хэсмен и рядовой Мэннинг.

Капитан Рэнсом с минуту помолчал. Лицо его слегка побледнело, губы слегка сжались, но, чтобы заметить эту перемену, нужен был наблюдатель более внимательный, чем сержант Моррис. В голосе перемены не было.

– Сержант, поблагодарите капитана Прайса за сведения и передайте ему мой приказ открыть огонь из всех орудий. Картечью.

Сержант отдал честь и растаял в тумане.

4. МЫ ЗНАКОМИМСЯ С ГЕНЕРАЛОМ МАСТЕРСОНОМ

В поисках дивизионного командира генерал Камерон и сопровождавшие его офицеры проехали около мили вдоль линии фронта, вправо от батареи Рэнсома, и здесь узнали, что дивизионный командир отправился на розыски командира корпуса. Казалось, каждый старался найти своего непосредственного начальника – симптом зловещий. Он означал, что никто не чувствует уверенности. И генерал Камерон проехал еще полмили и тут, на счастье, встретил возвращающегося командира дивизии генерала Мастерсона.

– А, Камерон, – сказал старший из двух офицеров, остановив коня и совсем не по-военному перебросив правую ногу через луку седла, – что-нибудь случилось? Надеюсь, нашли хорошую позицию для своей батареи? Если только можно говорить о хороших и плохих позициях в таком тумане.

– Да, генерал, – сказал тот с большим достоинством, отвечающим его менее высокому чину, – расположением моей батареи я очень доволен. К сожалению, не могу сказать того же о ее командире.

– Как, что такое? Рэнсом? А по-моему, он молодец. Мы, армия, должны им гордиться.

Офицеры регулярных войск любили называть себя «армией». Ведь известно, что большие города наиболее провинциальны; так и любая аристократия отмечена наиболее откровенным плебейством.

– Он излишне самостоятелен в своих суждениях. Между прочим, чтобы занять высоту, которую он удерживает, мне

пришлось растянуть фронт моей бригады больше, чем мне бы того хотелось. Эта высота находится на моем левом... то есть на левом фланге армии.

– О нет, там дальше еще стоит бригада Харта. Она ночью получила приказ выступить из Драйтауна и подтянуться к вам. Вы лучше поезжайте и...

Фраза осталась недоконченной; где-то слева вдруг раздалась оживленная канонада, и оба генерала в сопровождении адъютантов и ординарцев, звеня оружием и шпорами, поскакали в том направлении. Но скоро им пришлось перейти на шаг, так как из-за тумана они вынуждены были держаться вблизи линии огня, в полосе, которая кишела войсками, двигающимися поперек их пути. Повсюду линия принимала более четкие и жесткие очертания, по мере того как солдаты хватались за оружие и офицеры, обнажив шпаги, выравнивали ряды. Знаменосцы развертывали знамена, горнисты трубили сбор, появились санитары с носилками. Офицеры садились на коней и отсылали свои вещи в тыл под охраной денщиков-негров. Дальше, в призрачных пространствах леса, слышались шорохи и тихий говор подтягивающихся резервов.

И все эти приготовления были своевременны, – не прошло и пяти минут после того, как орудия капитана Рэнсома нарушили тишину выжидания, как все вокруг уже гремело от выстрелов: почти по всему фронту противник пошел в атаку.

5. КАК ЗВУКИ МОГУТ БИТЬСЯ С ТЕНЯМИ

Капитан Рэнсом расхаживал позади своих орудий, которые стреляли часто, но равномерно. Канониры работали проворно, однако без спешки и внешне без волнения. Волноваться, впрочем, было не из-за чего; не так уж сложно направить орудие в туман и выстрелить. Это каждый сумеет.

Люди улыбались своей шумной работе, хотя живость их понемногу спадала. Они с любопытством поглядывали на своего капитана, который встал на стрелковую ступень укрепления и смотрел через бруствер, словно проверяя эффект огня. Но единственным видимым эффектом было то, что там, где раньше висел туман, теперь низко стлались широкие полосы дыма. Внезапно из этой мглы возникло многоголосое «ура», с поразительной отчетливостью заполнившее перерывы между выстрелами. Тем немногим, кто имел время и возможность

заметить этот звук, он показался невыразимо странным – такой громкий. и близкий, и грозный, а между тем ничего не было видно. Люди, только что улыбавшиеся своей работе, теперь уже не улыбались, но действовали с сосредоточенной и лихорадочной энергией.

Со своего места у бруствера капитан Рэнсом увидел, как внизу перед ним множество смутных серых фигур выступило из тумана и устремилось вверх по откосу. Но орудия работали теперь быстро и яростно. Они осыпали оживший склон холма градом картечи, визг которой был ясно слышен сквозь грохот разрывов. В этой страшной железной метели атакующие продвигались шаг за шагом, ступая по трупам своих товарищей, стреляли в бойницы, перезаряжали винтовки, снова стреляли и, наконец, падали наземь немного впереди тех, кто упал раньше. Скоро дым так сгустился, что закрыл решительно все. Он оседал на атакующих и, относимый назад, обволакивал обороняющихся. Канониры видели ровно настолько, чтобы обслуживать свои орудия, а когда на бруствере появлялись отдельные неприятельские стрелки – из тех, которым посчастливилось добежать до простенка между двумя бойницами и таким образом оказаться под прикрытием, – вид у них был до того нестрашный, что горсточка пехотинцев едва давала себе труд встречать их штыками и сбрасывать обратно в ров,

У командира батареи во время боя есть дела поважнее, чем разбивать людям черепа, и капитан Рэнсом отошел от бруствера на свое место позади орудий, где и стоял, скрестив на груди руки; рядом с ним стоял его горнист. И здесь, в разгар боя, к нему подошел лейтенант Прайс, только что в самом укреплении уложивший ударом сабли какого-то особенно дерзкого гостя. Между обоими офицерами завязался оживленный разговор, оживленный, во всяком случае, со стороны лейтенанта, который отчаянно жестикулировал и снова и снова кричал что-то в ухо своему командиру, стараясь, чтобы тот услышал его слова сквозь адский рев орудий. Актер, спокойно наблюдающий его жесты, определил бы их как выражение сильного неудовольствия: словно он не одобрял того, что происходило. Неужели он предлагал сдаться неприятелю?

Капитан Рэнсом слушал, не меняя ни позы, ни выражения лица, и, когда лейтенант закончил свою тираду, спокойно

посмотрел ему в глаза и в минуту относительного затишья ответил:

– Лейтенант Прайс, вам не полагается знать ничего. Ваше дело исполнять мои приказы.

Лейтенант возвратился на свое место, и, так как бруствер к этому времени совсем очистился, капитан Рэнсом снова подошел к нему с намерением выглянуть. В ту минуту, когда он поднялся на стрелковую ступень, над гребнем появился солдат, размахивающий ярким знаменем. Капитан выхватил из-за пояса пистолет и застрелил его. Солдат качнулся вперед и повис с внутренней стороны насыпи, вытянув вперед руки, все еще сжимавшие знамя. Немногочисленные товарищи убитого повернулись и бросились бежать вниз по склону. Выглянув из-за бруствера, капитан не увидел ни одного живого существа. Он заметил также, что пули перестали бить по стене укрепления.

Он сделал знак горнисту, и тот протрубил сигнал «Прекратить огонь». На всех других участках бой закончился еще раньше – атака южан была отбита; когда и здесь орудия смолкли, воцарилась полная тишина.

6. ПОЧЕМУ, КОГДА ВАС ОСКОРБИТ А, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЕЙЧАС ЖЕ ОСКОРБЛЯТЬ Б

Генерал Мастерсон въехал в редут. Солдаты, собравшись кучками, громко разговаривали и жестикулировали. Они показывали друг другу убитых, перебегали от трупа к трупу. Они оставили без присмотра свои грязные, накалившиеся орудия, забыли, что нужно надеть плащи. Они подбегали к брустверу и выглядывали наружу, а некоторые соскакивали в ров. Человек двадцать собрались вокруг знамени, в которое крепко вцепился руками мертвец.

– Ну, молодцы, – весело сказал генерал, – пришлось вам потрудиться.

Они застыли на месте; никто не отвечал; появление высокого начальства, казалось, смутило и встревожило их.

Не слыша ответа на свое милостивое обращение, обходительный генерал просвистел два-три такта популярной песенки и, подъехав к брустверу, посмотрел поверх его на убитых. Через секунду он рывком повернул коня и поскакал прочь от насыпи, ища кого-то глазами. На хоботе одного из

лафетов сидел офицер и курил сигару. Когда генерал подлетел к нему, он встал и спокойно отдал честь.

– Капитан Рэнсом! – Слова сыпались резко и зло, как удары стальных клинков. – Вы стреляли по нашим солдатам – по нашим солдатам, сэр; вы меня слышите? Бригада Харта!

– Генерал, я это знаю.

– Знаете? Вы это знаете, и вы спокойно сидите и курите! О черт, Гамильтон, тут есть от чего выйти из себя. – Эти слова были обращены к начальнику полевой жандармерии. – Сэр... капитан Рэнсом, потрудитесь объяснить, почему вы стреляли по своим?

– Этого я не смогу объяснить. В полученный мною приказ эти сведения не входили.

Генерал явно не понял ответа.

– Кто первый открыл огонь, вы или генерал Харт? – спросил он.

– Я.

– И неужели вы не знали... неужели вы не видели, сэр, что бьете по своим?

Ответ он услышал поразительный:

– Я это знал, генерал. Насколько я понял, меня это не касалось.

Потом, прерывая мертвое молчание, последовавшее за его словами, добавил:

– Справьтесь у генерала Камерона.

– Генерал Камерон убит, сэр, он мертв – мертв, как вот эти несчастные. Он лежит вон там, под деревом. Вы что же, хотите сказать, что он тоже причастен к этому ужасному делу?

Капитан Рэнсом не отвечал. На громкий разговор собрались его солдаты послушать, чем кончится дело. Они были до крайности взволнованы. Туман, немного рассеявшийся от выстрелов, теперь снова окутывал их так плотно, что они сходились все теснее, пока около сидевшего на коне судьи и спокойно стоявшего перед ним обвиняемого почти не осталось свободного пространства. Это был самый неофициальный полевой суд в мире, но все чувствовали, что официальное разбирательство, которое не замедлит последовать, только подтвердит его решение. Он не имел юридической силы, но был знаменателен как пророчество.

– Капитан Рэнсом! – воскликнул генерал гневно, хотя в его голосе слышалась почти что мольба. – Если вы можете добавить

хоть что-нибудь, что показало бы ваше необъяснимое поведение в более благоприятном свете, прошу вас, сделайте это.

Совладав с собой, великодушный солдат хотел найти оправдание своей бессознательной симпатии к этому храброму человеку, которому неминуемо грозила позорная смерть.

– Где лейтенант Прайс? – спросил капитан.

Названный офицер выступил вперед; окровавленная повязка на лбу придавала его смуглому мрачному лицу очень неприятный вид. Он понял смысл вопроса и заговорил, не дожидаясь приглашения. Он не смотрел на капитана, и слова его были обращены к генералу:

– Во время боя я увидел, как обстоит дело. и поставил в известность командира батареи. Я осмелился настаивать на том, чтобы прекратить огонь. Меня оскорбили и отослали на место.

– Известно ли вам что-нибудь о приказе, согласно которому я действовал? – спросил капитан.

– Ни о каких приказах, согласно которым мог действовать командир батареи, – продолжал лейтенант, по-прежнему обращаясь к генералу, – мне не известно ничего.

Капитан Рэнсом почувствовал, что земля ускользает у него из-под ног. В этих жестоких словах он услышал голос судьбы; голос говорил холодно, равнодушно, размеренно: «Готовьсь, целься, пли!» – и он чувствовал, как пули разрывают на клочки его сердце. Он слышал, как падает со стуком земля на крышку его гроба и (если будет на то милость всевышнего) как птица поет над забытой могилой. Спокойно отцепив шпагу, он передал ее начальнику полевой жандармерии.

Один офицер, один солдат

Капитан Граффенрейд стоял впереди своей роты. Его полк еще не вступил в бой. Он занимал участок передовой, которая вправо тянулась мили две по открытой местности.

Левый фланг заслонял лес – в лесу терялась линия фронта, уходившая вправо, но было известно, что она простирается на много, много миль.

Отступя сто ярдов, проходила вторая линия. Здесь располагались колонны резервных частей. На невысоких холмах между этими двумя линиями занимали позиции артиллерийские батареи. Там и сям виднелись группы верховых – генералы в сопровождении штабных офицеров и личной охраны, командиры полков, – они нарушали четкий порядок построенных войсковых колонн и подразделений. Многие из этих выдающихся личностей сидели на лошадях неподвижно, с биноклями в руках и внимательно обозревали окрестности, другие же, выполняя различные распоряжения, не спеша скакали взад и вперед. Чуть подальше группировались санитары с носилками, санитарные повозки, фургоны с воинским снаряжением и, конечно, денщики офицеров. А еще дальше, по направлению к тылу, на протяжении многих миль, вдоль всех дорог находилось огромное множество людей, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях – но по мере своих сил выполняющих пусть не такие славные, но тем не менее весьма важные обязанности по обеспечению фронта всем необходимым.

Боевое расположение армии, ожидающей наступления или готовящейся к нему, представляет собой картину, полную контрастов. Для подразделений, занимающих передовые позиции, характерны точность и аккуратность, напряженное внимание, тишина. Чем дальше к тылу, тем эти отличительные черты становятся все менее и менее заметными и наконец совсем исчезают, уступая место беспорядку, гвалту, шуму и суете. То, что раньше представляло собой нечто однородное, становится разнородным. Куда девалась четкость, на смену выдержке и спокойствию приходит лихорадочная деятельность, неизвестно, на что направленная, вместо гармонии наступает хаос, строгий порядок сменяется суматохой. Смятение охватывает всех и вся. Люди в тылу невольно распускаются.

С того места, где он стоял во главе своей роты, капитан Граффенрейд мог свободно наблюдать за местоположением противника. Перед ним на добрых полмили расстилалась равнина, затем начинался небольшой подъем, покрытый редким леском. И ни одной живой души кругом. Трудно представить себе, думал он, картину более мирную, чем этот прелестный пейзаж с его полосками коричневатых полей, над которыми уже дрожало марево утреннего зноя. И в лесу и в полях стояла полная тишина. Даже лая собаки, даже пения петуха не долетало со стороны прятавшегося за деревьями деревенского домика, который стоял на вершине холма.

И тем не менее все, кто находились здесь, знали, что они стоят лицом к лицу со смертью.

Капитан Граффенрейд еще ни разу в жизни не видел вооруженного врага, хотя война, в которой его полк принял участие одним из первых, длилась уже два года. У него было редкое преимущество перед другими: он имел военное образование, и, когда его товарищи отправились на фронт, капитан был оставлен на административной службе в столице своего штата, где, как полагали, он мог быть более полезен. Он попытался протестовать против этого, как это сделал бы плохой солдат, но в конце концов подчинился, как подобало солдату хорошему.

Он был хорошо знаком с губернатором штата, был тесно связан с ним по службе и пользовался его доверием и расположением. Тем не менее он категорически возражал против присвоения ему более высоких чинов, в результате чего младшие офицеры то и дело обгоняли его по служебной лестнице.

Смерть была частой гостьей в его полку, поэтому вакансии среди командного состава были нередки. Но, руководствуясь рыцарским чувством, он считал, что воинские почести должны принадлежать по праву тем, кто на себе испытывает все тяготы и невзгоды войны, поэтому он упорно сохранял свой скромный чин и всячески помогал другим делать карьеру.

Его высокая принципиальность была наконец оценена по заслугам, он был освобожден от ненавистных ему обязанностей и послан на фронт. И вот теперь, еще не обстрелянный, не обожженный огнем войны, он находился на самой передовой позиции, среди закаленных в боях ветеранов. Они знали о нем лишь понаслышке и были отнюдь не высокого мнения.

Никто, даже те офицеры-однополчане, в чью пользу он отказывался от своих прав, не понимали, что во всех своих поступках он руководствовался чувством долга. Им некогда было разбираться в его побуждениях, поэтому они решили, что капитан Граффенрейд просто-напросто увиливал от исполнения своего долга, пока наконец его силой не отправили на фронт. Слишком гордый, чтобы объяснить, однако не настолько толстокожий, чтобы не чувствовать этой несправедливости по отношению к себе, все, что он мог, – это терпеть и надеяться на будущее.

Во всей федеральной армии не было в то летнее утро человека, который с таким радостным подъемом ожидал бы начало боя, как Андерсон Граффенрейд. Он был настроен бодро, бурная энергия переполняла его. Взволнованный, возбужденный, он с трудом мог дождаться момента, когда неприятель наконец ринется в атаку. Он не боялся. Для него это был долгожданный случай – возможность доказать, что он настоящий солдат и герой. Каков бы ни был исход боя, он отстоит свое право на уважение солдат, право на дружеское отношение однополчан, на внимательное отношение начальства. Сердце его чуть не выпрыгнуло из груди, когда послышался бодрый звук горна, играющего сигнал к сбору. Легкой походкой, почти не чувствуя земли под ногами, он выбежал вперед и стал во главе роты. С каким восторгом наблюдал он, как в соответствии с продуманной ранее тактикой его полк занимал линию передовой обороны.

И если при этом ему вспомнились темные глаза, которые, наверное, затуманятся, читая в газетах отчеты о событиях этого дня, то кто может осудить его за это? Кто укорит его в слабости, в недостатке боевого пыла? Вдруг из леска, который находился впереди, поднялся высокий столб белого дыма. Впечатление было такое, будто он возник в ветвях деревьев, на самом деле это был выстрел из орудия, спрятанного на вершине холма. В следующий момент раздался сильный раскатистый взрыв, сопровождаемый отвратительным и страшным звуком, который, вырвался вперед, с невероятной быстротой преодолел лежащее между полком и лесом пространство, за какую-то долю секунды из еле слышного посвистывания превратился в страшный рев, так что человеческое воображение просто не в силах было воспринять все стадии этой ужасной, неумолимо нарастающей

прогрессии. Ряды солдат заметно дрогнули. Неожиданный взрыв заставил всех испуганно зашевелиться.

Капитан Граффенрейд инстинктивно пригнулся и вскинул обе руки, ладонями от себя, словно защищая голову. В то же время он услышал громкий звук разрыва и увидел на пригорке позади линии фронта густой столб дыма, смешанного с пылью. Снаряд пролетел в ста футах слева от него! Ему послышался, – а может быть, это было просто его воображение, – негромкий издевательский смех. Повернувшись в ту сторону, он встретился глазами с лейтенантом, своим заместителем, который смотрел на него с нескрываемой насмешкой. Он провел взглядом по лицам солдат, стоявших в шеренге за ним. Солдаты смеялись, – неужели над ним? Кровь хлынула ему в голову, бледное за минуту перед этим лицо запылало. Стыд и обида больно жгли ему щеки.

Вражеский выстрел остался без ответа: офицер, командующий этим участком фронта, по-видимому, счел нежелательным ввязываться в артиллерийскую дуэль. И капитан Граффенрейд был в душе благодарен ему за выдержку. Он никогда не представлял себе, что полет снаряда произведет на него такое потрясающее впечатление.

Его представление о войне успело измениться, и он самым радикальным образом сознавал, что смятение, овладевшее им, очевидно всем. Его непрестанно кидало в жар. В горле пересохло, он чувствовал, что если бы ему пришлось сейчас дать команду, то ее никто бы не расслышал или не понял. Рука, которой он сжимал эфес своей сабли, дрожала, другой он в смятении шарил по мундиру. Он с трудом заставлял себя стоять на месте, и ему казалось, что солдаты видят это. Неужели это – страх? Он сам боялся признаться себе в том, что это так.

И вдруг откуда-то справа ветер донес до них негромкий прерывистый гул, напоминавший отдаленный рев океана в бурю, или постукивание поезда по рельсам, или шум ветра в сосновом лесу, – звуки столь сходные, что нужно хорошенько подумать, прежде чем отличить их один от другого.

Все взгляды устремились в направлении, откуда шел этот шум. Туда же повернулись и бинокли офицеров, сидевших верхом. К гулу присоединилось неравномерное постукивание. Сначала капитан Греффенрейд думал, что это кровь стучит у него в ушах. Затем решил, что издалека доносится рокот барабанов.

– Каша заварилась на правом фланге, – сказал один из офицеров.

И тут капитан Граффенрейд понял, что непонятные звуки эти были не чем иным, как ружейным и артиллерийским огнем.

Он понимающе кивнул и попытался улыбнуться. Однако его улыбка осталась без ответа.

Вскоре голубоватые дымки выстрелов стали вспыхивать по всей опушке. Затрещали выстрелы. Пули летели со свистом, который неожиданно обрывался, глухо ударившись обо что-то рядом. Вдруг солдат, стоящий рядом с капитаном Граффенрейдом, уронил ружье. Колени его подогнулись, и он неловко повалился вперед, лицом вниз. Кто-то громко закричал: «Ложись!» Сейчас убитый солдат совсем не отличался от живых. Можно было подумать, что несколько ружейных выстрелов убило, по крайней мере, десять тысяч человек. На ногах остались только командиры. Единственная уступка, сделанная ими, заключалась в том, что они спешились и отправили своих лошадей под прикрытие в тыл.

Капитан Граффенрейд лежал рядом с убитым, из прострелянной груди солдата по земле тонкой струйкой бежала кровь, он распространял несильный тошнотворный запах, от которого мутило и кружилась голова. Солдат упал плашмя, и при падении лицо его словно расплющилось. Сейчас оно пожелтело, стало отталкивающим. И ничего в этой смерти не было общего с воинской славой, ничто не смягчало ужаса случившегося. Капитан Граффенрейд не мог отвернуться от убитого, так как в этом случае он стал бы спиной к своей роте.

Он посмотрел на лес, который снова стал безмолвным. Попытался представить себе, что там сейчас происходит, – войска перестраиваются, готовясь к атаке, орудия подтаскиваются к опушке. Ему казалось, что он видит среди кустов их отвратительные черные жерла, готовые изрыгнуть из себя рой снарядов, – вроде того, который поверг его в такое смятение. От напряжения, с которым он смотрел вперед, у него заболели глаза, – казалось, будто какая-то пелена опустилась перед ним, он уже не различал лес по ту сторону поля. Но он продолжал вглядываться в даль, иначе ему бы приходилось смотреть на лежащего рядом мертвеца. Воинский азарт не горел больше в душе этого воина, вынужденное бездействие заставило его заняться самоанализом. Теперь ему уже хотелось не отличиться в бою, не покрыть себя славой, а главным

образом разобраться в своих чувствах. Результат был неожиданным и весьма печальным. Он закрыл лицо руками и громко застонал. С правого фланга все отчетливее доносился яростный шум битвы. Сейчас в нем явственно слышались грохот, лязганье, скрежет. Казалось, эти звуки шли издалека, словно, прежде чем достичь линии фронта, они описывали полукруг; по-видимому, на левом фланге противника потеснили; начальство выжидало лишь момента, чтобы бросить войска на прорыв вражеских линий там, где его передовая выдавалась вперед. Загадочная тишина впереди становилась зловещей. Все чувствовали, что она не сулит ничего доброго нападающей стороне.

Позади солдат, залегших вдоль линии фронта, раздались звуки лошадиного галопа; все головы повернулись в том направлении. Это скакали штабные офицеры, направляясь к командирам бригад и полков, которые тем временем успели спешиться. В следующий момент там и здесь послышались голоса, произносящие одну и ту же команду: «Батальон, готовьсь!»

Солдаты повскакали с земли и быстро строились, повинуясь команде. Они ждали слова «вперед». Ждали с бьющимися сердцами и стиснутыми челюстями, готовые по первому слову командира рвануться вперед навстречу железу и свинцу, навстречу своей гибели. Однако команды все не было. Буря не разразилась. Ожидание становилось мучительным, оно сводило с ума, лишало последних остатков мужества, – так должен чувствовать себя человек под ножом гильотины.

Капитан Граффенрейд стал во главе своей роты, у его ног валялся мертвый солдат. Справа от него гремел бой – он слышал трескотню выстрелов, гул орудийных залпов, нестройные крики невидимых участников битвы. Он видел клубы дыма, поднимавшиеся над дальним лесом. Он отметил зловещее молчание, царившее в ближнем лесу. Эти контрасты страшно подействовали на него. Он больше не владел своими нервами. Его кидало то в жар, то в холод. Он тяжело дышал, как собака в знойный день, а затем дыхание его останавливалось и он терял сознание.

И вдруг он совершенно успокоился. Взгляд его упал на обнаженную саблю, которую он держал острием вниз. Сверху лезвие ее казалось короче, чем на самом деле, и было похоже на

меч римского воина. Что-то было в этом сходстве зловещее, оно внушало мысль о висящем над людьми роке, о героизме...

Глазам сержанта, стоявшего в шеренге сразу за капитаном Граффенрейдом, представилось странное зрелище. Сначала внимание его привлекло непонятное движение капитана, «который выкинул руки вперед, затем энергично развел локти в стороны, словно гребец в лодке, и тут он увидел, как между лопатками капитана высунулся блестящий металлический кончик, который затем выдвинулся приблизительно на фут и оказался лезвием.

Оно было окрашено красным, острие его с такой быстротой приблизилось к груди сержанта, что тот в испуге отскочил назад. В этот момент капитан Граффенрейд тяжело повалился вперед, прямо на мертвеца, и испустил дух.

Неделю спустя генерал-майор, командующий левофланговым корпусом федеральной армии, представил следующий официальный рапорт: «Сэр, имею честь доложить, что во время боя, имевшего место 19-го числа сего месяца, в ходе которого противник счел необходимым оттянуть силы, расположенные против моего корпуса, с целью укрепления своего левого фланга, мои войска почти не принимали участия в боевых действиях. Мои потери убитыми – один офицер, один солдат».

Пересмешник

Время действия, – теплый воскресный день ранней осени 1861 года. Место действия – лесные дебри в горной области юго-западной Виргинии. Рядовой Грейрок, солдат федеральной армии, удобно расположился под громадной сосной. Он сидит на земле, упираясь спиной о ствол; ноги вытянуты вперед, ружье лежит на коленях, руки, крепко стиснутые, покоятся на дуле винтовки. Затылком он прислонился к дереву, отчего фуражка сдвинулась на лоб, почти прикрыв глаза; при первом взгляде на него можно подумать, что он спит.

Но рядовой Грейрок не спал; уснув, он рисковал бы нанести серьезный ущерб интересам Соединенных Штатов, так как находился довольно далеко от своих позиций и легко мог попасть в плен или погибнуть от руки врага. К тому же ему сейчас было совсем не до сна. Причиной его душевного смятения послужило следующее обстоятельство: прошлую ночь он находился в дозоре и был поставлен часовым на этом самом месте. Ночь была ясная, хотя и безлунная, но в мрачном лесу тьма казалась особенно непроглядной. Дистанция между постом Грейрока и постами справа и слева была очень велика, так как пикеты были выдвинуты далеко вперед, на излишне большое расстояние от лагеря, и назначенному в дозор подразделению трудно было охватить весь участок. Война еще только началась, и в походных лагерях распространено было ошибочное мнение, будто ночью, во время сна, лучше выставить редкую цепь дозора к самым неприятельским позициям, чем окружить лагерь вблизи более плотной цепью. И действительно, необходимо было как можно раньше предупреждать войска о появлении противника, ибо в те времена в лагерях имели привычку раздеваться на ночь – что было уж совсем не по-солдатски. Когда в памятное утро 6 апреля, в битве при Шейло, солдаты генерала Гранта напоролись на штыки конфедератов, они были совершенно раздеты, как самые обыкновенные штатские. Однако следует признать, что произошло это отнюдь не по вине пикетов. Упущение было в другом: пикетов не существовало вовсе. Впрочем, это, пожалуй, неуместное отклонение от темы. Я и не помышляю о том, чтобы вызвать интерес читателя к судьбе целой армии. Речь пойдет о судьбе рядового Грейрока.

После того как его оставили в субботнюю ночь на этом безлюдном посту, Грейрок в течение двух часов стоял неподвижно, прислонившись к стволу большого дерева, и напряженно вглядывался в темноту, стремясь распознать знакомые предметы, – ведь днем он стоял в дозоре на этом же самом месте. Но сейчас все выглядело по-иному; он не различал подробностей, а видел лишь группы предметов, очертания которых он прежде, отвлеченный множеством деталей, не заметил и которые теперь не узнавал. Ему казалось, будто раньше их вовсе не было здесь. Кроме того, пейзаж, сплошь состоящий из деревьев и кустарников, всегда лишен четких очертаний; он сливается в нечто неопределенное, и трудно бывает сосредоточить на чем-нибудь внимание. Прибавьте к этому мрак безлунной ночи, и вы поймете, что одного природного ума и городского воспитания окажется недостаточно, чтобы сохранить ориентировку в подобных условиях. Вот так-то и случилось, что рядовой Грейрок, напряженно вглядывавшийся в темноту и неблагоразумно покинувший свой пост, чтобы обследовать едва различимую окрестность (для этого он тихонько обошел вокруг дерева), не смог затем сориентироваться и тем самым стал почти бесполезен в качестве часового.

Он заблудился, находясь на посту! Он не знал, с какой стороны ожидать нападения неприятеля и в какой стороне находится спящий лагерь, за безопасность которого он отвечал головой. Осознав всю нелепость своего положения и поняв, что его собственная жизнь также находится под угрозой, рядовой Грейрок пришел в сильнейшее волнение. Он не успел подавить тревогу, так как именно в тот момент, когда он представил себе всю затруднительность своего положения, послышался шорох листьев и хруст сломанной ветки. С замирающим сердцем обернулся он на эти звуки и увидел во мраке неясные очертания человеческой фигуры,

– Стой! Кто идет? – грозно, как и повелевал долг, окликнул человека рядовой Грейрок, сопровождая свой приказ резким щелканьем затвора.

Ответа не было; наступило минутное замешательство, а затем, если ответ и последовал, он был заглушен выстрелом часового. В безмолвии ночного леса звук выстрела прозвучал оглушающе; не успел он замереть, как на него откликнулись дозорные справа и слева, сочувственно присоединившись к

пальбе. В каждом из этих часовых все еще сидел штатский, и все эти два часа они видели в своем воображении полчища врагов, населяя ими окружающий лес, а выстрел Грейрока превратил это иллюзорное наступление в ощутимую реальность. Выстрелив, все дозорные, едва дыша от страха, поспешно отошли к лагерю – все, кроме Грейрока, который не знал, в каком направлении ему отступать.

Когда солдаты в проснувшемся лагере, так и не дождавшись неприятеля, снова разделись и улеглись спать, а линия пикетов была опять предусмотрительно выставлена, обнаружилось, что рядовой Грейрок все это время непоколебимо оставался на своем посту. За это он удостоился похвалы своего командира, как единственный солдат этого преданного воинства, обладающий столь редким мужеством. Тем временем рядовой Грейрок был занят тщательными, но безуспешными поисками бренных останков незваного гостя, которого он, как подсказывало ему чутье меткого стрелка, несомненно настиг своей пулей. Грейрок был одним из тех прирожденных стрелков, которые стреляют почти вслепую, интуитивно чувствуя цель, и бывают равно опасны как днем, так и ночью. Добрую половину своего двадцатичетырехлетнего существования он был грозой всех тиров в трех городах. Не имея возможности предъявить подстреленную дичь, Грейрок благоразумно умолчал о недавнем происшествии и с радостью увидел, что его товарищи и командир вполне естественно предполагают, будто он не заметил ничего угрожающего, раз остался на месте. Как бы там ни было, одобрение начальства он заслужил уже тем, что не покинул своего поста.

Но все-таки рядовой Грейрок отнюдь не был удовлетворен своим ночным приключением и на следующий день под каким-то удобным предлогом попросил пропуск для выхода из лагеря, на что генерал, учитывая его доблестное поведение минувшей ночью, немедленно дал согласие. Грейрок отправился на то место, где он накануне так отличился, и, сказав стоящему там часовому, будто ищет потерянную вещь, – что, в сущности, было истинной правдой, возобновил поиски человека, которого он, по его предположениям, застрелил. Если же тот был только ранен, то Грейрок надеялся отыскать его по кровавому следу.

Однако и при свете дня он преуспел в этом не больше, чем ночью. Осмотрев довольно обширное пространство и бесстрашно проникнув в глубь расположения войск

конфедератов, Грейрок отказался от поисков и, несколько усталый, глубоко разочарованный, уселся под большой сосной, там, где мы его и застали в начале повествования.

Не следует думать, что огорчение Грейрока было сродни разочарованию кровожадного убийцы, лишенного возможности полюбоваться видом своей жертвы. В больших ясных глазах этого юноши, в его тонко очерченных губах и высоком лбе читалась совсем иная повесть. И действительно, характер его представлял собою на редкость счастливое сочетание мужества и чувствительности, отваги и честности.

«Мне досадно, – говорил он себе, сидя на самом дне золотистой дымки, которая, точно призрачное море, заливала лес. – Досадно, что я не нашел человека, убитого моей рукой! Неужто я и вправду хотел бы лишить человека жизни, исполняя свой воинский долг, хотя мог и без этого выполнить его? Чего же мне надо? Ведь если и была какая-нибудь опасность, мой выстрел предотвратил ее, а именно это от меня и требовалось. Нет, право же, я рад, что не погубил без нужды человеческую жизнь. Но я оказался в ложном положении. Я удостоился похвалы командиров и зависти товарищей; весь лагерь только и говорит о моей храбрости. Это несправедливо. Я, конечно, не трус, но теперь меня хвалят за поступок, которого я не совершал или совершил не так, как это себе представляют. Все думают, будто я мужественно остался на посту и не стрелял: между тем именно я открыл стрельбу и не отступил в общей панике только потому, что не знал, в какую сторону бежать. Как же мне теперь быть? Объяснить, что я увидел врага и выстрелил? По ведь то же самое говорит каждый из дозорных, и никто этому не верит. Зачем же говорить правду, ставящую под сомнение мое мужество, если она все равно произведет впечатление лжи? Фу, до чего неприглядная получается история. Нет, я все-таки хотел бы отыскать мою жертву».

И, продолжая думать об этом своем желании, рядовой Грейрок, разморенный истомой летнего дня, убаюканный тихим гудением мошкары в благоухающих ветвях, уснул тут же под деревом, позабыв об интересах Соединенных Штатов и предоставив врагам полную возможность захватить себя в плен.

И ему приснился сон.

Он видел себя ребенком, живущим в далекой прекрасной стране на берегу большой реки, по которой величественно проплывали огромные пароходы, вздымая кверху черные клубы

дыма, возвещавшие о появлении судов задолго до того, как они огибали излучину, и отмечавшие их путь после того, как они давно уже скрылись из виду. И всякий раз, когда мальчик, стоя на берегу реки, любовался пароходами, бок о бок с ним находился тот, кому он отдал сердце и душу, – его брат. Они были близнецами. Вместе бродили они по берегу реки, вместе обходили все поля, лежащие чуть подальше от побережья, вместе собирали пряную мяту и пахучие ветки сассафраса на высоких холмах, за которыми простиралось Таинственное Королевство и с которых, если глядеть на юг, на другой берег, можно было увидеть кусочек Заколдованной Страны. Единственные дети матери-вдовы, блуждали они, взявшись за руки, по залитым светом тропинкам, по мирным долинам, и каждый день новое солнце озаряло перед ними новый мир. И через все эти счастливые дни проходила одна нескончаемая мелодия – нежная, звонкая трель пересмешника, жившего в клетке над дверью домика. Она наполняла собою минуты раздумий в этом сне, звуча точно музыкальное благословение. Веселая птичка постоянно пела; бесконечные вариации звуков, казалось, вылетали из ее горла с каждым биением сердца, без всяких усилий, журча и переливаясь, точно воды бурного ручейка. Ясная, звучная мелодия была поистине душою этой мирной картины, объяснением сокровенного смысла всех тайн жизни и любви.

Но наступило время, когда дни в сновидении заволокли тучи печали, пролившиеся потоками слез. Добрая мать умерла, домик на лужайке, у берега большой реки, развалился, а братья были отданы на воспитание двум родственникам. Уильям (которому снился этот сон) отправился в многолюдный город в Таинственном Королевстве, а Джон переправился на другой берег реки, в Заколдованную Страну, и был увезен в отдаленную местность, где, по слухам, жили недобрые люди со странными обычаями. Именно ему при разделе имущества умершей матери досталось единственное семейное сокровище – пересмешник. Детей можно было поделить, а птицу – нет, и вот ее увезли в незнакомый край, и она навсегда исчезла из жизни Уильяма. Однако и потом, в годы одиночества, песня пересмешника слышалась ему во всех его снах и, казалось, всегда звучала в ушах и в сердце.

Родственники, усыновившие мальчиков, были врагами и не поддерживали между собою никаких отношений. Некоторое

время дети обменивались письмами, полными мальчишеской бравады, хвастливых рассказов о новых ярких впечатлениях и преувеличенно красочных описаний их новой, богатой событиями жизни и нового покоренного ими мира. Но постепенно переписка становилась все более редкой, а с отъездом Уильяма в другой, столичный город и вовсе прекратилась. Но и потом в ушах его, не переставая, звучала песня пересмешника, а когда она оборвалась, Грейрок открыл глаза, увидел лесную поляну и понял, что проснулся.

Багряное солнце низко опустилось на западе, косые лучи его отбрасывали от каждого ствола гигантской сосны столб тени, уходящей сквозь золотистую дымку далеко на восток, где свет и тень сливались в неразличимом сумраке.

Рядовой Грейрок вскочил, осторожно огляделся вокруг, вскинул на плечо винтовку и зашагал к лагерю. Он проделал уже около полумили и проходил мимо густого лаврового кустарника, когда из зарослей выпорхнула птица и, усевшись на ветке высокого дерева, залилась ликующей, нескончаемой песней, какую лишь она одна из всех божьих созданий способна пропеть во славу своего творца. Ничего особенного в этом не было, птичка просто открывала клюв и распевала. Однако человек остановился, точно пораженный громом. Он уронил винтовку, взглянул вверх на птицу, закрыл лицо руками и зарыдал, как ребенок! В этот момент он и вправду мыслями и душою перенесся в дни своего детства на берег большой реки, за которой простиралась Заколдованная Страна. Затем усилием воли он взял себя в руки, поднял винтовку и, вслух обзывая себя идиотом, двинулся дальше. Проходя мимо просеки, углублявшейся в самую гущу зарослей, он заглянул туда. Там, на земле, распластав руки, запрокинув голову и отвернув в сторону бледное лицо, лежал его двойник! На груди его, на серой солдатской куртке, темнело единственное пятнышко крови. Это был труп Джона Грейрока, умершего от огнестрельной раны. Он еще не успел остыть.

Стрелок нашел свою жертву!

Когда злополучный солдат опустился на колени перед этим апофеозом междоусобной войны, звонкоголосая птица высоко на ветке умолкла и, освещенная буйным заревом заката, бесшумно улетела в величественную лесную даль.

В этот вечер на перекличке в лагере федеральных войск никто не отозвался на имя Уильяма Грейрока.

И никто никогда больше на него не отзывался.

Наследство Гилсона

Дела Гилсона были плохи. Так гласило краткое, холодное, хоть и не лишенное некоторой доли сочувствия, заключение маммон-хиллского «света» – вердикт респектабельной части общества. Что касается его противоположной, или, лучше сказать, противостоящей части, представители которой с налитыми кровью глазами беспокойно толкутся у стойки в «мышеловке» Молль Гэрни, в то время как столпы респектабельности пьют бренди с сахаром в роскошном салуне мистера Джо Бентли, – там, в общем, держались того же мнения, хотя высказывали его несколько более энергично, с помощью образных выражений, которые здесь нет надобности приводить. Одним словом, в вопросе о Гилсоне Маммонхилл был единодушен. И следует признать, что с мирской точки зрения дела мистера Гилсона обстояли действительно не совсем благополучно. В то утро, о котором идет речь, он был доставлен мистером Брентшо в город и публично обвинен в конокрадстве; и шериф уже прилаживал к Дереву новую веревку из лучшей манильской пеньки, а плотник Пит, в перерывах между очередными возлияниями, прилежно трудился над изготовлением соснового ящика приблизительно по мерке мистера Гилсона. Поскольку общество уже изрекло свой приговор, Гилсона теперь отделяла от вечности лишь официальная церемония суда.

Вот немногие краткие сведения о подсудимом. Его последним местожительством был Нью-Джерузалем, на северном рукаве Каменной речки; оттуда он и прибыл на вновь открытый прииск Маммон-хилл, совсем незадолго до начала «золотой лихорадки», вследствие которой местность, поименованная выше, почти совершенно обезлюдела. Открытие новых россыпей пришлось весьма кстати для мистера Гилсона, ибо как раз около этого времени нью-джерузалемский комитет общественного порядка дал ему понять, что ради улучшения – и даже сохранения – своих жизненных перспектив ему лучше переселиться в другое место; а в списке мест, куда он мог бы переселиться без риска для себя, ни один из старых приисков не значился, поэтому вполне естественно, что он избрал Маммон-хилл. Вышло так, что в скором времени за ним последовали все

его судьи, и это принуждало его к некоторой осмотрительности; но доверия общества он так и не снискал, поскольку никто и никогда не слышал, чтобы он хоть день честно трудился на каком-либо поприще, дозволенном строгим местным кодексом нравственности, за исключением игры в покер. Ходили даже слухи, будто он непосредственно причастен к недавним дерзким кражам, произведенным с помощью щетки и таза в золотопромывных желобах.

Среди тех, в ком подозрение созрело в твердую уверенность, особенно выделялся мистер Брентшо. При всяком удобном и неудобном случае мистер Брентшо изъявлял свою готовность доказать связь мистера Гилсона с этими неблаговидными ночными проделками, а также открыть солнечным лучам прямой путь сквозь тело каждого, кто сочтет уместным высказать иное мнение, – от чего никто так заботливо не воздерживался в его присутствии, как миролюбивый джентльмен, которого это ближе всех касалось. Но каково бы ни было истинное положение вещей, достоверно одно: что Гилсону случилось в один вечер проиграть в «фараон» у Джо Бентли больше «чистого песочку», нежели он, по свидетельству местных историографов, честно заработал игрой в покер за все время существования поселка. И в конце концов, мистер Бентли – быть может, из опасения потерять более выгодное покровительство мистера Брентшо – категорически отказался допускать Гилсона к игре, со всей прямотой и решительностью дав ему понять, что привилегия проигрывать деньги в «этом учреждении» является благом, зависящим от, логически вытекающим из и основывающимся на общепризнанной коммерческой честности и безупречной общественной репутации.

Тут Маммон-хиллу и показалось своевременным вмешаться в судьбу личности, которую его наиболее уважаемый гражданин почел своим долгом заклеймить ценой немалого личного убытка. В частности, выходцы из Нью-Джерузалема понемногу утеряли прежнюю терпимость, порожденную юмористическим отношением к промаху, который они совершили, изгнав нежелательного соседа оттуда, откуда вскоре сами уехали, туда, куда вскоре сами переселились. В конце концов, Маммон-хилл пришел к единодушному мнению. Лишних слов не было сказано, но мысль о том, что Гилсон должен быть повешен, носилась в воздухе. Однако в этот столь критический для него

момент он стал являть признаки некоторой перемены в образе жизни, если не мыслей. Возможно, причина была в том, что, лишившись доступа в «учреждение» Джо Бентли, он несколько утратил интерес к золотому песку. Так или иначе, желобов никто больше не тревожил. Но избыточная энергия подобной натуры нелегко поддается обузданию, и Гилсон, пусть лишь в силу привычки, все еще держался извилистого пути, по которому прежде следовал к выгоде мистера Бентли. После нескольких пробных и почти бесплодных попыток в области разбоя на большой дороге – если кто-нибудь отважится столь грубо назвать невинную склонность пошаливать на перекрестках – он предпринял две или три скромных вылазки в сферу конокрадства, и как раз во время одной многообещающей операции подобного рода, когда, казалось, попутный ветер нес его к желанным берегам, он потерпел крушение. Ибо однажды, мглистой лунной ночью, мистер Брентшо, проезжая верхом по Маммон-хиллской дороге, поравнялся с человеком, по всей видимости спешившим покинуть пределы округи, положил руку на поводья, соединявшие запястье мистера Гилсона с мундштуком гнедой кобылы мистера Харпера, фамильярно потрепал его по щеке стволом крупнокалиберного револьвера и спросил, не окажет ли он ему честь проехаться вместе с ним в обратном направлении.

Да, плохи были дела Гилсона.

Наутро после ареста он предстал перед судом, был признан виновным и приговорен к смерти. Для окончания рассказа о его земном странствии остается только повесить его, чтобы затем более подробно заняться его духовной, которую он с великим трудом составил в тюрьме и по которой, руководствуясь, очевидно, какими-то смутными и неполными представлениями о праве поимщика, он завещал все свое имущество своему «законому душеприкащику», мистеру Брентшо. Однако завещание вступало в силу лишь при том условии, если наследник снимет тело завещателя с Дерева и «упрячет в ящик».

Итак, мистера Гилсона я было хотел сказать «кокнули», но боюсь, что это беспристрастное изложение фактов и так уже несколько перегружено коллоквиальными выражениями; к тому же способ, которым воля закона была приведена в исполнение, более точно выражается термином, употребленным судьей при оглашении приговора: мистера Гилсона «вздернули».

В надлежащее время мистер Брентшо, быть может несколько тронутый бесхитростной лестью завещания, явился к Дереву, чтобы сорвать вызревший на нем плод. Когда тело было снято, в жилетном кармане нашли должным образом засвидетельствованную приписку к упомянутому уже завещанию. Сущность оговорки, в ней заключавшейся, являлась достаточным объяснением причин, побудивших завещателя скрыть ее подобным образом; ибо, если бы мистеру Брентшо прежде были известны условия, на которых ему предстояло сделаться наследником Гилсона, он, без сомнения, отклонил бы связанную с этим ответственность. Вкратце содержание приписки сводилось к следующему.

Поскольку некоторые лица в разное время и при различных обстоятельствах утверждали, что завещатель ограбил их золотопромывные желоба, то если в течение пяти лет, считая со дня составления настоящего документа, кто-либо докажет основательность своих претензий перед законным судом, этот последний имеет получить в качестве возмещения убытков все движимое и недвижимое имущество, принадлежавшее завещателю в момент смерти, за вычетом судебных издержек и известного вознаграждения душеприказчику, Генри Клэю Брентшо; причем в случае, если бы таких лиц оказалось два или более, имущество надлежит разделить между ними поровну. В случае же если бы никому не удалось подобным образом доказать виновность завещателя, все состояние, за вычетом вышеупомянутых судебных издержек, поступает в личное распоряжение и полную собственность названного Генри Клэя Брентшо, как то предусмотрено духовной.

Синтаксис этого примечательного документа оставлял, пожалуй, место для критики, однако смысл его был достаточно ясен. Орфография не следовала какой-либо общепринятой системе, но, будучи в основном фонетической, не допускала двух толкований. Как выразился судья, утверждавший завещание, понадобилось бы пять тузов на руках, чтоб взять такой кон. Мистер Брентшо добродушно улыбнулся и, с забавной кичливостью выполнив печальный ритуал, дал привести себя с соблюдением всех формальностей к присяге, как душеприказчик и условный наследник, согласно закону, наспех принятому (по настоянию депутата от Маммон-хиллского округа) неким развеселым законодательным органом; каковой закон, как обнаружилось позднее, способствовал также

созданию двух или трех прибыльных и необременительных должностей и заодно утвердил ассигнование солидной суммы из общественных средств на строительство одного железнодорожного моста, который, вероятно, с большей пользой мог быть сооружен на линии какой-нибудь действительно существующей железной дороги.

Разумеется, мистер Брентшо не рассчитывал получить какие-либо выгоды от этого завещания или впутаться в какие-либо тяжбы в связи с его несколько необычной оговоркой. Гилсон, хоть ему частенько подваливала удача, был человек такого рода, что податные чиновники и инспекторы рады были, если не приходилось за него доплачивать. Но при первом же поверхностном осмотре среди бумаг покойного обнаружились документы, удостоверяющие его право собственности на солидную недвижимость в Восточных Штатах, и чековые книжки на баснословные суммы, помещенные в нескольких кредитных учреждениях, менее щепетильных, нежели учреждение мистера Джо Бентли.

Ошеломляющая новость немедленно распространилась, повергнув Маммон-хилл в состояние лихорадочного возбуждения. Маммон-хиллский «Патриот», редактор которого был одним из вдохновителей процедуры, закончившейся отбытием Гилсона из Нью-Джерузалема, поместил хвалебный некролог, не преминув привлечь внимание читателей к позорному поведению своего собрата, Сквогэлчского «Вестника», оскорбляющего добродетель низкопоклонной лестью по адресу того, кто при жизни с презрением отталкивал этот гнусный листок от своего порога. Однако это все не смутило охотников предъявить претензии согласно смыслу завещания; и как ни велико было состояние Гилсона, оно показалось ничтожным в сравнении с несметным числом желобов, которым якобы обязано было своим происхождением. Вся округа поднялась как один человек!

Мистер Брентшо оказался на высоте положения. Искусно пустив в ход некие скромные вспомогательные средства воздействия, он спешно воздвиг над останками своего благодетеля роскошный памятник, гордо возвышавшийся над всеми незатейливыми надгробиями кладбища, и предусмотрительно приказал высечь на нем эпитафию собственного сочинения во славу честности, гражданской

добродетели и тому подобных достоинств того, кто навеки почил под ним, «пав жертвой племени ехидны Клеветы».

Далее он привлек самые выдающиеся из местных юридических талантов к защите памяти своего покойного друга, и в течение пяти долгих лет все суды штата были заняты разбором тяжб, порожденных завещанием Гилсона. Тонкому судейскому пронырству мистер Брентшо противопоставил судейское пронырство еще более тонкое: домогаясь оплачиваемых услуг, он предлагал цены, которые нарушили равновесие рынка; когда судьи являлись к нему в дом, гостеприимство, оказываемое там людям и животным, превосходило все, когда-либо виденное в штате; лжесвидетельские показания он опрокидывал показаниями более ловких лжесвидетелей.

Не в одном лишь храме слепой богини сосредоточивалась борьба – она проникала в печать, в гостиные, на кафедры проповедников, она кипела на рынке, на бирже, в школе, в золотоносных ущельях и на перекрестках улиц. И в последний достопамятный день, когда истек законный срок всех претензий по завещанию Гилсона, солнце зашло над краем, где нравственное чувство умерло, общественная совесть притупилась, разум был принижен, ослаблен и затуманен. Но мистер Брентшо торжествовал победу.

Случилось так, что в эту ночь затопило водой часть кладбища, в углу которого покоились благородные останки Милтона Гилсона, эсквайра. Вздувшийся от непрестанных ливней Кошачий Ручей разлился по берегам сердитым потоком, вырыл безобразные ямы всюду, где когда-либо рыхлили землю, и, словно устыдившись совершенного святотатства, отступил, оставив на виду многое, что до сих пор было благочестиво сокрыто в недрах. Даже знаменитый памятник Гилсону, краса и гордость Маммон-хилла, более не высился незыблемым укором «племени ехидны» ; под напором воды он рухнул на землю; поток-осквернитель обнажил убогий полусгнивший сосновый гроб – жалкую противоположность пышного монолита, который подобно гигантскому восклицательному знаку подчеркивал раскрывшуюся истину.

В эту обитель скорби, влекомый какою-то смутной силой, которую он не пытался ни понять, ни преодолеть, явился мистер Брентшо. Другим человеком стал мистер Брентшо за это время. Пять лет трудов, тревог и усилий пронизали сединой его черные

волосы, согнули прямой стан, заострили черты и сделали походку семенящей и неверной. Не менее пагубно сказались эти годы жестокой борьбы на сердце его и рассудке: беспечное добродушие, побудившее его в свое время принять бремя, возложенное на него покойником, уступило место постоянной и глубокой меланхолии. Ясность и острота ума сменились старческой расслабленностью второго детства. Широкий кругозор сузился до пределов одной идеи, и на месте былого невозмутимого скептицизма в его душе теперь билась и трепетала, точно летучая мышь, навязчивая вера в сверхъестественное, зловещая тень надвигающегося безумия. Нетвердое во всем прочем, его сознание с болезненным упорством цеплялось за одну мысль. То была непоколебимая уверенность в полной безгрешности покойного Гилсона. Он так часто присягал в этом перед судом и клялся в личной беседе, столько раз, торжествуя, устанавливал это дорого доставшимися ему свидетельскими показаниями (в этот самый день последний доллар гилсоновского наследства пошел в уплату мистеру Джо Бентли, последнему защитнику гилсоновской чести), что, в конце концов, это стало для него чем-то вроде религиозного догмата. Это была главная, основная, незыблемая жизненная истина, единственная беспорочная правда в мире лжи.

В тот час когда он задумчиво сидел над поверженным памятником, пытаясь при неверном свете луны разобрать слова эпитафии, которые пять лет назад сочинял с усмешкой, не уцелевшей в его памяти, глаза его вдруг наполнились слезами раскаяния при мысли о том, что это он сам, его ложное обвинение послужило причиной смерти столь достойного человека; ибо в ходе судебной процедуры мистер Харпер, движимый особыми (ныне забытыми) побуждениями, заявил под присягой, что в известном случае с гнедой кобылой покойный действовал в полном согласии с его, Харпера, желаниями, доверенными покойному под строгим секретом, который тот сохранил ценою собственной жизни. Все то, что мистер Брентшо впоследствии сделал ради доброго имени своего благодетеля, показалось ему вдруг несоизмеримо ничтожным – жалкие попытки, обесцененные своекорыстием.

Так он сидел, терзаясь бесплодным раскаянием, как вдруг на землю перед ним упала легкая тень. Он поднял глаза на луну, висевшую низко над горизонтом, и увидел, что ее словно бы заслоняет какое-то негустое расплывчатое облако; оно, однако,

не стояло на месте, и, когда передвинулось настолько, что луна выглянула из-за его края, мистер Брентшо различил четкие, вполне определенные контуры человеческой фигуры. Видение становилось все ярче и росло на глазах; оно приближалось к нему. Ужас сковал все его чувства, от страшных догадок помутилось в голове, но все же мистер Брентшо сразу заметил – а может быть, вообразил, что заметил, странное сходство этого призрака с бренной оболочкой покойного Милтона Гилсона, каким тот был, когда его сняли с Дерева пять лет тому назад. Сходство было полное – вплоть до выкатившихся остекленевших глаз и темной полосы на шее. На нем не было ни шляпы, ни пальто, как не было и на Гилсоне, когда руки плотника Пита бережно укладывали его в простой дешевый гроб (кто-то давно уже оказал и самому Питу эту добрососедскую услугу). Привидение – если это действительно было привидение – держало в руках какой-то предмет, которого мистер Брентшо не мог разглядеть. Оно все приближалось и наконец остановилось у гроба с останками мистера Гилсона, крышка которого слегка сдвинулась, и у края образовалась щель. Призрак наклонился над щелью и высыпал туда из небольшого таза что-то темное, затем, крадучись, скользнул назад, к низине, в которой расположена была часть кладбища. Там вода, отступив, обнажила множество открытых гробов и теперь журчала меж ними, протяжно вздыхая и всхлипывая. Нагнувшись к одному из них, дух тщательно смел в таз все его содержимое и затем, возвратившись к своему гробу, снова, как и прежде, опорожнил таз над щелью. Эта таинственная процедура повторялась у каждого из вскрытых гробов, причем порой призрак погружал наполненный таз в воду и слегка тряс его, чтобы освободить от примеси земли; но то, что оседало на дне, он неизменно сносил в свой гроб. Короче говоря, нетленный дух Милтона Гилсона промывал прах своих ближних и, как запасливый хозяин, присоединял его к своему собственному.

Быть может, то было лишь создание помутившегося рассудка в объятом жаром мозгу. Быть может, то была мрачная комедия, разыгранная существами, чьи бесчисленные тени толпятся на грани потустороннего мира. Про то знает лишь бог; нам же известно только одно: когда солнце нового дня позолотило разрушенное маммон-хиллское кладбище, самый ласковый из его лучей упал на бледное, неподвижное лицо Генри Брентшо, мертвеца среди мертвецов.

Проситель

Отважно ступая по наметенным с вечера сугробам впереди сестренки, которая пробиралась по следам брата и подзадоривала его веселыми возгласами, маленький краснощекий мальчуган, сын одного из самых видных граждан Грэйвилла, споткнулся о какой-то предмет, лежавший глубоко под снегом. В настоящем повествовании автор ставит себе целью объяснить, каким образом этот предмет очутился там.

Те, кому посчастливилось проходить через Грэйвилл днем, не могли не заметить большое каменное здание, венчающее невысокий холм к северу от железнодорожной станции, то есть по правой руке, если идти к Грэйт-Моубрей. Этот довольно унылый дом «раннелетаргического стиля» невольно наводил на мысль, что строитель его пожелал уклониться от славы и, не имея возможности скрыть свое творение – более того, вынужденный возвести его на самом видном месте, – приложил все силы к тому, чтобы никто не захотел посмотреть на это сооружение дважды. Поскольку речь идет о его внешнем виде, «Убежище Эберсаша для престарелых», безусловно, гостеприимством и радушием не отличалось. Тем не менее дом этот был весьма внушителен по размерам, и щедрому основателю «Убежища» пришлось вложить в его постройку прибыли от многих партий чая, шелков и пряностей, которые корабли привозили ему от наших антиподов в Бостон, где он занимался в ту пору коммерческой деятельностью: впрочем, большая часть денег была вложена в фонд «Убежища» при основании его. В общей сложности этот бесшабашный человек ограбил своих законных наследников на сумму не меньшую, чем полмиллиона долларов и пустил ее на ветер одним взмахом щедрой руки. Возможно, что, имея намерение скрыться от этого молчаливого свидетеля своей расточительности, он и распродал вскоре после того все свое имущество в Грэйвилле, покинул места, где предавался недавно мотовству, и уехал за море на одном из собственных кораблей. Однако сплетники, получавшие сведения непосредственно с небес, утверждали, будто он отправился подыскивать себе жену, хотя их версию не так-то легко было связать с соображениями, имевшимися на этот счет у одного грэйвиллского острослова, который заверял

всех, что филантропически настроенный холостяк покинул нашу юдоль (сиречь Грэйвилл), ибо здешние великовозрастные девицы слишком уж допекали его своим вниманием. Как бы то ни было, назад он не вернулся, и хотя смутные, отрывочные вести о его скитаниях в чужих краях изредка и долетали до Грэйвилла, все же ничего определенного о нем никто не знал, и для молодого поколения имя этого человека стало пустым звуком. Но – высеченное на камне, оно громогласно заявляло о себе над главным входом «Убежища для престарелых».

Несмотря на малообещающую внешность, «Убежище» представляло для своих обитателей совсем не плохое место отдохновения от многих зол, которые они навлекли на себя в жизни, будучи нищими, стариками да к тому же людьми. Ко времени, о котором повествует эта короткая хроника, их насчитывалось там человек двадцать, но по злобному нраву, сварливости и крайней неблагодарности они с успехом могли бы сойти за целую сотню; такого мнения, во всяком случае, придерживался старший смотритель «Убежища» мистер Сайлас Тилбоди. Мистер Тилбоди был убежден, что, принимая стариков на место тех, которые удалялись в иное, лучшее убежище, попечители ставили себе целью испытывать его терпение и нарушать его покой. Говоря откровенно, чем дольше пребывал мистер Тилбоди во главе этого учреждения, тем больше склонялся он к мысли, что благотворительный замысел основателя весьма прискорбным образом страдал от наличия в «Убежище» призреваемых. Мистер Тилбоди не мог похвалиться богатой фантазией, но та, что у него имелась, была поглощена преобразованием «Убежища» в некий воздушный замок, где он сам в качестве кастеляна оказывал гостеприимство небольшой компании медоточивых, состоятельных джентльменов средних лет, настроенных весьма благодушно и охотно покрывающих расходы по своему содержанию. Попечители, которым мистер Тилбоди был обязан своим положением и перед которыми ему приходилось отчитываться, не имели счастья фигурировать в этом исправленном филантропическом проекте. Что же касается самих попечителей, то, по словам вышеупомянутого грэйвиллского остряка, провидение, поставившее их во главе большого благотворительного предприятия, тем самым даровало им повод проявлять свою склонность к бережливости. О выводах, которые, по его мнению, напрашивались отсюда, мы говорить не будем; они не подтверждались и не опровергались

обитателями «Убежища» – лицами, бесспорно, наиболее заинтересованными. Призреваемые доживали здесь остаток своих дней, незаметно сходили в строго пронумерованные могилы, а на смену им появлялись другие старики, до такой степени похожие на прежних, что большего сходства не мог бы пожелать и сам враг рода человеческого. Если «Убежище» служило местом кары за неумение жить по средствам, то престарелые грешники искали справедливого возмездия за этот грех с настойчивостью, свидетельствовавшей об искренности их раскаяния. Одним из таких грешников мы и намерены теперь заинтересовать нашего читателя.

Что касается одежды, то человек этот выглядел малопривлекательно. Не будь зимнего времени, поверхностный наблюдатель мог бы принять его за хитроумное изобретение землепашца, не расположенного делить плоды своих трудов с воронами, кои не трудятся, не прядут, и устранить это заблуждение помог бы только более пристальный взгляд (на что не приходилось рассчитывать), ибо человек этот шел в зимних сумерках к «Убежищу» по Эберсаш-стрит не быстрее, чем это можно было бы ожидать от огородного пугала, даже обретшего вдруг юность, здоровье и беспокойный характер. Одет он был, вне всякого сомнения, плохо, и вместе с тем в его одежде чувствовалось изящество и вкус; по всему было видно, что это проситель, рассчитывающий получить место в «Убежище», куда только бедность и открывала дорогу. В армии нищих мундиром служат лохмотья: они и есть знаки различия между рядовым составом и офицерством, вербующим новобранцев.

Старик вошел в ворота, заковылял по широкой дорожке, уже побелевшей от густого снега, и, время от времени стряхивая дрожащей рукой снежные хлопья, забиравшиеся в каждую складку его платья, наконец предстал перед большим круглым фонарем, который горел по ночам у главного входа в здание. Словно желая скрыться от этих безжалостных лучей, он свернул влево и, пройдя довольно большое расстояние вдоль фасада, позвонил у гораздо менее внушительной двери, где свет горел только в полукруглом окне над входом и равнодушно рассеивался выше уровня человеческого роста. Дверь открыл не кто иной, как величественный мистер Тилбоди. Увидев посетителя, который сразу же обнажил голову и несколько уменьшил радиус своей раз и навсегда согбенной спины, эта важная особа не выразила ни удивления, ни досады. Мистер

Тилбоди был в необычно хорошем расположении духа, что следовало приписать благотворному влиянию времени года: ибо подошел сочельник, и завтра должна была наступить та благословенная, одна триста шестьдесят пятая часть года, которую все добрые христиане встречают великими подвигами благочестия и ликованием. Мистер Тилбоди был преисполнен чувствами, приличествующими такой поре года, и его мясистое лицо и белесые глаза, слабый блеск которых только и помогал отличить эту физиономию от перезрелой тыквы, так рассиялись на этот раз, что мистеру Тилбоди, право, не мешало бы понежиться в лучах, исходивших от его собственной персоны. Он был в шляпе, в высоких сапогах, в пальто и при зонтике, как и подобало человеку, приготовившемуся выйти в ночь и непогоду по долгу милосердия; ибо мистер Тилбоди, минуту назад покинувший жену и детей, собрался в город, намереваясь закупить все то, что подкрепляет ежегодную ложь о пузатеньком святом, который забирается в каминные трубы, чтобы вознаградить отменно благонравных и, главное, правдивых мальчиков и девочек. Поэтому он не пригласил старика войти в дом, хотя поздоровался с ним приветливо.

– Здрасте, здрасте! Вовремя явились! Еще минута, и вы меня не застали бы. Я спешу, пойдемте, – пройдем немного вместе.

– Благодарю вас, – ответил старик, и свет, падавший из открытой двери, обнаружил на его худом, бледном, но отнюдь не лишенном благородства лице что-то похожее на разочарование, – но если попечители... если мое прошение...

– Попечители, – сказал мистер Тилбоди, захлопнув перед ним дверь и в прямом и в переносном смысле и лишив вместе со светом и луча надежды, – с общего согласия не согласились принять вас.

Есть чувства, которые не подобает проявлять в рождественские дни, но юмор, равно как и смерть, не считается со временем года.

– О боже мой! – воскликнул старик таким слабым и сиплым голосом, что возглас этот прозвучал отнюдь не выразительно и показался совершенно неуместным, по крайней мере, одному из тех, кто слышал его. Другому же... но разве нам, мирянам, дано что-нибудь знать об этом!

– Да, – продолжал мистер Тилбоди, приноравливаясь к походке своего спутника, который машинально и без особого успеха старался идти по следам, им же самим проложенным в

снегу, – принимая во внимание некоторые обстоятельства, весьма необычные обстоятельства, надеюсь, вы понимаете... попечители решили, что принять вас вряд ли будет удобно. Будучи старшим смотрителем «Убежища» и занимая также должность секретаря почтенного совета попечителей, – когда мистер Тилбоди полным голосом провозгласил этот титул, дом, видневшийся сквозь пелену снега, словно утратил часть своего величия, я считаю себя обязанным повторить вам слова председателя совета, его преподобия Байрэма, а он сказал, что при данных обстоятельствах пребывание ваше в «Убежище» в высшей степени нежелательно. Я почел своим долгом передать почтеннейшему совету попечителей то, что вы сообщили мне вчера о своей нужде, болезни и о тех испытаниях, которые провидению угодно было ниспослать вам, когда вы, как это и следовало ожидать, намеревались изложить свою просьбу самолично; однако же после тщательного и, я бы сказал, благочестивого рассмотрения вашего дела – чему способствовало также чувство милосердия, приличествующее кануну праздника, – было решено, что мы не вправе вызвать хотя бы малейшее сомнение в полезности «Убежища», которое милостью божией вверено нашим заботам.

К этому времени они вышли на улицу; фонарь у ворот еле виднелся сквозь падающий снег. Следы, протоптанные стариком, уже занесло, и он замедлил шаг, видимо не зная, куда идти. Мистер Тилбоди прошел немного вперед и оглянулся, неохотно расставаясь с представившейся ему возможностью поговорить.

– Принимая во внимание некоторые обстоятельства, – повторил он, – решение...

Но мистер Тилбоди втуне расточал свое красноречие; старик уже пересек улицу, свернул к пустырю и нетвердыми шагами отправился прямо куда глаза глядят, а так как идти ему, собственно говоря, было некуда, то поступок этот не был таким уж бессмысленным, как это могло показаться на первый взгляд.

И вот почему на следующее утро, когда ради такого дня колокола во всем Грэйвилле названивали особенно рьяно, маленький краснощекий сынок его преподобия Байрэма, пробиравшийся по сугробам к дому благочестия, споткнулся о труп грэйвиллского филантропа Амоса Эберсаша.

Страж мертвеца

1

В одной из верхних комнат необитаемого дома, расположенного в той части Сан-Франциско, которая известна под названием Северного Берега, лежал покрытый саваном труп. Было около девяти часов вечера, комнату слабо освещала единственная свеча. Хотя погода стояла теплая, оба окна, вопреки обычаю предоставлять покойнику как можно больше воздуха, были закрыты и шторы опущены. Обстановка комнаты состояла всего из трех предметов: кресла, пюпитра, на котором горела свеча, и кухонного стола, на котором лежало тело. Окажись здесь человек наблюдательный, он заметил бы, что эти предметы, в том числе и труп, внесены сюда лишь недавно, ибо на них не было пыли, тогда как все остальное в комнате было густо покрыто ею, а в углах висела паутина. Под простыней отчетливо вырисовывались контуры тела и даже угадывались черты лица, отличавшиеся той неестественной заостренностью, которая, как полагают, свойственна всем мертвецам, но на самом деле присуща лишь тем, кто перед смертью был изнурен тяжелой болезнью. Судя по тишине, стоявшей в комнате, можно было заключить, что окна выходят не на улицу. Они и в самом деле упирались в высокую скалу, в которую был встроен дом. В тот момент, когда часы на колокольне били девять, – так лениво и с таким безразличием к бегу времени, что нельзя было не удивиться, зачем они вообще брали на себя этот труд, – единственная дверь в комнате отворилась, и в комнату вошел человек. Дверь немедленно захлопнулась, как бы сама собой, раздался скрежет с трудом поворачиваемого ключа и щелканье замка, за дверью послышались удаляющиеся шаги, и человек по-видимому, оказался в заключении. Подойдя к столу, он постоял с минуту, глядя на тело, затем, слегка пожав плечами, отошел к одному из окон и приподнял штору. Снаружи было совершенно темно; протерев пыльное стекло, он обнаружит, что окно защищено прочной железной решеткой, заделанной в кладку на расстоянии нескольких дюймов от стекла. Вошедший осмотрел второе окно: то же самое. Это его нисколько не удивило он даже не поднял створку.

Если он и был арестантом, то, видимо, арестантом покладистым. Покончив с осмотром, человек уселся в кресло, вынул из кармана книгу, придвинул пюпитр со свечой и начал читать.

Он был молод – не старше тридцати – смуглый, гладко выбритый, с каштановыми волосами. Лицо у него было худощавое, горбоносое, с широким лбом и твердым подбородком, являющимся, по мнению его обладателей, признаком решительного характера. Глаза были серые, взгляд пристальный, не перебегавший бесцельно с предмета на предмет. Сейчас его глаза были главным образом прикованы к книге, но время от времени молодой человек отрывался от чтения и устремлял взгляд на мертвое тело, очевидно не под влиянием какой-то зловещей притягательной силы, которая могла бы одолеть при подобных обстоятельствах и смельчака, и не из сознательного сопротивления страху, заставляющему отворачивать голову человека робкого. Он глядел на труп так, словно в книге ему попадалось что-то напоминающее о том, где он находится. Ясно было, что этот страж мертвеца исполняет свою обязанность как ему и подобает, разумно и с самообладанием.

Примерно через полчаса он, казалось, закончил главу и спокойно отложил книгу в сторону. Затем встал и, подняв пюпитр, перенес его в угол к окну, взял свечу и вернулся к пустому камину, перед которым до этого сидел. Немного спустя он подошел к покойнику, приподнял край простыни и откинул ее, – показалась копна темных волос и темный платок, сквозь который черты обозначились еще резче, чем прежде. Заслонив глаза от света свободной рукой, он смотрел на своего неподвижного компаньона спокойно, серьезно и почтительно. Удовлетворенный осмотром, он снова натянул простыню на лицо, возвратился на прежнее место, взял несколько спичек с подсвечника, положил их в боковой карман своего широкого пальто и сел в кресло. Затем, вынув свечу из подсвечника, посмотрел на «ее критическим взглядом, как бы подсчитывая, на сколько ее хватит: от нее оставалось меньше двух дюймов – через час он очутится в темноте! Он вставил свечу обратно в подсвечник и задул ее.

2

В кабинете врача на Кэрни-стрит за столом сидело трое мужчин. Они пили пунш и курили. Приближалась полночь, пунша было выпито много. Старшему из трех, д-ру Хелберсону, хозяину этой квартиры, было около тридцати лет, другим еще меньше. Все трое были медики. – Суеверный страх, с которым живые относятся к мертвым, – сказал д-р Хелберсон, – страх наследственный и неизлечимый. Стыдиться его следует не больше, чем стыдятся, например, наследственной неспособности, к математике или склонности ко лжи. Гости засмеялись.

– Разве человек не должен стыдится того, что он лжет? – спросил младший из трех, пока еще студент.

– Милый Харпер, об этом я ничего не сказал. Одно дело – наклонность ко лжи, и совсем другое – сама ложь.

– Но вы думаете, – сказал третий, – что это суеверное чувство, этот явно бессмысленный страх перед мертвым свойственен абсолютно всем? Я, например, его не ощущаю.

– И все же «он в вас заложен», – возразил Хелберсон. – Требуются только подходящие условия – «удобный миг», как говорит Шекспир, – чтобы этот страх проявился самым неприятным образом. Разумеется, врачи и военные не так подвержены этому чувству, как прочие.

– Врачи и военные... Почему вы не прибавите: и палачи? Давайте уж вспомним все категории убийц.

– О нет, дорогой Мэнчер, суды присяжных не дают палачам свыкнуться со смертью настолько, чтобы она перестала внушать им страх. Молодой Харпер, взяв со столика сигару, снова сел на место.

– Какими, по-вашему, должны быть условия, чтобы любой человек, рожденный женщиной, неминуемо осознал бы, что и он причастен нашей общей слабости? – спросил он довольно замысловато.

– Ну, скажем, если бы человека заперли на всю ночь наедине с трупом – в темной комнате – в пустом доме, – где нет даже одеяла, чтобы закутаться в него с головой и не видеть страшного зрелища «, и он пережил бы ночь, не сойдя с ума, он был бы вправе похвалиться, что не рожден женщиной и даже не является продуктом кесарева сечения, как Макдуф.

– Я уж думал, что вы никогда не кончите перечислять условия, – сказал Харпер. – Ну что ж, я знаю человека, который,

не будучи ни врачом, ни военным, сделает это на пари и примет все условия, какую бы вы ставку не назначили.

– Кто он такой?

– Его зовут Джерет, он приехал сюда, в Калифорнию, из Нью-Йорка, как и я. У меня нет денег, чтобы поставить на него, но сам он рискнет любой суммой.

– Откуда вы знаете?

– Да его хлебом не корми, дай только побиться об заклад. Что же касается страха, то, насколько мне известно, Джерет считает его какой-то накожной болезнью или особого рода ересью.

– Как он выглядит? – Хелберсон понемногу начинал проявлять интерес.

– Немного похож на Мэнчера, – пожалуй мог бы даже сойти за его близнеца.

– Я принимаю вызов, – не раздумывая, проговорил Хелберсон. – Чрезвычайно обязан вам за лестное сравнение, – медленно произнес Мэнчер, который уже начал дремать. – А не могу ли я войти в пари?

– Только не против меня, – сказал Хелберсон, – ваши деньги мне не нужны.

– Ладно, – сказал Мэнчер, – я буду трупом. Все засмеялись. Последствия этого сумасбродного разговора мы уже видели.

3

Мистер Джерет задул свечу, вернее сказать огарок, для того, чтобы приберечь его на случай каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Может быть, он решил или хотя бы мельком подумал, что рано или поздно темнота все равно наступит, так уж лучше, если ему станет совсем невмоготу, иметь в запасе эту возможность рассеяться или даже успокоиться. Во всяком случае разумно было сохранить огарок хотя бы для того, чтобы смотреть на часы.

Погасив свечу и поставив ее рядом с собой на пол, он удобно расположился в кресле, откинулся назад и закрыл глаза, надеясь уснуть. Но его постигло разочарование: никогда в своей жизни Джерет не был так далек от сна, и через несколько минут он отказался от всяких попыток задремать. Но чем же заняться? Не мог же он бродить ощупью в темноте, рискуя расшибиться или, налетев на стол, потревожить покойника. Мы все признаем за

мертвыми право на покой и свободу от всего грубого и насильственного. Джерету почти удалось убедить себя, что только такого рода соображения удержали его от рискованных прогулок и приковали его к креслу.

В то время как он размышлял над этим, ему почудилось, что в той стороне, где стоял стол, раздался слабый звук, но что это был за звук, он не понял. Джерет не повернул головы – стоит ли это делать в темноте? Но он слушал – почему бы и нет? И, прислушиваясь, он почувствовал головокружение и ухватился за ручки кресла. В ушах у него стоял странный звон, голова, казалось, вот-вот лопнет, одежда сдавливала грудь. Он недоумевал – что это? Неужели признаки страха? Внезапно, с долгим мучительным выдохом, грудь его опустилась. Он судорожно вздохнул, легкие его наполнились воздухом, головокружение прекратилось, и он понял, что прислушивался так напряженно, что, затаив дыхание, едва не задохнулся. Открытие раздосадовало его. Он поднялся, оттолкнул кресло ногой и шагнул на середину комнаты. Но в темноте далеко не уйдешь: он начал водить руками по воздуху и, нащупав стену, дошел по ней до угла, повернулся, прошел мимо окон и в следующем углу сильно стукнулся о пюпитр и опрокинул его. Раздался стук, и это напугало Джерета, он вздрогнул. Это вызвало чувство раздражения. «Что за черт! Как я мог забыть, где он стоит?» – пробормотал он, пробираясь вдоль третьей стены к камину. «Я должен привести все в порядок». И он начал шарить по полу руками в поисках свечи. Найдя свечу, Джерет зажег ее и сразу же взглянул на стол, где, естественно ничто не изменилось. Пюпитр так и остался лежать на полу незамеченным, – Джерет забыл «привести его в порядок». Он внимательно осмотрел комнату, разгоняя густые тени движением руки, державшей свечу, и наконец, подойдя к двери, попробовал ее открыть, поворачивая и дергая ручку изо всей силы. Она не поддалась, и это, видимо, несколько успокоило его. Он запер дверь еще прочнее на засов, которого раньше не заметил. Снова усевшись в кресло, он посмотрел на часы: всего половина десятого. С изумлением он поднес часы к уху. Они шли. Свеча была теперь заметно короче. Он снова задул ее и поставил на пол рядом, как прежде. Мистеру Джерету было не по себе; обстановка ему явно не нравилась, и он сердился на себя за это. «Чего мне бояться? – думал он. – Это просто нелепо и постыдно. Да и не такой я дурак». Но от того, что вы скажете:

«Я не поддамся страху», смелости у вас не прибавится. Чем больше Джерет презирал себя, тем больше давал себе оснований для презрения; чем больше придумывал вариаций на простую тему о безобидности мертвеца, тем сильнее становился разлад в его чувствах.

– Как же так! – воскликнул он вслух в душевном смятении. – Да ведь я не капли не суеверен, не верю в бессмертие, знаю и сейчас лучше, чем когда-либо, что загробная жизнь это просто неосуществимая мечта, – неужели же я проиграю пари, потеряю честь, самоуважение и, возможно, рассудок только из-за того, что какие-то дикие предки, обитавшие в пещерах и норах, бессмысленно верили, будто мертвые встают по ночам, будто... – Ясно и отчетливо Джерет услышал позади себя звук легких, мягких шагов, неторопливо, равномерно и неуклонно приближающихся.

4

В предрассветном сумраке д-р Хелберсон медленно ехал в коляске со своим молодым другом Харпером по улицам Северного Берега. – Ну как, юноша? Вы по-прежнему верите в то, что ваш друг такой уж смелый или, скажем лучше, толстокожий человек? – спросил старший. – Вы все еще думаете, что я проиграл?

– Уверен, что вы проиграли, – с подчеркнутой убежденностью ответил другой.

– Клянусь, я буду рад, если это так.

Эти слова доктор произнес значительно, почти торжественно. Несколько минут оба молчали.

– Харпер, – заговорил доктор, лицо которого в тусклом свете мелькавших уличных фонарей казалось очень серьезным, – в этой истории меня многое беспокоит. Ваш приятель так презрительно отнесся к моему сомнению в его выдержке, – хотя это чисто физическое свойство и обижаться тут нечего, – и так бестактно потребовал, чтобы труп был трупом врача, что задел меня за живое, иначе я нс зашел бы так далеко. Если что-нибудь случится, мы погибли, и, боюсь заслуженно.

– Но что может случиться? Даже если эта история примет дурной оборот – чего я нисколько не опасаюсь, – Мэнчеру достаточно будет воскреснуть и объяснить все Джерету. С настоящим трупом из прозекторской или с одним из ваших

умерших пациентов дело обстояло бы сложнее. Итак, д-р Мэнчер сдержал свое обещание: он изображал труп.

Доктор Хелберсон долго молчал, пока коляска двигалась черепашьим шагом по той же улице, по которой проезжала уже два или три раза. Затем он произнес:

– Ну, будем надеяться, что Мэнчер, если ему пришлось восстать из мертвых, вел себя осторожно. В таком положении любая ошибка могла все испортить, вместо того чтобы исправить.

– Да, – сказан Харпер, – Джерет убил бы его. Однако смотрите, доктор, – прибавил он, взглянув на часы в тот момент, когда на них упал свет фонаря, – наконец-то скоро четыре.

Спустя мгновение они вышли из экипажа и быстро направились к давно необитаемому дому, принадлежащему доктору, где, согласно условиям безумного пари, был заперт Джерет. Недалеко от дома они увидели человека, бегущего им навстречу.

– Вы не знаете, – закричал тот, приостановившись, – где найти врача? – А в чем дело? – уклончиво спросил Хелберсон. – Идите и посмотрите, – ответил человек и побежал дальше.

Они ускорили шаги. Подойдя к дому, они увидели, что туда один за другим поспешно входят взволнованные люди. В домах рядом и напротив окна спален были распахнуты, и из них торчали головы. Все наперебой задавали вопросы, но никто на них не отвечал. Те немногие окна, где шторы оставались опущенными, были освещены: видимо обитатели этих комнат одевались, намереваясь спуститься вниз. Как раз напротив того дома, куда шли Хелберсон и Харпер, стоял фонарь, бросавший неяркий желтый свет на происходящее, казалось намекая, что многое мог бы порассказать, если бы только захотел. Харпер, мертвенно бледный, помедлил у двери и дотронулся до руки своего друга.

– Нам, кажется, крышка, доктор, – сказал он взволнованным тоном, странно противоречившим шутливому оттенку его слов. – Игра обернулась против нас. Лучше не входить, я за то, чтобы остаться в тени.

– Я врач, – сказал спокойно Хелберсон, – моя помощь может понадобиться.

Они поднялись по ступенькам и остановились. Дверь была открыта. Уличный фонарь освещал вестибюль дома, набитый людьми. Некоторые уже поднялись на верхнюю площадку

лестницы и, так как дальше не смогли протолкаться, стояли, ожидая, когда им повезет. Все говорили враз, никто не слушал друг друга. Внезапно наверху началась какая-то свалка: из двери выбежал человек, отбиваясь на ходу от тех, кто пытался задержать его. Он ринулся вниз сквозь толпу напуганных зевак, расталкивая их, отбрасывая к стене одних, других вынуждая вцепиться в перила, хватая людей за горло, нанося им удары, скидывая их с лестницы и наступая на упавших. Он был без шляпы, в растерзанной одежде. В бегающих, безумных глазах было нечто наводившее еще больший ужас, чем его нечеловеческая сила. Гладко выбритое лицо было бескровно, волосы белы как снег.

Толпа у подножья лестницы отхлынула, чтобы дать ему дорогу, и в ту же секунду Харпер бросился вперед. – Джерет! Джерет! – закричал он.

Доктор Хелберсон схватил его за ворот и оттащил назад. Человек посмотрел друзьям прямо в лицо невидящим взглядом, выскочил за дверь и исчез. Толстый полицейский, которому не удалось с такой же легкостью проложить себе путь, выбежал на улицу мгновение спустя и кинулся за ним, а из окон высовывались женщины и дети и вопили, направляя его по следам беглеца.

Лестница почти опустела, так как толпа бросилась на улицу, следить за погоней; д-р Хелберсон поднялся на площадку, сопровождаемый Харпером. Наверху в дверях полицейский преградил им путь.

– Мы врачи, – сказал доктор, и их пропустили.

Комната была полна людей, столпившихся в темноте вокруг стола. Вновь вошедшие протолкались вперед и заглянули через плечи стоявших в первом ряду. На столе лежало тело, по грудь прикрытое простыней и ярко освещенное лучами фонаря, который держал один из полицейских, стоявших в ногах трупа. За исключением тех, кто сбился у изголовья, все – в том числе и сам полицейский – тонули во мраке. Желтое лицо трупа было отвратительно, ужасно! Приоткрытые глаза закатились, челюсть отвисла, на губах, подбородке, щеках засохла пена. Какой-то высокий человек, по-видимому врач, стоял, наклонившись над телом, положив ему руку на сердце; затем он сунул два пальца в открытый рот мертвеца. – Уже шесть часов, как этот человек умер, – сказал он. – Нужно передать дело следователю.

Он вынул карточку из кармана, протянул ее полицейскому и направился к двери.

– Всем покинуть комнату! – резко приказал полицейский и поднял фонарь; труп, очутившись внезапно в темноте, исчез, как будто его сбросили со стола. Полицейский направил фонарь на толпу, и луч света, обегая комнату, выхватывал из мрака отдельные лица. Эффект был поразительный! Люди, ослепленные, смятенные, испуганные, шумно кинулись к двери, теснясь, толкаясь, натыкаясь друг на друга, спасаясь бегством, как призраки Ночи от лучей Аполлона. Полицейский безжалостно направлял свет фонаря на эту барахтающуюся, топочущую массу. Подхваченные общим потоком, Хелберсон и Харпер мгновенно оказались на улице.

– Боже мой, доктор, ведь я говорил вам, что Джерет убьет его, – сказал Харпер, как только они выбрались из толпы.

– Кажется говорили, – ответил доктор, не выказывая особого волнения.

Они молча шли квартал за кварталом. На сером фоне востока вырисовывались силуэты домов на холмах. По улице двигалась привычная тележка с молоком. Скоро должен был появиться посыльный из булочной; разносчик газет уже отправился в свой путь.

– Я думаю, юноша, – сказал Хелберсон, – что мы с вами слишком долго дышали утренним воздухом. Это вредно для здоровья, необходимо переменить обстановку. Что вы думаете о поездке в Европу?

– Когда?

– Ну, это безразлично. Полагаю, если мы выедем сегодня в четыре часа, будет еще не поздно.

– Встретимся на пароходе, – ответил Харпер.

Семь лет спустя, в Нью-Йорке, эти же двое сидели, беседуя, на скамье в Медисон-сквере. Какой-то человек, некоторое время незаметно наблюдавший за ними, подошел, приподнял учтиво шляпу, открыв белые как снег волосы, и сказал:

– Прошу простить меня, джентльмены, но тому, кто убил человека тем, что воскрес, лучше всего обменяться с убитым одеждой и при первом удобном случае бежать.

Хелберсон и Харпер обменялись многозначительными взглядами, – эти слова показались им забавными. Хелберсон добродушно посмотрел в глаза незнакомца и ответил:

– Я всегда думал точно так же. Я полностью согласен с вами относительно преимущ...

Он вдруг запнулся и побледнел как смерть. Приоткрыв рот, он глядел на человека. Его охватила дрожь.

– Ого! – сказал незнакомец. – Я вижу, вы нездоровы, доктор. Если вы не можете вылечить себя сами, я уверен, доктор Харпер поможет вам. – Кто вы такой, черт вас побери? – грубо спросил Харпер. Незнакомец подошел поближе и, наклонившись, сказал шепотом: – Иногда я называю себя Джеретом, но вам ради старинной дружбы, скажу правду: я доктор Уильям Мэнчер. Эти слова заставили Харпера вскочить.

– Мэнчер! – воскликнул он, а Хелберсон добавил: – Клянусь, так оно и есть!

– Да, – неопределенно улыбаясь, сказал незнакомец, – несомненно, так оно и есть.

Он запнулся, как будто пытаясь что-то вспомнить, затем начал напевать модную песенку. Он, по-видимому, забыл об их присутствии.

– Послушайте, Мэнчер, – сказал старший, – расскажите же, что случилось той ночью – с Джеретом, помните?

– Ах да, с Джеретом, – ответил тот. – Странно, что я вам не рассказал – я так часто рассказываю это. Видите ли, я подслушал, когда он говорил сам с собой, и понял, что он здорово напуган. И я не мог справиться с искушением воскреснуть и подурачиться, право, не мог. Вот я и воскрес, но я никак не думал, что он примет это всерьез, – никак не думал. А потом – поменяться с ним местами было нелегким делом, а потом – вы меня не выпускали, черт вас возьми!

Последние слова были произнесены с непередаваемой свирепостью. Друзья в испуге отступили.

– Мы? Но... но... – Хелберсон заикался, совершенно потеряв самообладание. – При чем тут мы?

– Разве вы не доктора Хелборн и Шарпер?

– спросил человек, смеясь.

– Действительно, моя фамилия Хелберсон, а этого джентльмена зовут Харпер, – ответил первый, немного успокоенный смехом Мэнчера. – Но мы уже не врачи, мы, мы... а, черт побери, мы – игроки, старина.

И это была правда.

– Прекрасная профессия, прекрасная. Кстати, надеюсь, Шарпер, как честный игрок, заплатил за Джерета? Очень

хорошая, почтенная профессия, – задумчиво повторил он, с рассеянным видом отходя от них, – но я держусь прежней. Я – главный врач блумингдейлского сумасшедшего дома. Мне поручено смотреть за надзирателем.

Человек и змея

1

Доподлинно известно и сие подтверждено также многими свидетельствами, противу коих не станут спорить ни мудрецы, ни мужи науки, что глазу змеиному присущ магнетизм и буде кто, влекомый противо воли своей, подпадет под действие оного магнетизма, тот погибнет жалкою смертью, будучи укушен сим гадом.

Растянувшись на диване в халате и комнатных туфлях, Харкер Брайтон улыбался, читая вышеприведенное место в «Чудесах науки» старика Морристера. «Единственное чудо заключается здесь в том, – подумал он, – что во времена Морристера мудрецы и мужи науки могли верить в такую чепуху, которую в наши дни отвергают даже круглые невежды «.

Последовала вереница размышлений – Брайтон был человек мыслящий, – и он машинально опустил книгу, не меняя направления взгляда. Как только книга исчезла из поля зрения Брайтона, какая-то вещь, находившаяся в полутемном углу комнаты, пробудила его внимание к окружающей обстановке. В темноте, под кроватью, он увидел две светящиеся точки, на расстоянии примерно дюйма одна от другой. Возможно, газовый рожок у него над головой бросал отблеск на шляпки гвоздей; он не стал задумываться над этим и снова взялся за книгу. Через секунду, повинуясь какому-то импульсу, в рассмотрение которого Брайтон не стал вдаваться, он снова опустил книгу и поискал глазами то место. Светящиеся точки были все там же. Они как будто стали ярче и светились зеленоватым огнем, чего он сначала не заметил. Ему показалось также, будто они немного сдвинулись с места, словно приблизились к дивану. Однако тень все еще настолько скрывала их, что его невнимательный взгляд не мог определить ни происхождение, ни качество этих точек, и он снова стал читать.

Но вот что-то в самом тексте навело Брайтона на мысль, которая заставила его вздрогнуть и в третий раз опустить книгу на диван, откуда, выскользнув у него из руки, она упала на пол обложкой кверху. Приподнявшись, Брайтон пристально

вглядывался в темноту под кроватью, где блестящие точки горели, как ему теперь казалось, еще более ярким огнем. Его внимание окончательно пробудилось, взгляд стал напряженным, настойчивым. И взгляд этот обнаружил под кроватью, в ее изножье, свернувшуюся кольцами большую змею – светящиеся точки были ее глаза. Омерзительная плоская голова лежала от внутреннего кольца к внешнему и была обращена прямо к Брайтону. Очертание нижней челюсти – широкой и грубой – и дегенеративный, приплюснутый лоб позволяли определить направление злобного взгляда. Глаза змеи были уже не просто светящимися точками; они смотрели в его глаза взглядом осмысленным и полным ненависти.

2

Появление змеи в спальной комнате современного комфортабельного городского дома, к счастью, не такой уж заурядный случай, чтобы всякие разъяснения показались здесь излишними. Харкер Брайтон – тридцатипятилетний холостяк, большой эрудит, человек завидного здоровья, праздный, богатый, спортсмен-любитель и личное весьма популярная в обществе – вернулся в Сан-Франциско из путешествия по странам отдаленным и малоизвестным. Лишения последних лет сделали вкусы Брайтона – всегда несколько привередливые – еще более изысканными, и так как даже отель «Замок» был не в состоянии удовлетворить их полностью, он охотно воспользовался гостеприимством своего приятеля, известного ученого, доктора Друринга. Особняк доктора Друринга – большой, старомодный, пестренный в той части города, которая считается теперь нефешенебельной, – хранил в своем внешнем облике выражение горделивой отчужденности. Он словно не желал иметь ничего общего с соседями, изменившими иго окружение, и отличался некоторой причудливостью нрава – обычным следствием такой обособленности. Одной из этих причуд было «крыло», бросающееся в глаза своей несообразностью с точки зрения архитектуры и весьма оригинальное в смысле использования его, так как «крыло» служило Одновременно лабораторией, зверинцем и музеем. Здесь-то доктор и давал простор своим научным стремлениям, изучая те формы животного царства, которые вызывали у него интерес и соответствовали его вкусам, склоняющимся, надо

признать, скорее к низшим организмам. Для того чтобы завоевать его взыскательную душу, представители высших типов должны были сохранить хотя бы некоторые рудиментарные особенности, роднящие их с такими «чудищами первобытных дебрей», как жабы и змеи. Врожденные склонности явно влекли его к рептилиям; он любил вульгарных детищ природы и называл себя «Золя от зоологии».

Жена и дочери доктора Друринга, не разделяющие его просвещенной любознательности к жизни и повадкам наших несчастных собратьев, с ненужной суровостью изгонялись из помещения, которое доктор называл «змеевником», и были вынуждены довольствоваться обществом себе подобных; впрочем, смягчая их тяжкую участь, Друринг уделял им из своего немалого состояния достаточно, чтобы они могли превзойти пресмыкающихся пышностью жилища и блистать недосягаемым для тех великолепием.

В отношении архитектуры и обстановки змеевник отличался суровой простотой, соответствующей подневольному образу жизни его обитателей, многим из которых нельзя было предоставить свободу, необходимую для полного наслаждения роскошью, так как обитатели эти имели одну весьма неудобную особенность, а именно – были живыми существами. Впрочем, в своем жилище они чувствовали стеснение в свободе лишь настолько, насколько это было неизбежно, чтобы защитить их же самих от пагубной привычки пожирать друг друга; и, как предусмотрительно сообщили Брайтону, в доме уже привыкли к тому, что некоторых обитателей змеевника не раз обнаруживали в таких местах усадьбы, где они сами затруднились бы объяснить свое появление. Несмотря на соседство змеевника и связанные с ним мрачные ассоциации, в сущности говоря, мало трогавшие Брайтона, жизнь в особняке Друринга была ему вполне по душе.

3

Если не считать крайнего удивления и дрожи, вызванное чувством гадливости, мистер Брайтон не так уж взволновался. Его. первой мыслью было позвонить и вызвать прислугу, но хотя сонетка висела совсем близко, он не протянул к ней руки; ему при шло в голову, что такое движение заставит его самого усомниться – не страх ли это, тогда как страха он, разумеется,

не испытывал. Нелепость создавшегося положения казалась ему куда хуже, чем опасность, которой оно грозило; положение было пренеприятное, но при этом абсурдное. '

Пресмыкающееся принадлежало к какому-то неизвестному Брайтону виду. О длине его он мог только догадываться; туловище, в той части, которая виднелась из-под кровати, было толщиной с его руку. Чем эта змея опасна, если она вообще опасна? Может быть, она ядовита? Может быть, это констриктор? Запас. знаний Брайтона о предупредительных сигналах, имеющихся в распоряжении природы, не давал ему возможности ответить на это; он никогда еще не занимался расшифровкой ее кода.

Пусть эта тварь безвредна, вид ее, во всяком случае, отвратителен. Она была de trop – чем-то несуразным, в ней было что-то наглое. Драгоценный камень не стоил своей оправы. Даже варварский вкус нашего времени и нашей страны, загромоздивший стены этой комнаты картинами, пол – мебелью, а мебель – всякого рода безделушками, не рассчитывал на появление здесь выходцев из джунглей. Кроме того – невыносимая мысль! – дыхание этой твари распространялось в воздухе, которым дышал он сам.

Мысли эти с большей или меньшей четкостью возникали в мозгу Брайтона и побуждали его к действию. Этот процесс именуется у нас размышлением и принятием того или иного решения. В результате мы оказываемся разумны или неразумны. Так и увядший лист, подхваченный осенним ветром, проявляет по сравнению со своими собратьями большую или меньшую сообразительность, падая на землю или же в озеро. Секрет человеческих действий – секрет открытый: что-то заставляет наши мускулы сокращаться. И так ли уж важен тот факт, что подготовительные молекулярные изменения в них мы называем волей?

Брайтон встал с намерением незаметно податься назад, не потревожив змею, и, если удастся, выйти в дверь. Так люди отступают перед величием, ибо всякое величие властно, а во всякой власти таится нечто грозное. Брайтон знал, что он и пятясь найдет дверь. Пусть чудовище последует за ним – хозяева в угоду своему вкусу увешавшие стены картинами, позаботились и о щите со смертоносным восточным оружием, откуда можно будет схватить то, которое окажется наиболее

подходящим сейчас. Тем временем беспощадная злоба все больше и больше разгоралась в глазах змеи.

Брайтон поднял правую ногу, прежде чем шагнуть назад. В ту же минуту он почувствовал, что не сможет заставить себя сделать это.

«Меня считают человеком отважным, – подумал он, – значит, отвага не что иное, как гордость? Неужели я способен отступить только потому, что никто не увидит моего позора?»

Он опирался правой рукой о спинку стула, так и не опустив ногу на пол.

– Глупости! – сказал он вслух, – не такой уж я трус, чтобы не признаться самому себе, что мне страшно.

Он поднял ногу чуть выше, слегка согнув колено, и резким движением опустил ее на пол – на вершок впереди левой. Он не мог понять, как это случилось. Такой же результат дала попытка сделать шаг левой ногой; она очутилась впереди правой. Пальцы, лежавшие на спинке, сжались; рука вытянулась назад, не выпуская стула. Можно было подумать, что Брайтон ни за что не хочет расставаться со своей опорой. Свирепая змеиная голова по-прежнему лежала от внутреннего кольца к внешнему. Змея не двинулась, но глаза ее были теперь словно электрические искры, дробившиеся на множество светящихся игл.

Лицо человека посерело. Он снова сделал шаг вперед, затем второй, волоча за собой стул, и наконец со стуком повалил его на пол. Человек застонал; змея не издала ни звука, не шевельнулась, но глаза ее были словно два ослепительных солнца. И из-за этих солнц самого пресмыкающегося не было видно. Радужные круги расходились от них и, достигнув предела, один за другим лопались, словно мыльные пузыри; казалось, круги эти касаются его лица и тотчас же уплывают в неизмеримую даль. Где-то глухо бил большой барабан, и сквозь барабанную дробь изредка пробивалась музыка неизъяснимо нежная, словно звуки золотой арфы. Он узнал мелодию, которая раздавалась на рассвете у статуи Мемнона, и ему почудилось, что он стоит в тростниках на берегу Нила, стараясь уловить сквозь безмолвие столетий этот бессмертный гимн.

Музыка смолкла; вернее, она мало-помалу незаметно для слуха перешла в отдаленный гул уходящей грозы. Перед ним расстилалась равнина, сверкающая в солнечных лучах и дождевых каплях, равнина в полукружье ослепительной радуги,

которая замыкала в своей гигантской арке множество городов. В самом центре этой равнины громадная змея, увенчанная короной, подымала голову из клубка колец и смотрела на Брайтона глазами его покойной матери. И вдруг эта волшебная картина взвилась кверху, как театральная декорация, и исчезла в мгновение ока. Что-то с силой ударило ему в лицо и грудь. Это он повалился на пол; из переломанного носа и рассеченных губ хлестала кровь. Несколько минут он лежал оглушенный, с закрытыми глазами, уткнувшись лицом в пол. Потом он очнулся и понял, что падение, переместив его взгляд, нарушило силу змеиных чар. Вот теперь, отводя глаза в сторону, он сумеет выбраться из комнаты. Но мысль о змее, лежавшей в нескольких футах от его головы и, может быть готовой к прыжку, готовой обвить его шею своими кольцами, – мысль эта была невыносима! Он поднял голову, снова взглянул в эти страшные глаза и снова был в плену.

Змея не двигалась; теперь она, казалось, теряла власть над его воображением; величественное зрелище, возникшее перед ним несколько мгновений назад, больше не появлялось. Черные бусины глаз, как и прежде, с невыразимой злобой поблескивали из-под идиотически низкого лба. Словно тварь, уверенная в собственном торжестве, решила оставить свои гибельные чары.

И тут произошло нечто страшное. Человек, распростертый на полу всего лишь в двух шагах от своего врага, приподнялся на локтях, запрокинул голову, вытянул ноги. Лицо его в пятнах крови было мертвенно бледно; широко открытые глаза выступали из орбит. На губах появилась пена; она клочьями спадала на пол. По телу его пробегала судорога, оно извивалось по-змеиному. Он прогнул поясницу, передвигая ноги из стороны в сторону. Каждое движение все больше и больше приближало его к змее. Он вытянул руки, стараясь оттолкнуться назад, и все-таки не переставал подтягиваться на локтях все вперед и вперед.

4

Доктор Друринг и его жена сидели в библиотеке. Ученый был на редкость хорошо настроен.

– Я только что выменял у одного коллекционера великолепный экземпляр ophiophagus'a – сказал он.

– А что это такое? – довольно вяло осведомилась его супруга.

– Боже милостивый, какое глубочайшее невежество! Дорогая моя, человек, обнаруживший после женитьбы, что его жена не знает греческого языка, имеет право требовать развода. Ophiophagus – это змея, пожирающая других змей.

– Будем надеяться, что она пожрет всех твоих, – сказала жена, рассеянно переставляя лампу. – Но как ей это удается? Она очаровывает их?

– Как это на тебя похоже, дорогая, – сказал доктор с притворным возмущением. – Ты же прекрасно знаешь, что меня раздражает малейший намек на эти нелепые бредни о гипнотической силе змей. Разговор их был прерван оглушительным воплем, пронесшимся в тишине дома, словно голос демона, возопившего в могиле.

Он повторился еще и еще раз с ужасающей ясностью. Доктор и его жена вскочили на ноги, он – озадаченный, она – бледная, онемевшая от ужаса. Отголосок последнего вопля еще не успел затихнуть, как доктор выбежал из комнаты и кинулся вверх по лестнице, перескакивая сразу через две ступеньки. В коридоре перед комнатой Брайтона он столкнулся со слугами, прибежавшими с верхнего этажа. Все вместе, не постучавшись, они ворвались в комнату. Дверь была не заперта и сразу же распахнулась. Брайтон лежал ничком на полу, мертвый. Его голова и руки прятались под изножьем кровати. Они оттащили тело назад и перевернули его на спину. Лицо мертвеца было перепачкано кровью и пеной, широко раскрытые глаза почти вышли из орбит. Ужасное зрелище!

– Разрыв сердца, – сказал ученый, опускаясь на колени и кладя ладонь мертвецу на грудь. При этом он случайно взглянул под кровать. – Бог мой! Каким образом это сюда попало?

Он протянул руку, вытащил из-под кровати змею и отшвырнул ее, все еще свернувшуюся кольцами, на середину комнаты, откуда она с резким шуршащим звуком пролетела по паркету до стены и так и осталась лежать там. Это было змеиное чучело; вместо глаз в голове у него сидели две башмачных пуговицы.

Соответствующая обстановка

Ночью

Однажды, летней ночью, по вьючной тропе, проложенной в густом и темном лесу, шел мальчик, сын фермера, жившего милях в десяти от Цинциннати. Он весь день плутал в поисках отбившейся от стада коровы, и ночь застигла его довольно далеко от фермы, в местности, ему незнакомой. Но он был не робкого десятка и, определив по звездам направление, в котором лежал путь к дому, решительно углубился в лесную чащу. Вскоре он вышел на тропу, убедился, что она ведет куда нужно, и пошел по ней. Ночь была ясная, но в лесу стояла кромешная тьма. Мальчик шагал почти вслепую, ощупью находя дорогу. Впрочем, сбиться с тропинки было бы мудрено: по обе стороны тянулись густые, непроницаемые заросли кустарника. Он уже прошел милю или около того, как мелькнул слабый мерцающий свет. Ему стало страшно, и сердце у него застучало, что можно было расслышать удары. – Где-то здесь должен быть дом старого Брида, – сказал он себе. – Вероятно, эта тропинка – продолжение той, что ведет к нему с нашей стороны. Но откуда же там свет? Брр... Странное дело.

Тем не менее он продолжал свой путь. Минуту спустя лес кончился, впереди открылась небольшая поляна, почти сплошь поросшая кустами ежевики. Кое-где торчали столбы полусгнившей изгороди. В нескольких ярдах от тропинки, посреди поляны стоял дом, и из незастекленного окна падала полоса света. Когда-то это было окно как окно, но и стекло и деревянный переплет давно разлетелись вдребезги под ударами камней, которые швыряли озорные мальчишки, чтобы доказать свою храбрость и свое презрение к сверхъестественному, – за домом Брида издавна укрепилась дурная слава; говорили, что там нечисто. Возможно, это была напраслина; но даже самый отъявленный скептик не стал бы отрицать, что дом пуст и заброшен; а по деревенским понятиям, где нет людей, там непременно водятся духи.

Глядя на неяркий, таинственный свет, мерцающий в разбитом окне, мальчик с ужасом вспомнил, что он был причастен к разрушению. Его охватило раскаяние, запоздалое и бесполезное, а потому особенно глубокое. Ему уже чудилось,

что вот-вот набросятся на него бесплотные жители потустороннего мира, которых он оскорбил, нарушив их покой и целость их приюта. И все же упрямый мальчишка не отступил, хоть и дрожал всем телом. В его жилах текла здоровая кровь, горячая кровь фронтирсменов. Всего два поколения отделяли его от покорителей индейских племен. Он снова двинулся вперед.

Проходя мимо дома, он глянул на пустой прямоугольник окна, и тут его взгляду представилось странное и страшное зрелище: посреди комнаты, за столом, на котором лежали разрозненные листки бумаги, сидел человек. Пальцы обеих рук глубоко зарылись в волосы. В свете единственной свечи, стоявшей на краю стола, лицо казалось мертвенно бледным. Пламя освещало его с одной стороны, другая оставалась в тени. Глаза были устремлены в пространство, и более зрелый и хладнокровный наблюдатель уловил бы в их взгляде оттенок тревоги, но мальчику они показались лишенными всякого выражения. Он не сомневался, что перед ним мертвец.

Несмотря на весь ужас этой мысли, в ней было что-то притягательное. Мальчик медлил, стараясь хорошенько разглядеть всю картину. Он похолодел, дрожал, у него подкашивались ноги; он чувствовал, как кровь отхлынула от его лица. По тем не менее он стиснул зубы и решительно шагнул к дому. Он не думал о том, что делает, – это была лишь смелость отчаяния. Он приблизил к окну лицо и заглянул в комнату. В ту же минуту зловещий пронзительный вопль прорезал тишину ночи – крик совы. Человек вскочил на ноги, стол опрокинулся, свеча погасла. Мальчик бросился бежать.

Накануне

– А, Колстон, добрый день. Как кстати! Вы не раз говорили, что я лишь из вежливости хвалю ваши сочинения, и вот вы меня застаете погруженным, ушедшим с головой в последний ваш рассказ в «Вестнике». Только ваше неожиданное прикосновение к моему плечу и могло вернуть меня к действительности.

– Это доказательство убедительнее, чем вы думаете, – ответил тот, к кому обращались. – Вам так не терпится прочесть мой рассказ, что вы готовы отказаться от эгоистических соображений и пожертвовать истинным удовольствием, которое он мог бы вам доставить.

– Не понимаю, что вы хотите сказать, – возразил его собеседник, складывая газету и пряча ее в карман. – Странный народ вы, писатели. Скажите мне толком, в чем моя вина или упущение? Разве удовольствие, которое мне доставляет или мог бы доставить ваш рассказ, зависит от меня?

– В значительной мере – да. Позвольте вас спросить, могли бы вы со вкусом позавтракать в этом трамвае? Предположим, фонограф настолько усовершенствован, что может воспроизвести целую оперу – солистов, хор, оркестр и все прочее; но много ли удовольствия вы бы получили, заведя его у себя в конторе, в рабочие часы? Радуют ли вас звуки серенады Шуберта, когда итальянец-скрипач ни свет ни заря пиликает под вашими окнами? Неужели вы всегда одинаково заряжены восторгом? Неужели любое настроение у вас всегда наготове и может быть вызвано по заказу? Позвольте напомнить/вам, сэр, что тот рассказ, который вы оказали мне честь прочитать, желая рассеять трамвайную скуку, принадлежит к числу рассказов о привидениях.

– Что же из этого?

– Как что? Разве читатель, кроме прав, не имеет еще и обязанностей? Вы заплатили за эту газету пять центов. Она ваша. Вы вольны читать ее, когда и где вам угодно. Большая часть того, что в ней напечатано, воспринимается независимо от времени, места и настроения читателя; есть даже такой материал, который нужно читать немедленно, пока он не выдохся. Но мой рассказ совсем иного рода. Это не последние новости из царства теней, имеющие своей целью держать вас в курсе текущих событий потустороннего мира. Рассказ может подождать, когда у вас найдется досуг, чтобы привести себя в настроение, соответствующее его духу, а я позволю себе утверждать, что в трамвае вам это не удастся, даже если вы единственный пассажир. Тут требуется иное одиночество. У автора есть свои права, и читатель обязан уважать их.

– Например?

– »Право на безраздельное внимание читателя. Отказывать писателю в этом просто безнравственно. Делить свое внимание между ним и грохотом трамвая, движущейся панорамой уличной толпы, домов, тротуаров – тысячей вещей, из которых складывается наше повседневное окружение, – это значит совершать величайшую несправедливость. Да что несправедливость – подлость!

Говоривший вскочил на ноги и теперь стоял, держась за ремень. Его собеседник глядел на него в крайнем изумлении, недоумевая, как столь ничтожная обида могла вызвать такую гневную речь. Он видел, что лицо его друга бледнее обычного, а глаза горят, как раскаленные уголья.

– Вы знаете, что я хочу сказать, Марч, – продолжал писатель запальчивой скороговоркой. – Вы это отлично знаете. В подзаголовке рассказа, напечатанного в сегодняшнем номере «Вестника», черным по белому значится: «Рассказ с привидениями». Смысл этого подзаголовка достаточно ясен. Каждый порядочный читатель поймет это как указание на известного рода условия, при которых он должен прочесть эту вещь.

Тот, кого назвали Марчем, чуть поморщился, затем улыбнулся и спросил:

– Что же это за условия? Я ведь, вы знаете, простой коммерсант и не привык разбираться в подобных вещах. Где, когда и как нужно читать ваш рассказ?

– Ночью – в одиночестве – при сальной свече. Есть ряд чувств, которые автор без особого труда может вызвать у читателя – например, сострадание, веселье. Я берусь почти в любой обстановке заставить вас плакать или хохотать. Но для того, чтобы рассказ, подобный этому, произвел на вас должное впечатление, нужно внушить вам страх – или по меньшей мере ощущение сверхъестественного, а это уже не так просто. Я вправе рассчитывать, что, если вы вообще хотите читать мои сочинения, вы пойдете мне навстречу и постараетесь облегчить доступ тем чувствам, которые я стремлюсь в вас вселить.

Тем временем трамвай прибыл на конечную станцию и остановился. Это был его первый дневной рейс, и никто не мешал разговору двух ранних пассажиров. Улицы были еще тихи и пустынны; гребни крыш едва позолотило встающее солнце. Друзья вышли из вагона и зашагали по тротуару; на ходу Марч испытующе поглядывал на своего спутника, которому, как это часто бывает с незаурядно одаренными литераторами, молва приписала разные гибельные пороки. Для мелких душонок – это способ отомстить выдающейся личности за ее превосходство. Мистер Колстон слыл писателем большого таланта. Есть люди, которые в простоте своей считают талант особой формой ненормальности. Известно было, что Колстон не пьет спиртного, но говорили, будто он курит опиум. В это утро

было в нем нечто такое – странный блеск глаз, необычная бледность, многословие и быстрота речи, – что вдруг заставило мистера Марча поверить этим слухам. Однако хоть он и видел болезненное возбуждение писателя, он был не столь бескорыстен, чтобы отказаться от разговора, который находил занимательным.

– Итак, вы хотите сказать, – начал он, – что, если я не поленюсь последовать вашим указаниям и все перечисленные условия – одиночество, ночь, сальная свеча – будут соблюдены, вам удастся самым страшным из ваших рассказов внушить мне неприятное ощущение сверхъестественного, как вы это называете? Я стану пугаться каждого шороха, у меня участиться пульс, по спине забегают ледяные мурашки, а волосы встанут дыбом?

Колстон внезапно обернулся и, не останавливаясь, пристально поглядел ему в глаза.

– Нет, вы не осмелитесь, у вас не хватит мужества, – сказал он, подчеркнув свои слова презрительным жестом. – Вы храбры, когда читаете мои произведения в вагоне трамвая, но в заброшенном доме – один, среди леса, ночью! Да у меня в кармане лежит рукопись, которая способна убить вас.

Марч рассердился. Он считал себя человеком мужественным, и эти слова задели его.

– Если у вас есть на примете подходящее место, – сказал он, – отправимся туда сегодня же вечером; вы дадите мне вашу рукопись и свечу и оставите меня одного. Когда пройдет столько времени, сколько нужно, чтобы прочесть рассказ, вы вернетесь за мной, и я перескажу вам его содержание – и дам вам хорошую взбучку.

Вот как случилось, что мальчик с фермы, заглянув ночью в разбитое окно дома Брида, увидел человека, сидевшего за столом перед огарком свечи.

Назавтра

На следующий день, когда солнце уже склонилось к западу, лесной дорогой шли трое мужчин и мальчик. Они приближались к дому Брида с той стороны, куда мальчик убежал минувшей ночью. Мужчины были, по-видимому, в самом веселом расположении духа; громко разговаривали, смеялись и то и дело подшучивали над мальчиком, добродушно

высмеивая его ночное приключение, в которое, очевидно, не склонны были верить. Мальчик невозмутимо слушал эти насмешки, не пытаясь возражать. У него был трезвый взгляд на вещи, и он понимал, что человек, утверждающий, будто он видел, как мертвец поднялся на ноги и задул свечу, не может считаться надежным свидетелем. Подойдя к дому и убедившись, что дверь не заперта, пришедшие, не мешкая, толкнули се и очутились в коридоре, куда выходили две другие двери, – одна слева, другая справа. Они вошли в комнату, расположенную слева, ту самую, где было разбито окно. Там на полу лежал труп.

Он лежал на боку, подогнув под себя руку, щекой касаясь пола. Глаза были широко раскрыты; не очень приятно было встретить их застывший взгляд. Челюсть отвалилась, у самого рта застыла натекшая лужица слюны. Опрокинутый стол, огарок свечи, стул и несколько исписанных листков бумаги – вот все, что еще находилось в комнате. Мужчины осмотрели тело, по очереди дотронувшись до лица. Мальчик с видом собственника стоял в головах. Никогда еще он не испытывал такой гордости. Один из мужчин назвал его «молодцом», и другие сочувственными кивками подтвердили его мнение. Это Скептицизм винился перед Реальностью. Затем один из мужчин подобрал с полу листки рукописи и подошел к окну, потому что в комнате сгущались уже вечерние тени. Послышался где-то протяжный крик козодоя, огромный жук, гудя, пронесся мимо окна и затих в отдалении. Державший рукопись начал читать.

Рукопись

«Прежде чем поступить согласно принятому решению – правильно оно или нет – и предстать перед судом творца моего, я, Джеймс Р. Колстон, считаю своим долгом журналиста сделать нижеследующее заявление. Мое имя, насколько я знаю, пользуется довольно широкой известностью как имя автора трагических повестей; но даже самому мрачному воображению недоступна та трагическая повесть, которую представляет собой история моей собственной жизни. Не о внешней стороне речь; жизнь моя была бедна делами и событиями. Но духовный мой путь отягощен преступлениями и убийствами. Не стану пересказывать их здесь – некоторые уже описаны, и о них можно будет прочесть в другом месте. Цель этих строк

объяснить всем, кому это может быть интересно, что я лишаю себя жизни сам, по собственной воле. Я умру ровно в полночь пятнадцатого июля – дата для меня знаменательная, ибо в этот именно день и час Чарлз Брид, мой друг, навсегда и навеки, исполняя данную мне клятву, вступил на тот самый путь, на который верность нашему обету призывает теперь и меня. Он покончил с собой в своем домике в Коптонском лесу. Вердикт присяжных гласил, как обычно: «временное помешательство». Если бы я давал показания на следствии, если бы я рассказал все, что знаю, сумасшедшим сочли бы меня «.

Здесь читавший сделал паузу, видимо для сокращения пробежав несколько строк одними глазами. Затем он снова стал читать вслух:

– »Мне остается еще неделя жизни, чтобы привести в порядок свои земные дела и приготовиться к великой перемене. Этого достаточно, так как дел у меня немного, и вот уже четыре года, как смерть стала для меня непреложным долгом.

Эту рукопись я буду носить при себе: обнаружившего ее на моем трупе прошу передать ее следователю. Джеймс Р. Колстон. Р. З. Уиллард Марч, сегодня в роковой день пятнадцатого июля, я передаю вам эту рукопись, с тем чтобы вы вскрыли ее и прочли при оговоренных условиях, в назначенном мною месте. Я отказываюсь от первоначального намерения хранить ее при себе в объяснение причин моей смерти, что не так уж существенно. Пусть она послужит объяснением вашей. По условию я должен прийти к вам среди ночи И удостовериться, действительно ли вы прочитали рукопись. Вы достаточно меня знаете, чтобы не сомневаться, что я сдержу слово. Но, друг мой, это будет после полуночи. Да помилует господь наши души! Дж. Р. К. Кто-то поднял и зажег свечу раньше, чем читавший дошел до конца рукописи. Покончив с чтением, последний спокойно поднес бумагу к пламени и, несмотря на протесты остальных, держал ее, пока она не сгорела дотла. Тот, кто это сделал и невозмутимо выслушал затем строгий выговор следователя, приходится зятем покойному Чарлзу Бриду. Следствию так и не удалось добиться от него связного рассказа о содержании документа.

Заметка из «Таймс»

«Вчера по определению судебно-медицинской экспертизы, помещен в лечебницу для душевнобольных мистер Джеймс Р. Колстон, популярный в известных кругах писатель, сотрудник «Вестника».

Мистер Колстон был взят под стражу вечером пятнадцатого числа сего месяца по настоянию одного из его соседей, который заметил, что он ведет себя в высшей степени подозрительно – расстегивает ворот, точит бритву, пробуя остроту лезвия у себя на руке и т. д. По прибытии полицейских властей несчастный всячески пытался сопротивляться и впоследствии также продолжал буйствовать, что вызвало необходимость надеть на него смирительную рубашку. Прочие сотрудники этой уважаемой газеты пока находятся на свободе».

Заколоченное окно

В 1830 году, всего в нескольких милях от того места, где сейчас вырос большой город Цинциннати, тянулся огромный девственный лес. В те времена все это. обширное пространство было населено лишь немногочисленными обитателями «фронтира»

– этими беспокойными душами, которые, едва успев выстроить себе в лесной чаще более или менее сносное жилье и достичь скудного благополучия, по нашим понятиям граничащего с нищетой, оставляли все и, повинуясь непостижимому инстинкту, шли дальше на запад, чтобы встретиться там с новыми опасностями и лишениями в борьбе за жалкие удобства, которые они только что добровольно отвергли. Многие из них уже покинули этот край в поисках более удаленных земель, но среди оставшихся все еще находился человек, который пришел сюда одним из первых. Он жил одиноко в бревенчатой хижине, со всех сторон окруженной густым лесом, и сам казался неотъемлемой частью этой мрачной и безмолвной лесной глухомани. Никто никогда не видел улыбки на его лице и не слышал от него лишнего слова. Он удовлетворял свои скромные потребности, продавая или обменивая шкуры диких животных в городе у реки. Ни единого злака не вырастил он на земле, которую мог при желании объявить своей по праву долгого и безраздельного пользования. Правда кое-что здесь свидетельствовало о попытках ее освоения: на примыкавшем к дому участке в несколько акров были когда-то вырублены все деревья. Но теперь их сгнившие пни почти невозможно было различить под новой порослью, которая восполнила опустошения, произведенные топором. Очевидно, земледельческое рвение поселенца угасло, оставив после себя лишь пепел какого-то страшного горя или раскаяния.

Покоробившаяся дощатая кровля хижины была скреплена поперечными жердями, труба сделана из брусьев, щели в стенах были замазаны глиной. В хижине имелась единственная дверь, а напротив двери – окно. Последнее, впрочем, было заколочено еще в незапамятные времена. Никто не знал, почему это было сделано, но во всяком случае, причиной тому послужило отнюдь не отвращение обитателя хижины к свету и воздуху. В тех редких случаях, когда какой-нибудь охотник проходил мимо

этого глухого места, он неизменно заставал отшельника греющимся на солнышке у порога хижины, если небо посылало ему ясную погоду. Теперь, наверное, осталось в живых два-три человека из тех, кто знает тайну этого окна, и, как вы сейчас увидите, я принадлежу к их числу.

Говорят, что звали этого человека Мэрлок. Он выглядел семидесятилетним стариком, хотя на самом деле ему не было и пятидесяти. Что-то помимо возраста состарило Мэрлока. Его волосы и длинная густая борода побелели, серые безжизненные глаза запали, частая сетка морщин избороздила лицо. Он был высок и худощав, плечи его согнулись, точно под бременем непосильной тяжести. Я никогда не видел его; все эти подробности я узнал от моего деда. От него же я еще мальчиком услышал историю Мэрлока. Мой дед знал его, так как в те годы жил неподалеку от его дома.

Однажды Мэрлока нашли в хижине мертвым. В тех местах тогда не водилось ни газет, ни следователей, а общественное мнение, вероятно, сошлось на том, что он умер естественной смертью. Будь здесь иная причина, мне рассказали бы, и я бы, конечно, ее запомнил. Знаю только, что люди, должно быть смутно ощущая взаимосвязь вещей, похоронили Мэрлока около хижины рядом с могилой его жены, умершей так много лет назад, что в местных преданиях не сохранилось о ней почти никаких следов. Тут кончается заключительная глава этой правдивой истории; следует лишь упомянуть о том. что спустя много лет я, в компании других столь же отчаянных храбрецов, частенько пробирался к дому Мэрлока и, отважно приблизившись к разрушенной хижине, швырял в нее камнем, а затем опрометью кидался прочь, чтобы избежать встречи с призраком, который, как известно было всякому хорошо осведомленному мальчику, бродил в этих местах. А теперь я приступаю к начальной главе этой истории, рассказанной моим дедом.

В ту пору, когда Мэрлок построил свою хижину и с помощью топора энергично принялся отвоевывать у леса участок земли для своей фермы, он был молод, крепок и полон надежд. На первых порах он добывал себе пропитание охотой. Мэрлок явился сюда с востока страны и, по обычаю всех пионеров, привез с собой жену, во всех отношениях достойную его искренней привязанности. Она охотно и с легким сердцем делила с ним все выпавшие на его долю опасности и лишения.

Имя ее не дошло до нас. Предания ничего не говорят о ее духовном и телесном очаровании, и скептик волен сомневаться на этот счет. Но упаси меня бог разделить эти сомнения! Каждый день из всех долгих лет вдовства этого человека мог служить доказательством былой любви и взаимного счастья супругов. Что, как не привязанность к священной памяти об умершей, обрекло этот неукротимый дух на подобный удел? Однажды Мэрлок, вернувшись с охоты, застал свою жену в бреду и лихорадке. На многие мили вокруг не было ни врача, ни вообще какого-либо человеческого жилья. Да к тому же и состояние жены не позволяло покинуть ее надолго, чтобы отправиться за помощью. И тогда Мэрлок решил сам выходить ее. Но к концу третьего дня она впала в беспамятство и скончалась, так и не придя в сознание. На основании того, что нам известно о подобных натурах, мы можем попытаться представить себе некоторые детали общей картины, нарисованной моим дедом. Поняв, что жена его мертва, Мэрлок, при всем своем горе, все-таки вспомнил, что мертвых принято обряжать для погребения. Выполняя эту священную обязанность, он время от времени путался; одно делал не так как нужно, другое по нескольку раз без необходимости переделывал. Промахи, которые он допускал при самых простых и обыденных действиях, изумляли его, подобно тому как приходит в изумление пьяный, которому кажется, что вдруг перестали действовать привычные, естественные законы природы. Он был так же удивлен тем, что не плакал, – удивлен и немного смущен. Ведь мертвых полагается оплакивать.

– Завтра, – вслух произнес он, – нужно будет вырыть могилу и сделать гроб. И тогда я потеряю ее навеки, потому что больше никогда не увижу ее. И сейчас... да, она, конечно, умерла, но все хорошо... По крайней мере должно быть хорошо. Все не так уж страшно, как кажется на первый взгляд.

Он стоял над умершей, освещенной слабым светом догорающей свечи, поправляя ей волосы и завершая ее несложный туалет. Все это он делал механически с какой-то бесстрастной заботливостью. И тем не менее его не покидала подсознательная уверенность, что все будет хорошо, все наладится и жена снова будет с ним. Ему еще никогда не приходилось переживать тяжкого несчастья, и он не умел предаваться горю. Сердце ею не в состоянии было вместить это горе так же., как воображение не способно было постичь всей

его глубины. Он не понимал, до какой степени поражен обрушившимся на него ударом; сознание этого должно было явиться позднее, чтобы уже никогда больше не покидать его. Горе вызывает к жизни силы столь разнообразные, как и инструменты, на которых оно играет свою погребальную песнь по умершему. У одной человеческой души оно исторгает резкие, пронзительные ноты, у другой – низкие, печальные аккорды, звучащие время от времени как медленные приглушенные удары в барабан. Некоторых людей горе будоражит, на иных действует отупляюще. Одних оно пронзает, словно стрела, возбуждая и обостряя чувства; других оглушает, словно удар дубиной, повергая в оцепенение.

Мы можем догадываться, что на Мэрлока оно подействовало именно так, потому что (и здесь мы переходим от догадок к достоверным фактам), едва закончив свое печальное дело, он тяжело опустился на табурет рядом со столом, на котором покоилось тело и смутно белели в темноте очертания лица. Положив руки на край стола, Мэрлок уронил на них голову. Он не плакал, но чувствовал невыносимую усталость. В это мгновение через открытое окно в комнату донесся чей-то жалобный вопль, точно плач ребенка, заблудившегося в глубине темного леса. Но Мэрлок даже не пошевельнулся. И снова, теперь уже гораздо ближе, донесся этот жуткий вопль, с трудом проникая в угасающее сознание человека. Быть может, то был крик дикого зверя, а может быть, он просто пригрезился Мэрлоку, потому что охотник крепко спал.

Спустя несколько часов, как выяснилось позднее, этот ненадежный страж пробудился, поднял голову и, сам не зная почему, стал внимательно прислушиваться. Он сразу вспомнил все, что произошло, и, сидя в кромешной тьме около трупа, напрягал зрение, чтобы увидеть, а что – он и сам не знал. Чувства его были напряжены, дыхание замерло; казалось кровь остановилась в жилах, чтобы не нарушать тишины. Кто или что разбудило его и где оно было?

Внезапно стол заколебался у него под руками, и в то же мгновение он услышал – или, может быть, ему почудилось? – легкие осторожные шаги, точно шлепанье босых ног по полу.

От ужаса Мэрлок не в силах был ни пошевельнуться, ни крикнуть. Волей-неволей ему пришлось ждать, ждать целую вечность, в кромешной тьме, в состоянии неописуемого страха, который если и можно пережить, то только для того, чтобы

рассказать о нем другим. Напрасно силился он выговорить имя умершей, безуспешно пытался протянуть руку, чтобы убедиться, что труп на месте. Язык не повиновался ему, руки и ноги были точно налиты свинцом. Затем произошло нечто еще более ужасное. Чье-то огромное тело стремительно ринулось к столу, толкнув его на Мэрлока и едва не опрокинув его. В тот же миг Мэрлок услышал, как что-то упало на пол, и от чудовищного удара задрожала вся хижина. Раздался шум борьбы и еще какие-то непередаваемо зловещие звуки. Мэрлок вскочил на ноги. Ужас окончательно лишил его самообладания. Он стал шарить руками по столу. Стол был пуст!

Бывают минуты, когда страх переходит в безумие. А безумие подстрекает к действию. Без всякой определенной цели, повинуясь лишь причудливому порыву сумасшедшего, Мэрлок подскочил к стене, ощупью нашел ружье и, не целясь, выстрелил в тем – – ноту. При вспышке, ярко озарившей комнату, он увидел громадную пантеру, которая, вцепившись зубами в горло мертвой женщины, тащила ее к окну. Затем наступила тишина и еще более непроглядная тьма.

Когда Мэрлок пришел в себя, ярко светило солнце и лес оглашался птичьим щебетом. Тело лежало у окна, там, где бросил его убежавший зверь, испуганный вспышкой и звуком выстрела. Руки и ноги трупа были раскинуты, платье сбилось, волосы спутались. Из ужасной рваной раны на горле натекла целая лужа крови, еще не успевшей свернуться. Ленты, связывавшие запястья, были разорваны, пальцы судорожно скрючены. В зубах у женщины торчал кусок уха пантеры.

Глаза пантеры

1. Не все безумные вступают в брак

Мужчина и женщина – природа позаботилась об этой встрече – в сумерки сидели на каменной скамье. Мужчина был средних лет, стройный, загорелый, как пират, задумчивый, как поэт, – человек, мимо которого не пройдешь, не оглянувшись. Женщина – молодая, белокурая, изящная; что-то в ее фигуре и движениях наводило на эпитет «гибкая». Она была в сером платье, усеянном причудливыми темными крапинками. Трудно было сказать, красива она или нет, ибо внимание прежде всего приковывали ее глаза: серо-зеленые, длинные, узкие, определить их выражение было невозможно. Но как бы то ни было, они вызывали тревогу. Такие глаза могли быть у Клеопатры.

Мужчина и женщина разговаривали. – Видит бог, – сказала женщина, – я люблю вас. Но выйти за вас замуж я не могу, нет, не могу.

– Айрин, вы мне это не раз говорили, но не сказали почему. Я имею право знать, хочу понять, почувствовать и доказать твердость духа, если это понадобится. Скажите же мне, почему?

– Почему я люблю вас? Женщина улыбалась, несмотря на слезы и бледность. Но мужчина не был расположен шутить. – Нет, это не требует объяснения. Почему вы отказываетесь выйти за меня замуж? Я имею право знать. Я должен знать. И я узнаю!

Он поднялся и стоял перед ней, сжав руки; его взгляд выражал упрек, может быть, даже угрозу. Казалось, в своем желании узнать причину он готов был задушить се.

Она больше не улыбалась, а пристально глядела ему прямо в глаза неподвижным, застывшим взглядом, не выражавшим никакого чувства. И все же что-то в ее взгляде укротило его негодование и заставило его вздрогнуть.

– Вы непременно хотите узнать? – спросила она тоном совершенно безразличным, который был как бы словесным выражением ее взгляда. – Непременно, – если я прошу не слишком много.

По-видимому, этот властелин готов был поступиться некоторой долей своей власти над подобным себе созданием. – Так знайте же: я безумна.

Мужчина вздрогнул, затем посмотрел на нес недоверчиво и подумал, что ему следует принять это за шутку. И опять чувство юмора изменило ему, и, несмотря на свое неверие, он был глубоко потрясен этим известием. Между нашими чувствами и убеждениями нет полной гармонии.

– То есть так сказали бы врачи, – продолжала она. – Если бы они об этом знали. Я предпочитаю называть себя «одержимой». Садитесь и выслушайте, что я вам расскажу.

Мужчина молча опустился на каменную скамью, стоявшую у края дороги. Против них на востоке холмы горели багрянцем заката, и вокруг стояла та особая тишина, которая обычно предвещает вечер. Какая-то частица этой таинственной и многозначительной торжественности передалась и настроению мужчины. Как в материальном, так и в духовном мире существуют знаки и предвестия ночи. Изредка встречая взгляд женщины и всякий раз при этом чувствуя, что, несмотря на кошачью прелесть, глаза ее внушают ему безграничный ужас, Джиннер Брэдинг молча выслушал рассказ Айрин Марлоу. Из уважения к читателю, у которого бесхитростное повествование неопытного рассказчика может вызвать предубеждение, автор берет на себя смелость заменить ее рассказ собственной версией.

2. Комната может быть слишком тесной для троих, хотя один находится снаружи

В небольшой бревенчатой хижине, состоявшей из одной бедной и просто обставленной комнаты, на полу, у самой стены, скорчившись сидела женщина, прижимая к груди ребенка. На много миль вокруг тянулся густой непроходимый лес. Была ночь, и в комнате стояла полная темнота: человеческий глаз не мог бы различить женщину с ребенком. И все же за ними наблюдали, пристально, неусыпно, ни на секунду не ослабляя внимания: это и есть стержень нашего рассказа.

Чарлз Марлоу принадлежал к совершенно исчезнувшей в нашей стране категории людей: к пионерам лесов – людям, считавшим наиболее приемлемой для себя обстановкой лесные просторы, тянувшиеся вдоль восточных склонов долины

Миссисипи от Больших озер до Мексиканского залива. Более ста лет эти люди продвигались на запад, поколение за поколением, вооруженные ружьем и топором, они отвоевывали у природы и диких ее детей то там, то здесь уединенный участок земли под пашню и почти немедленно уступали его своим менее отважным, но более удачливым преемникам, В конце концов, они пробивались сквозь леса и исчезали в долинах, словно проваливались в пропасть. Пионеров лесов уже не существует, пионеры равнин – те, кому выпала более легкая задача за одно поколение покорить и занять две трети страны, – принадлежат к другому, менее ценному разряду людей. Опасность, труды и лишения этой непривычной, не сулившей выгод жизни в лесной глуши разделяли с Чарлзом Марлоу его жена и ребенок, к которым он, как это свойственно было людям его класса, свято чтившим семейные добродетели, питал страстную привязанность. Женщина была еще молода и поэтому – миловидна, еще не почувствовала всей тяжести одинокой жизни и поэтому – весела. Не наделив ее чрезмерными требованиями к счастью, удовлетворить которые вряд ли могла уединенная жизнь в лесу, небо поступило с ней милостиво. Несложные домашние обязанности, ребенок, муж и несколько пустых книжек целиком заполняли ее время.

Однажды летним утром Марлоу снял с деревянного крюка ружье и выразят намерение пойти на охоту. – У нас хватит мяса, – сказала жена. – Прошу тебя, не уходи сегодня из дома. Ночью мне приснился сон, ужасный сон! Сейчас я не могу припомнить, что это было, но почти уверена – если ты уйдешь, сон сбудется. Как это ни печально, следует признать, что Марлоу отнесся к этому мрачному заявлению не столь серьезно, как следовало бы отнестись к предвестию грядущей беды. По правде говоря, он даже рассмеялся. – Постарайся вспомнить, – сказал он. – Может быть тебе приснилось, что малютка лишилась дара речи?

Такое предположение было вызвано, очевидно, тем, что младенец, цепляясь всеми своими десятью пальчиками за край его охотничьей куртки, в эту минуту выражал свое понимание происходившего радостным гуканьем при виде енотовой шапки отца.

Женщина промолчала: не обладая чувством юмора, она не нашлась, что ответить на его веселое подшучивание. Итак, поцеловав жену и ребенка, он вышел и навсегда закрыл дверь за своим счастьем.

Настал вечер, а он не вернулся. Жена приготовила ужин и стала ждать. Потом она уложила девочку в постель и потихоньку убаюкивала ее, пока та не заснула. К этому времени огонь в очаге, где она варила ужин, погас, и теперь комнату освещала только одна свеча. Женщина поставила свечу на открытое окно, как путеводный знак и привет охотнику, если он появится с той стороны. О привычке хищников входить в дом без приглашения она не была осведомлена, хотя с истинно женской предусмотрительностью могла бы предположить, что они могут появиться даже через трубу. Она тщательно закрыла дверь и заперла ее на засов, для защиты от диких зверей, которые предпочли бы дверь открытому окну. Ночь тянулась медленно, и, хотя тревога ее не уменьшалась, сонливость все усиливалась, и, наконец, она облокотилась на кроватку ребенка и склонила голову на руки. Свеча на окне догорела, зашипела, на секунду вспыхнула и незаметно погасла; женщина спала, и ей снился сон.

Ей снилось, что она сидит у колыбели другого ребенка. Первый умер. Отец тоже умер. Дом в лесу исчез, и комната в которой она теперь находилась, была ей незнакома. Здесь были тяжелые, дубовые двери, всегда запертые, а в окнах – железные прутья, вделанные в толстые каменные стены, очевидно (так она думала), для защиты против индейцев. Все это она отметила, ощущая бесконечную жалость к самой себе, но без удивления – чувства, незнакомого во сне. Ребенок в колыбели был прикрыт одеялом, и что-то заставило женщину откинуть его. Она так и сделала – и увидела голову дикого зверя! Пораженная этим ужасным зрелищем, она проснулась, вся дрожа, в своей темной лесной хижине.

Когда к ней постепенно вернулось сознание окружающей ее действительности, она ощупала ребенка, теперь уже не во сне, а наяву, и по его дыханию уверилась, что все благополучно; она не могла также удержаться и слегка провела рукой по его лицу. Затем, повинуясь какому-то побуждению, в котором она, вероятно, не могла дать себе отчета, она встала и, взяв ребенка на руки, крепко прижала его к груди. Колыбелька стояла изголовьем к стене, и женщина встав с места, повернулась к стене спиной. Подняв глаза, она увидела две ярких точки, горевших в темноте красновато-зеленым светом. Она подумала, что это два уголька в очаге, но, когда к ней вернулось чувство ориентации, она с тревогой поняла, что светившиеся точки

находятся в другой части комнаты, кроме того, слишком высоко, почти на уровне глаз – ее собственных глаз. Ибо это были глаза пантеры. Зверь, был за открытым окном, прямо против нее, не больше чем в пяти шагах. Не видно было ничего, кроме этих страшных глаз, однако, несмотря на смятение, охватившее ее при этом открытии, женщина все же поняла, что зверь стоит на задних лапах, опираясь передними на выступ окна. Это указывало на его злобное намерение, а не просто ленивое любопытство. Когда она это поняла, ее охватил еще больший ужас, усугубивший угрозу этих страшных глаз, неподвижный огонь которых испепелил всю ее силу и мужество. От их молчаливого вопроса она задрожала, и ей стало дурно. Колени подогнулись, и постепенно, инстинктивно, стараясь не делать резких движений, которые могли бы привлечь внимание зверя, она опустилась на пол, прижалась к стене, стараясь прикрыть ребенка всем своим дрожащим телом, не отводя в тоже время взгляда от светившихся зрачков, грозивших ей смертью. В эту мучительную минуту у нее не мелькнуло и мысли о муже – надежды на возможность спасения. Ее способность мыслить и чувствовать превратилась в один только страх перед прыжком пантеры, прикосновением ее тела, ударом ее сильных лап, ощущением на горле зубов зверя, терзающих ее ребенка. Неподвижно, в полной тишине ждала она свершения своей судьбы, минуты превращались в часы, в годы, в вечность, и злобные глаза были все также устремлены на нее.

Подойдя к хижине поздно вечером с оленем на спине, Чарлз Марлоу толкнул дверь. Она не поддалась. Он постучал – ответа не последовало. Он сбросил на землю оленя и пошел к окну. Когда он огибал угол дома, ему почудился звук осторожных шагов и шорох в лесной поросли, но даже для его опытного уха звук был слишком слаб, чтобы быть вероятным. Подойдя к окну и найдя его, к своему удивлению, открытым, он перекинул ногу через подоконник и влез в комнату. Мрак и тишина. Он ощупью дошел до очага, чиркнул спичкой и зажег свечу. Потом огляделся. Скорчившись на полу, у самой стены, сидела его жена, прижимая к груди ребенка. Когда он бросился к ней, она поднялась и разразилась хохотом, громким, протяжным и безжизненным, лишенным веселья, лишенным смысла, – хохотом, похожим на лязг цепей. Едва соображая, что он делает,

он протянул руки. Она положила на них ребенка. Он был мертв – задохнулся насмерть в материнских объятиях.

3. Теория, выдвинутая защитой

Вот что случилось однажды ночью в лесу, но Айрин Марлоу рассказала Джиннеру Брэдингу не все; да и не все было ей известно, Когда она закончила свой рассказ, солнце уже скрылось за горизонтом, и длинные летние сумерки начали сгущаться в лощинах. Несколько минут Брэдинг сидел молча, ожидая, что последует продолжение рассказа, которое как-то свяжет его с предшествующим разговором; но рассказчица, так же как и он, молчала, отвернувшись от него; руки ее, лежавшие на коленях, сами собой сжимались и разжимались, как бы внушая мысль о действиях, не зависящих от ее воли.

– Да, это печальная, ужасная история, – сказал наконец Брэдинг, – но я ничего не понимаю. Вы зовете Чарлза Марлоу отцом – это я знаю. Что он состарился преждевременно, под влиянием какого-то большого несчастья, это я заметил, или мне казалось, что заметил. Но вы сказали, простите, вы сказали, что вы, что вы...

– Что я безумна, – сказала девушка, не поворачивая головы и не двигаясь.

– Но вы же сказали, Айрин, я прошу вас, дорогая, не смотрите куда-то в сторону, – вы сказали, что ребенок умер, а не сошел с ума.

– Да, тот первый, а я второй ребенок. Я родилась через три месяца после той ночи. Небо смилостивилось над моей матерью и позволило ей умереть, дав жизнь мне.

Брэдинг снова умолк; он был ошеломлен и сразу не мог придумать, что сказать. Ее глаза по-прежнему смотрели куда-то в сторону. В замешательстве, он невольно потянулся к ее рукам, которые по-прежнему лежали на коленях, сжимаясь и разжимаясь, но что-то – он не мог сказать, что именно, – удержало его. Тут он смутно припомнил, что ему никогда не хотелось взять ее за руку.

– Может ли быть, – сказала она, – чтобы ребенок, родившийся при таких обстоятельствах, был таким же, как все, – то, что называется в здравом уме.

Брэдинг не отвечал; его занимала новая мысль, возникшая в его мозгу, мысль, которую ученый назвал бы гипотезой, сыщик

– ключом к разгадке. Она могла бы пролить новый свет, хотя и зловещий, на те сомнения в ее душевном здоровье, которых не рассеяли ее слова.

Поселки в этих местах возникли совсем недавно и были очень редки. Профессионал охотник был в те времена еще обычной фигурой, и среди его трофеев встречались головы и шкуры крупных хищников. Ходили более или менее достоверные рассказы о ночных встречах с дикими зверями на пустынных дорогах; рассказы эти претерпевали обычные стадии расцвета и упадка и затем забывались. За последнее время, вдобавок к этим апокрифическим сказаниям, во многих семействах, по-видимому, сама собой возникла легенда о пантере, напугавшей несколько человек, когда ночью она заглядывала к ним в окна. Рассказ этот вызвал у многих легкое волнение и даже удостоился внимания местной газеты; но Брэдинг не придал ему значения. Сходство с только что выслушанным рассказом навело его на мысль, что, возможно оно не случайно. Разве не могла одна история породить другую, и, найдя благоприятную почву в больном мозгу и богатом воображении, вырасти до пределов трагического повествования, которое он только что выслушал. Брэдинг припомнил некоторые обстоятельства жизни и особенности характера молодой девушки, которыми он со свойственным любви отсутствием любопытства до сих пор не интересовался, – как, например, их уединенную жизнь с отцом, и то, что, по-видимому, в их доме никто никогда не бывал, и ее необъяснимую боязнь темноты; этой боязнью люди, хорошо ее знавшие, объясняли то, что с наступлением ночи она нигде не показывалась. Вполне понятно, что запавшая в ее сознание искра могла разгореться в таком мозгу безудержным пламенем, охватывая все существо. В ее безумии, хотя эта мысль и причиняла ему острую боль, он больше не сомневался; она спутала последствия своего умственного расстройства с его причиной, связав свою собственную историю с выдумкой местных баснословов. С каким-то смутным намерением – проверить свою новую теорию – и не вполне ясно представляя себе, как за это взяться, он сказал серьезно, но с некоторой нерешительностью:

– Айрин, дорогая, скажите мне, прошу вас, только не сердитесь, скажите мне...

– Я сказала вам все, – прервала она с горячностью, которой он раньше за ней не замечал, – я сказала вам, что не могу быть вашей женой. Что мне еще сказать?

Прежде чем он успел задержать ее, она вскочила со скамьи и молча, не взглянув на него, крадучись, стала пробираться между деревьями, направляясь к своему дому. Брэдинг встал, чтобы остановить ее; он молча следил за нею, пока она не скрылась во мраке. Вдруг он пошатнулся, словно пораженный пулей; на его лице появилось выражение тревоги и изумления: во мраке, там, где она скрылась, он увидел быстро мелькнувшие сверкающие, глаза! Секунду он простоял растерянный, в оцепенении, затем бросился следом за ней в лес, с криком: «Айрин, Айрин, погодите! Пантера! Пантера!».

Он быстро выбежал на открытое пространство и увидел мелькнувшую в дверях серую юбку девушки. Пантеры нигде не было.

4. Апелляция к высшей справедливости

Джиннер Брэдинг, юрист, жил в коттедже на самой окраине города. Как раз за его домом начинался лес. Будучи холостяком и, следовательно, по существовавшему тогда в тех краях драконовскому кодексу морали, лишенный возможности пользоваться услугами горничной или кухарки – о мужской прислуге там и не слыхали, – Брэдинг столовался в гостинице, где помещалась и его контора. Примыкавший к лесу коттедж был выстроен, конечно, без особых затрат, являясь лишь очевидным доказательством его благосостояния и респектабельности. Едва ли удобно было тому, кого местная газета с гордостью называла «выдающимся юристом нашего времени», быть «бездомным», хотя он, возможно, и подозревал, что можно иметь дом и все-таки остаться бездомным. Из сознания этого различия логически вытекала потребность его сгладить, – ходили слухи, что вскоре после постройки дома владелец его предпринял тщетную попытку жениться, окончившуюся тем, что он получил отказ от красивой, но эксцентричной дочери затворника – старика Марлоу. Все считали это вполне достоверным, так как он сам говорил об этом, а она ничего не говорила – обычно бывает наоборот, так что в данном случае сомнений ни у кого не возникало.

Спальня Брэдинга была в задней части дома, и единственное окно выходило в лес. Однажды ночью его разбудил шорох у окна; трудно было определить, что это такое. Чувствуя легкую нервную дрожь, он сел в постели и взял в руки пистолет, который он положил под подушку с предусмотрительностью, далеко не лишней у человека, привыкшего спать с открытым окном. В комнате была совершенная темнота, но он не испытывал никакого страха и, зная в каком направлении надо смотреть, смотрел туда и молча ждал, что будет дальше. Теперь он смутно различал окно – менее темный квадрат. И вдруг над нижним его краем появилась пара горящих глаз, светившихся злобным, невыразимо страшным блеском! Сердце Брэдинга бешено заколотилось, потом словно замерло. По спине пробежал озноб. Он чувствовал, как от лица отлила вся кровь. Он не мог бы закричать даже ради спасения своей жизни; будучи, однако, человеком отважным, он не стал бы кричать ради спасения своей жизни, даже если бы и мог. Трусливое тело могло дрожать, но дух был крепок. Медленно поднимались сверкающие глаза, они, казалось, приближались, и медленно поднималась правая рука Брэдинга, державшая пистолет. Он выстрелил.

Ослепленный вспышкой и оглушенный отдачей, Брэдинг все же услышал, или ему только почудилось, что он услышал дикий, пронзительный крик пантеры, прозвучавший так по-человечески и полный такого зловещего смысла. Соскочив с постели, он поспешно оделся и с пистолетом в руке выскочил на улицу, навстречу подбегавшим к дому людям. Последовало краткое объяснение, и затем дом был тщательно обыскан. Трава была сырая от росы; под самым окном она была примята, извилистый след, который можно было различить при свете фонаря, вел в кусты. Один из мужчин споткнулся и упал на руки; когда он поднялся и начал вытирать их, они оказались липкими. При осмотре обнаружилось, что они были в крови.

Возможность встречи с раненой пантерой им – невооруженным – была не по вкусу; все, кроме Брэдинга, повернули обратно. Он же, захватив фонарь, отважно двинулся дальше в лес. Пробравшись сквозь густой кустарник, он вышел на небольшую луговину, и здесь его отвага была вознаграждена, ибо он настиг свою жертву. Но это была не пантера. О том, что это было, и сейчас еще говорит источенная непогодой плита на деревенском кладбище, и немало лет об этом повествовала

склоненная фигура и изборожденное горем лицо старика Марлоу, да будет его душе и душе его безумной, несчастной дочери мир. Мир и воздаяние!

Из сборника «Может ли это быть»

Тайна долины Макарджера

Милях в девяти от Индийского холма, на северо-западе, лежит долина Макарджера. Это, собственно, даже и не долина, а просто ложбинка между двумя невысокими лесистыми склонами. Расстояние от устья до верховьев (ведь долины, как и реки, имеют свое определенное строение) не превышает двух миль, а ложе в самом широком месте чуть больше дюжины ярдов. Всю ширину долины занимает небольшой ручей, полноводный в зимнюю пору и высыхающий ранней весной; так что лишь водное русло отделяет друг от друга два пологих склона, заросших непроходимым колючим кустарником и толокнянкой. Ни одна живая душа не заглядывает в долину Макарджера, разве только случайно забредет сюда кто-нибудь из наиболее предприимчивых окрестных охотников. За пять миль от этого места даже название его никому не известно. Впрочем, в тех краях можно найти много безымянных географических достопримечательностей, гораздо более интересных, чем долина Макарджера, и вы напрасно стали бы расспрашивать местных жителей о происхождении именно этого названия.

Если двигаться от устья в глубь долины, то на полпути можно обнаружить еще одну долину с коротким сухим ложем, перерезывающую горный склон справа. Пересечение двух долин образует площадку в два-три акра. На ней несколько лет назад находился полуразвалившийся дощатый домик, состоявший всего из одной комнаты. Каким образом удалось построить хижину, пусть даже незатейливую и маленькую, в столь неприступном месте, – это загадка, разрешение которой утолило бы ваше любопытство, но едва ли принесло бы вам какую-либо пользу. Возможно, нынешнее ложе ручья было когда-то дорогой. Известно только, что в этой долине одно время велись довольно тщательные горные изыскания, а стало быть, сюда должны были каким-то образом добираться рудокопы и вьючные животные с инструментом и продовольствием. По всей вероятности, прибыль от разработок

не оправдывала тех затрат, которые понадобились бы на то, чтобы соединить долину Макарджера с каким-нибудь центром цивилизации, знаменитым своим лесопильным заводом. Как бы там ни было, в долине сохранился домик, или, вернее, значительная часть его. В хижине отсутствовали дверь и окно, а сложенная из камней и глины труба превратилась в непривлекательную бесформенную груду, густо заросшую дерном. Скудная мебель, которая, вероятно, находилась когда-то в домике, пошла на топливо для охотничьих костров, так же как и большая часть нижних досок обшивки. Эта же судьба постигла, должно быть, и колодезный сруб, ибо в то время, о котором идет речь, от колодца оставалась лишь довольно широкая, но не слишком глубокая яма неподалеку от хижины.

Однажды летним днем 1874 года я проходил долину Макарджера, двигаясь по высохшему руслу ручья из другой, более узкой долины. Я охотился на перепелов, и в сумке у меня лежало уже около дюжины птиц, когда я достиг описываемой хижины, о существовании которой доселе и не подозревал. Бегло осмотрев разрушенный домик, я продолжал охоту, и так как мне на сей раз необыкновенно везло, я задержался и этой долине почти до заката солнца. Тут только я вспомнил, что ушел довольно далеко от человеческого жилья и не успею найти пристанище до наступления ночи. Но в моей охотничьей сумке было вдоволь еды, а старый дом мог вполне послужить мне приютом, если он вообще требуется в теплую и сухую ночь в горах Сьерра Невады, где можно без всяких одеял отлично выспаться на ложе из сосновой хвои. Я люблю одиночество, мне нравятся летние ночи, и потому я без особых колебаний решил разбить здесь лагерь. До наступления темноты у меня уже готова была в углу комнаты постель из веток и листьев, а на огне жарился перепел. Из разрушенного очага тянуло дымом, пламя мягко освещало комнату. Сидя за скромным ужином из дичи и допивая остатки вина, которым мне, за неимением воды, весь день пришлось утолять жажду, я наслаждался довольством и покоем, какие не всегда доставляет нам даже более изысканный стол и комфортабельное жилище.

И тем не менее что-то было не так. Я ощущал довольство и покой, но не чувствовал себя в безопасности. Я поймал себя на том, что чаще, чем нужно, посматриваю на пустые проемы окна и двери. Глядя в черноту ночи, я не мог избавиться от какой-то непонятной тревоги. Воображение мое наполняло мир, лежащий

за пределами хижины, враждебными мне существами реальными и сверхъестественными. Самыми главными среди них были медведь гризли, который, как я знал, все еще встречается в тех местах и призраки которых, как я имел все основания думать, едва ли можно было здесь встретить. К сожалению, наши чувства не всегда считаются с теорией вероятности, и меня в этот вечер одинаково страшило как возможное, так и невозможное.

Каждый, кому приходилось когда-либо бывать в подобной обстановке, вероятно, замечал, что по ночам боязнь действительной и воображаемой опасности не так велика под открытым небом, как в доме с распахнутой дверью. Я понял это, когда лежал на постели из листьев в углу комнаты, следя за медленно догорающим огнем. И как только в очаге угасла последняя искра, я, схватив лежавшее рядом ружье, направил дуло на теперь уже совершенно невидимый дверной проем. Палец мой лежал на взведенном курке, дыхание замерло, каждый мускул во мне был напряжен. Спустя некоторое время я отложил ружье, испытывая стыд и унижение. Чего мне пугаться? И с какой стати? Мне, которому

Лик ночи более знаком,
Чем лик людской...

Мне, который, по своей врожденной склонности к суевериям, свойственной в той или иной степени любому из нас, всегда умел находить особую прелесть и очарование в одиночестве, мраке и безмолвии! Мой бессмысленный страх был для меня загадкой, и, размышляя над ней, я незаметно погрузился в дремоту. И тут я увидел сон.

Я находился в большом городе, в чужой стране. Люди здесь были какой-то родственной мне нации и лишь незначительно отличались по одежде и языку. И все же я не мог сказать, кто они такие. Я воспринимал их смутно, как сквозь туман. В центре города высился огромный замок. Я знал, как он называется, но не мог выговорить названия. Я шел какими-то улицами. Они были то широкие и прямые, с большими современными зданиями, то мрачные и извилистые, зажатые между островерхими старинными строениями. Нависающие верхние этажи, украшенные искусной резьбой по дереву и камню, почти сходились у меня над головой.

Я искал кого-то, кого никогда не видел, но тем не менее я был уверен, что, найдя, сразу же узнаю его. Поиски мои не были бесцельными или беспорядочными. В них была определенная методическая последовательность. Я без колебаний сворачивал с одной улицы на другую и, нисколько не боясь заблудиться, петлял по лабиринту узких переулков.

Наконец я остановился перед низенькой дверью скромного каменного домика, по всей вероятности, жилища какого-нибудь ремесленника из тех, что побогаче. Я вошел, не постучавшись. В комнате, довольно скудно обставленной и освещенной единственным окном из ромбовидных стекол, находились двое – мужчина и женщина. Они не обратили ни малейшего внимания на мое вторжение – во сне такие вещи кажутся вполне естественными. Мужчина и женщина не разговаривали между собою; они просто сидели, угрюмые и неподвижные, в разных углах комнаты.

Женщина была молодая и довольно полная. Она отличалась какой-то строгой красотой, у нее были прекрасные большие глаза. Весь ее облик чрезвычайно живо запечатлелся в моей памяти, но лица ее я не запомнил: во сне человек не замечает таких деталей. На плечи женщины был наброшен клетчатый плед. Мужчина выглядел гораздо старше ее. Его смуглое свирепое лицо казалось еще более отталкивающим из-за длинного шрама, тянувшегося наискось от виска до черных усов. Во сне мне казалось, что шрам не врезался в лицо, а точно маячит перед ним – по-иному я не могу это выразить – как нечто самостоятельное. В тот самый момент, как я увидел эту пару, я понял, что они муж и жена.

Что произошло дальше, я помню смутно. Все вдруг спуталось, смешалось. Очевидно, это были проблески пробуждающегося сознания. Казалось, картина моего сна и мое реальное окружение соединились, накладываясь одно на другое, пока наконец первое, постепенно бледнея, не исчезло совсем. И тогда я окончательно проснулся в заброшенной хижине, полностью осознав, где я и что со мной.

Мои глупые страхи исчезли. Открыв глаза, я увидел, что огонь не погас, а, напротив, разгорелся с новой силой от упавшей в очаг ветки. В хижине опять стало светло. Я, должно быть, задремал всего на несколько минут, но мой, в общем довольно банальный, сон почему-то произвел на меня сильное впечатление, и мне совершенно расхотелось спать. Вскоре я

встал, сгреб в кучу тлеющие угли и, закурив трубку, принялся самым нелепым образом рассуждать сам с собою над тем, что мне пригрезилось.

В то время я затруднился бы сказать, почему этот сон представлялся мне достойным внимания. Стоило мне лишь серьезно вдуматься в него, как я узнал город моего сна. Это был Эдинбург. Я никогда в нем не бывал. И если этот сон был воспоминанием, то лишь воспоминанием об увиденном на фотографиях или прочитанном в книгах. То, что я узнал город, почему-то глубоко поразило меня. Что-то в моем сознании, вопреки рассудку и воле, твердило мне, что все это имеет чрезвычайно важное значение. И та же непонятная сила приобрела власть над моей речью.

– Ну, конечно, – громко произнес я совершенно помимо своей воли, – Мак-Грегоры, должно быть, приехали сюда из Эдинбурга.

В тот момент ни слова эти, ни то, что я их произнес, не вызвали у меня ни малейшего удивления. Казалось вполне естественным, что мне знакомы имена увиденных во сне людей и известна их история. Но вскоре нелепость этих рассуждений дошла до моего сознания. Я громко рассмеялся, выбил из трубки золу и снова растянулся на своем ложе из веток и листьев. Я лежал, рассеянно глядя на догорающий огонь, и не думал больше ни о моем сне, ни о том, что меня окружало. Наконец последний язычок пламени вспыхнул, вытянулся вверх и, отделившись от тлеющих углей, растаял в воздухе. Наступила полная темнота.

Не успел померкнуть последний отблеск огня, как в то же мгновение послышался глухой стук, точно от падения тяжелого тела, и пол подо мною задрожал. Я рывком сел и стал ощупью искать лежавшее рядом ружье. Мне показалось, что какой-то дикий зверь прыгнул в хижину через окно. Шаткий домишко все еще содрогался, когда я вдруг услыхал звуки ударов, шарканье ног по полу, а затем, совсем близко от меня, чуть ли не на расстоянии вытянутой руки – пронзительный крик женщины, выдававший смертельную муку. Такого страшного вопля мне никогда еще не доводилось слышать. Он буквально парализовал меня. Некоторое время я не ощущал ничего, кроме охватившего меня ужаса. К счастью, в этот момент пальцы мои нащупали ружье, и знакомый холодок ствола несколько успокоил меня. Я вскочил на ноги и, напрягая зрение, стал

вглядываться во тьму. Неистовые вопли умолкли, но вместо этого я услыхал нечто еще более жуткое – хрипы и тяжелое дыхание умирающего существа!

Когда глаза мои привыкли к темноте, я стал различать при слабом свете тлеющих углей очертания темных провалов двери и окна. Затем явственно проступили во мраке стены и пол, и наконец я смог разглядеть всю комнату, все ее углы. Но кругом было пусто. Тишина больше ничем не нарушалась.

Слегка дрожащей рукой я кое-как развел огонь (другая рука все еще сжимала ружье) и снова внимательно исследовал помещение. Нигде не было ни малейших признаков того, что сюда кто-то заходил. На пыльном полу отпечатались следы только моих башмаков; никаких других следов не было видно. Я снова раскурил трубку и, отодрав от внутренней стены несколько досок, – выйти в темноте за дверь я не решился, – подбросил в огонь топлива. Весь остаток ночи я просидел у очага, пыхтя трубкой, размышляя и поддерживая огонь. Ни за какие блага в мире не дал бы я теперь снова погаснуть этому маленькому язычку пламени.

Спустя несколько лет я встретился в Сакраменто с неким Морганом. У меня было к нему рекомендательное письмо от друга из Сан-Франциско. Обедая у него, я заметил на стенах различные трофеи, свидетельствовавшие о том, что хозяин дома – заядлый охотник. Оказалось, что так оно и было. Рассказывая о своих охотничьих подвигах, Морган упомянул о краях, где со мною произошла когда-то странная история.

– Мистер Морган, – внезапно спросил я, – не приходилось ли вам слышать о местности, которая называется долиной Макарджера?

– Еще бы! – ответил он. – Ведь это я в прошлом году нашел там скелет и поместил об этом сообщение в газетах.

Мне про это ничего не было известно. Очевидно, сообщение появилось в тот период, когда я находился на Востоке.

– Кстати, – заметил Морган, – название долины не совсем точно, ее следовало бы назвать долиной Мак-Грегора... Дорогая, – обратился он к жене, – мистер Элдерсон расплескал немного свое вино.

Это было слишком мягко сказано. Бокал с вином просто-напросто выпал у меня из рук.

– Когда-то в этой долине стояла старая хижина, – продолжал мистер Морган, когда беспорядок, причиненный моей

неловкостью, был ликвидирован. Но незадолго до моего появления в тех местах домик был взорван; вернее, он был начисто уничтожен взрывом. Повсюду были раскиданы обломки дерева. Доски пола разошлись, и в щели между двумя уцелевшими половицами я и мой спутник нашли обрывок клетчатого пледа. Присмотревшись, мы увидели, что он обернут вокруг плеч женского трупа, от которого остался лишь скелет, кое-где покрытый клочьями одежды и ссохшейся коричневой кожи. Однако пощадим чувства миссис Морган, – с улыбкой прервал себя хозяин дома.

И в самом деле, эта леди, слушая рассказ, обнаруживала скорее отвращение, чем сочувствие.

– Тем не менее необходимо добавить, – продолжал. мистер Морган, – что череп был проломлен в нескольких местах каким-то тупым орудием. И само это орудие –, рукоятка кайлы, покрытая пятнами крови, – лежало тут же, под досками пола.

Мистер Морган обернулся к жене:

– Прости меня, дорогая, – сказал он с подчеркнутой торжественностью, – за перечисление всех этих отвратительных подробностей естественного, хотя и прискорбного эпизода супружеской ссоры, безусловно вызванной непослушанием несчастной жены..

– Мне давно уже следовало не обращать на это внимания, – хладнокровно ответила она. – Ведь ты столько. раз просил меня о том же и в тех же самых выражениях.

Мне показалось, что мистер Морган обрадовался возможности продолжать рассказ.

– На основании этих, а также ряда других фактов понятые пришли к заключению, что покойная Джанет Мак-Грегор скончалась от ударов, нанесенных ей неизвестным лицом. Однако было отмечено, что серьезные улики указывают на ее мужа, Томаса Мак-Грегора, как на виновника этого злодеяния. Но Томас Мак-Грегор исчез бесследно, и никто о нем больше никогда не слышал. Выяснилось, что супруги прибыли из Эдинбурга, и... дорогая, разве ты не видишь, что у мистера Элдерсона в тарелке для костей оказалась вода?

Я уронил цыплячью ножку в полоскательницу.

– В комоде я нашел фотографию Мак-Грегора, но и она не помогла отыскать преступника.

– Можно мне взглянуть? – спросил я.

С фотографии смотрело свирепое смуглое лицо, которое казалось еще более отталкивающим из-за длинного шрама, тянувшегося наискось от виска до длинных усов.

– Кстати, мистер Элдерсон, – заметил мой любезный хозяин. – Позвольте узнать, почему вы спросили меня о долине Макарджера?

– У меня там когда-то потерялся мул. И эта потеря... очень расстроила меня.

– Дорогая, – сказал мистер Морган с бесстрастностью добросовестного переводчика, – потеря мула заставила мистера Элдерсона наперчить свой кофе.

– Я не так суеверен, как вы, врачи, – люди науки, как вы любите себя называть, – сказал Хоувер, отвечая на невысказанное обвинение. – Кое-кто из вас – правда, немногие – верит в бессмертие души и в то, что нам могут являться видения, которые у вас не хватает честности назвать просто привидениями. Я же только утверждаю, что живых иногда можно видеть там, где их сейчас нет, но где они раньше были, – где они жили так долго и так, я бы сказал, интенсивно, что оставили отпечаток на всем, что их окружало. Я достоверно знаю: личность человека может настолько запечатлеться в окружающем, что даже долго спустя его образ может предстать глазам другого человека. Но, конечно, это должна быть личность, способная оставить отпечаток, и глаза, способные его воспринять, – например, мои.

– Да, глаза, способные воспринять, и мозг, способный превратно истолковать воспринятое, – с улыбкой сказал доктор Фрейли.

– Благодарю вас. Всегда приятно, когда твои ожидания сбываются, – а это как раз та степень любезности, которой я мог ожидать от вас.

– Прошу прощенья. Но вы скатывали, что знаете достоверно. Таких слов не бросают на ветер. Может быть, вы расскажете, откуда у вас эта уверенность?

– Вы это назовете галлюцинацией, – сказал Хоувер, – но все равно.

И он начал свой рассказ:

– Прошлым летом я, как вы знаете, поехал в городок Меридиан, намереваясь провести там самую жаркую пору. Мой родственник, у которого я думал остановиться, захворал, и мне пришлось искать себе другое пристанище. После долгих поисков я наконец нашел свободное помещение-дом, в котором некогда жил чудаковатый доктор по фамилии Маннеринг; потом он уехал, куда – никто не знал, даже тот, кто, по его поручению, присматривал за домом.

Маннеринг сам построил этот дом и прожил в нем почти десять лет вдвоем со старой служанкой. Практика у него всегда была небольшая, а вскоре он ее совсем бросил. Мало того, он совершенно удалился от общества и жил настоящим

анахоретом. Деревенский врач, единственный, с кем он поддерживал общение, рассказывал мне, что эти годы отшельничества он посвятил научному исследованию и даже написал целую книгу, но труд этот не заслужил одобрения со стороны его собратьев по профессии. Они считали, что Маннеринг немного по – ' мешан. Сам я не видел этой книги и сейчас не помню ее заглавия, но мне говорили, что в ней он излагал до –, вольно оригинальную теорию. Он утверждал, что в некоторых случаях бывает возможно предсказать заранее смерть человека, хотя бы тот сейчас пользовался цветущим здоровьем, и срок этот можно исчислить с большой точностью. Самый длительный срок для такого предсказания он, кажется, определял в восемнадцать – месяцев. Хранители местных преданий рассказывали, что он не раз ставил такие прогнозы, или, может быть, правильнее сказать, диагнозы, и утверждали, что в каждом случае то лицо, чьих близких он предупредил, умирало в указанный день, и притом без всякой видимой причины. Все это, впрочем, не имеет отношения к тому, о чем я хочу рассказать: я просто подумал, что вас, как врача, это может позабавить.

Дом сдавался с обстановкой, которая сохранилась в полной неприкосновенности еще с тех дней, когда там жил доктор. Это было, пожалуй, слишком мрачное жилище для человека, не склонного ни к отшельничеству, ни к научным трудам, и мне кажется, что дух этого дома, или, верней, дух его прежнего обитателя, оказал влияние и на меня, ибо, когда я там находился, мною неизменно овладевала меланхолия, вовсе мне не свойственная. Не думаю, чтобы ее можно было объяснить просто одиночеством: правда, ночью я оставался совсем один – прислуга спала не в доме, – но я никогда не скучаю наедине с самим собой, так как чтение составляет мое любимое занятие. Одним словом, каковы бы ни были причины, а результатом была подавленность и какое-то чувство неотвратимой беды; особенно тяжким оно становилось в кабинете доктора Маннеринга, хотя это была самая светлая и веселая комната в доме. Здесь висел портрет доктора Маннеринга масляными красками, в натуральную величину, и все в комнате, казалось, сосредоточивалось вокруг него. В портрете не было ничего необычайного; на нем был изображен человек лет пятидесяти, довольно приятной внешности, с бритым лицом и темными глазами, с проседью в черных волосах. Но почему-то портрет

притягивал к себе, от него трудно было оторваться. Лицо человека на портрете не покидало меня, – можно сказать, что оно меня преследовало.

Однажды вечером я проходил через эту комнату, направляясь в спальню с лампой в руках, – в Меридиане не было газового освещения. Как всегда, я остановился перед портретом: при свете лампы он, казалось, приобрел какое-то новое выражение, – трудно сказать, какое именно, но, во всяком случае, таинственное. Это возбудило мое любопытство, не внушив, однако, тревоги. Я стал двигать лампой из стороны в сторону, наблюдая различные эффекты от перемены освещения. Поглощенный этим занятием, я вдруг почувствовал желание оглянуться.

Я это сделал и увидел, что по комнате прямо ко мне идет человек. Когда он приблизился настолько, что свет от лампы озарил его лицо, я увидел, что это сам доктор Маннеринг. Как будто портрет сошел со стены!

– Простите, – сказал я с некоторой холодностью. – Очевидно, я не слышал, как вы постучали.

Он прошел мимо на расстоянии двух шагов, поднял палец, как будто предостерегая меня, и, не промолвив ни слова, вышел из комнаты – куда и как, мне не удалось заметить, так же как я не заметил его прихода.

Мне, конечно, незачем объяснять вам, что происшедшее было то, что вы называете галлюцинацией, а я видением. Дверей в комнате было только две: одна была заперта на ключ, а вторая вела в спальню, которая не имела другого выхода. Что я почувствовал, когда это сообразил, не относится к делу.

Вы, надо полагать, сочтете это банальной историей с привидениями, построенной по правилам, установленным классиками этого жанра. Будь это так, я не стал бы рассказывать, даже если бы она случилась со мной на самом деле. Но человек этот не был призраком; он жив. Я встретил его сегодня на Юнион-стрит. Он прошел мимо меня в толпе.

Хоувер кончил свой рассказ. Несколько минут оба собеседника молчали. Доктор Фрейли рассеянно барабанил пальцами по столу.

– Он сегодня что-нибудь сказал? – спросил он. Что-нибудь такое, из чего можно было заключить, что он не мертв?

Хоувер уставился на доктора и ничего не ответил..

– Может быть, он сделал какой-нибудь знак? – продолжал Фрейли. Какой-нибудь жест? Может быть, поднял палец? У него была такая привычка, когда он собирался сказать что-нибудь важное, – например, когда он ставил диагноз.

– Да, он поднял палец – совершенно так, как тогда мое видение. Но – боже мой! – вы, стало быть, его знали?

Хоувер, видимо, начинал волноваться.

– Я знал его. И я прочитал его книгу – когда-нибудь каждый врач ее прочитает. Его поразительное открытие-это первостепенной важности вклад в медицинскую науку. Да, я его знал. Я лечил его во время его. последней болезни три года назад. Он умер.

Хоувер вскочил со стула; видно было, что он с трудом сдерживает волнение. Он прошелся взад и вперед по комнате, потом остановился перед своим другом и нетвердым голосом спросил:

– Фрейли, вы ничего не имеете сказать мне как врач?

– Что вы, Хоувер! Вы самый здоровый человек из всех, кого я знаю. Но я дам вам совет как друг. Пойдите к себе в комнату; вы играете на скрипке как ангел, сыграйте что-нибудь. Что-нибудь веселое и бодрое. Выбросьте из головы мрачные мысли.

На другой день Хоувера нашли у него в комнате мертвым. Он прижимал скрипку к подбородку, смычок покоился на струнах, перед ним был раскрыт «Траурный марш» Шопена.

– Неужели вы это серьезно? Вы в самом деле верите, что машина думает?

Я не сразу получил ответ: Моксон, казалось, был всецело поглощен углями в камине, он ловко орудовал кочергой, пока угли, польщенные его вниманием, не Запылали ярче. Вот уже несколько недель я наблюдал, как развивается в нем привычка тянуть с ответом на самые несложные, пустячные вопросы. Однако вид у него был рассеянный, словно он не обдумывает ответ, а погружен в свои собственные мысли, словно что-то гвоздем засело у него в голове.

Наконец он проговорил:

– Что такое «машина» ? Понятие это определяют по-разному. Вот послушайте, что сказано в одном популярном словаре: «Орудие, или устройство для приложения и увеличения силы или для достижения желаемого результата». Но в таком случае, разве человек не машина? А согласитесь, что человек думает или же думает, что думает.

– Ну, если вы не желаете ответить на мой вопрос, – возразил я довольно раздраженно, – так прямо и скажите, Ваши слова попросту увертка. Вы прекрасно понимаете, что под «машиной» я подразумеваю не человека, а нечто созданное и управляемое человеком.

– Если только это «нечто» не управляет человеком, – – сказал он, внезапно вставая и подходя к окну, за которым все тонуло в предгрозовой черноте ненастного вечера. Минуту спустя он повернулся ко мне и, улыбаясь, сказал:

– Прошу извинения, я и не думал увертываться. Я просто счел уместным привести это определение и сделать создателя словаря невольным участником нашего спора. Мне легко ответить на ваш вопрос прямо: да, я верю, что машина думает о той работе, которую она делает.

Ну, что ж, это был достаточно прямой ответ. Однако нельзя сказать, что слова Моксона меня порадовали, они скорее укрепили печальное подозрение, что увлечение, с каким он предавался занятиям в своей механической мастерской, не принесло ему пользы. Я знал, например, что он страдает бессонницей, а это недуг не из легких. Неужели Моксон повредился в рассудке? Его ответ убеждал тогда, что так оно и

есть. Быть может, теперь я отнесся бы к этому иначе. Но тогда я был молод, а к числу благ, в которых не отказано юности, принадлежит невежество. Подстрекаемый этим могучим стимулом к противоречию, я сказал:

– А чем она, позвольте, думает? Мозга-то у нее нет.

Ответ, последовавший с меньшим, чем обычно, запозданием, принял излюбленную им форму контрвопроса.

– А чем думает растение? У него ведь тоже нет мозга.

– Ах так, растения, значит, тоже принадлежат к разряду мыслителей! Я был бы счастлив узнать некоторые из их философских выводов – посылки можете опустить.

– Вероятно, об этих выводах можно судить по их поведению, – ответил он, ничуть не задетый моей глупой иронией. – Не стану приводить в пример чувствительную мимозу, некоторые насекомоядные растения и те цветы, чьи тычинки склоняются и стряхивают пыльцу на забравшуюся в чашечку пчелу, для того чтобы та могла оплодотворить их далеких супруг, – все это достаточно известно. Но поразмыслите вот над чем. Я посадил у себя в саду на открытом месте виноградную лозу. Едва только она проросла, я воткнул в двух шагах от нее колышек. Лоза тотчас устремилась к нему, но когда через несколько дней она уже почти дотянулась до колышка, я перенес его немного в сторону. Лоза немедленно сделала резкий поворот и опять потянулась к колышку. Я многократно повторял этот маневр, и наконец, лоза, словно потеряв терпение, бросила погоню и, презрев дальнейшие попытки сбить ее с толку, направилась к невысокому дереву, росшему немного поодаль, и обвилась вокруг него. А корни эвкалипта? Вы не поверите, до какой степени они могут вытягиваться в поисках влаги. Известный садовод рассказывает, что однажды корень проник в заброшенную дренажную трубу и путешествовал по ней, пока не наткнулся на каменную стену, которая преграждала трубе путь. Корень покинул трубу и пополз вверх по стене; в одном месте выпал камень, и образовалась дыра, корень пролез в дыру и, спустившись по другой стороне стены, отыскал продолжение трубы и последовал по ней дальше.

– Так к чему вы клоните?

– Разве вы не понимаете значения этого случая? Он говорит о том, что растения наделены сознанием. Доказывает, что они думают.

– Даже если и так, то что из этого следует? Мы говорили не о растениях, а о машинах. Они, правда, либо частью изготовлены из металла, а частью из дерева, но дерева, уже переставшего быть живым, либо целиком из металла. Или же, по-вашему, неорганическая природа тоже способна мыслить?

– А как же иначе вы объясняете, к примеру, явление кристаллизации?

– Никак не объясняю.

– Да и не сможете объяснить, не признав того, что вам так хочется отрицать, а именно – разумного сотрудничества между составными элементами кристаллов. Когда солдаты выстраиваются в шеренгу или каре, вы говорите о разумном действии. Когда дикие гуси летят треугольником, вы рассуждаете об инстинкте. А когда однородные атомы минерала, свободно передвигающиеся в растворе, организуются в математически совершенные фигуры или когда частицы замерзшей влаги образуют симметричные и прекрасные снежинки, вам нечего сказать. Вы даже не сумели придумать никакого ученого слова, чтобы прикрыть ваше воинствующее невежество.

Моксон говорил с необычным для него воодушевлением и горячностью. В тот момент когда он замолчал, из соседней комнаты, именуемой «механической мастерской», доступ в которую был закрыт для всех, кроме него самого, донеслись какие-то звуки, словно кто-то колотил ладонью по столу. Моксон услыхал стук одновременно со мной и, явно встревожившись, встал и быстро прошел в ту комнату, откуда он слышался. Мне показалось невероятным, чтобы там находился кто-то посторонний; интерес к другу, несомненно с примесью непозволительного любопытства, заставил меня напряженно прислушиваться, но все-таки с гордостью заявляю – я не прикладывал уха к замочной скважине. Раздался какой-то беспорядочный шум не то борьбы, не то драки, пол задрожал. Я совершенно явственно различил затрудненное дыхание и хриплый шепот: «Проклятый!» Затем все стихло, и сразу появился Моксон с виноватой улыбкой на лице.

– Простите, что я вас бросил. У меня там машина вышла из себя и взбунтовалась.

Глядя в упор на его левую щеку, которую пересекли четыре кровавые ссадины, я сказал:

– А не надо ли подрезать ей ногти?

Моя насмешка пропала даром: он не обратил на нее никакого внимания, уселся на стул, на котором сидел раньше, и продолжал прерванный монолог, как будто ничего ровным счетом не произошло:

– Вы, разумеется, не согласны с теми (мне незачем называть их имена человеку с вашей эрудицией), кто учит, что материя наделена разумом, что каждый атом есть живое, чувствующее, мыслящее существо. Но я-то на их стороне. Не существует материи мертвой, инертной: она вся живая, она исполнена силы, активной и потенциальной, чувствительна к тем же силам в окружающей среде и подвержена воздействию сил еще более сложных и тонких, заключенных в организмах высшего порядка, с которыми материя может прийти в соприкосновение, например в человеке, когда он подчиняет материю себе. Она вбирает в себя что-то от его интеллекта и воли – и вбирает тем больше, чем совершеннее машина и чем сложнее выполняемая ею работа. Помните, как Герберт Спенсер определяет понятие «жизнь» ? Я читал его тридцать лет назад. Возможно, впоследствии он сам что-нибудь переиначил, уж не знаю, но мне в то время казалось, что в его формулировке нельзя ни переставить, ни прибавить, ни убавить ни одного слова. Определение Спенсера представляется мне не только лучшим, но единственно возможным. «Жизнь, – говорит он, – есть определенное сочетание разнородных изменений, совершающихся как одновременно, так и последовательно в соответствии с внешними условиями».

– Это определяет явление, – заметил я, – но не указывает на его причину.

– Но такова суть любого определения, – возразил он. – Как утверждает Милль, мы ничего не знаем о причине, кроме того что она чему-то предшествует; ничего не знаем о следствии, кроме того что оно за чем-то следует. Есть явления, которые не существуют одно без другого, хотя между собой не имеют ничего общего: первые во времени мы именуем причиной, вторые – следствием. Тот, кто видел много раз кролика, преследуемого собакой, и никогда не видел кроликов и собак порознь, будет считать, что кролик-причина собаки.

Боюсь однако, – добавил он, рассмеявшись самым естественным образом, – что, погнавшись за этим кроликом, я потерял след зверя, которого преследовал, я увлекся охотой ради нее самой. Между тем я хочу обратить ваше внимание на

то, что определение Гербертом Спенсером жизни касается и деятельности машины: там, собственно, нет ничего, что было бы неприменимо к машине. Продолжая мысль этого тончайшего наблюдателя и глубочайшего мыслителя – человек живет, пока действует, – я скажу, что и машина может считаться живой, пока она находится в действии. Утверждаю это как изобретатель и конструктор машин.

Моксон длительное время молчал, рассеянно уставившись в камин. Становилось поздно, и я уже подумывал о том, что пора идти домой, но никак не мог решиться оставить Моксона в этом уединенном доме совершенно одного, если не считать какого-то существа, относительно природы которого я мог только догадываться и которое, насколько я понимал, настроено недружелюбно или даже враждебно. Наклонившись вперед и пристально глядя приятелю в глаза, я сказал, показав рукой на дверь мастерской:

– Моксон, кто у вас там?

К моему удивлению, он непринужденно засмеялся и ответил без тени замешательства:

– Никого нет. Происшествие, которое вы имеете в виду, вызвано моей неосторожностью: я оставил машину в действии, когда делать ей было нечего, а сам в это время взялся за нескончаемую просветительскую работу. Знаете ли вы, кстати, что Разум есть детище Ритма?

– Ах, да провались они оба! – ответил я, подымаясь и берясь за пальто. – Желаю вам доброй ночи. Надеюсь, что, когда в другой раз понадобится укрощать машину, которую вы по беспечности оставите включенной, она будет в перчатках.

И, даже не проверив, попала ли моя стрела в цель, я повернулся и вышел.

Шел дождь, вокруг была непроницаемая тьма. Вдали, над холмом, к которому я осторожно пробирался по шатким дощатым тротуарам и грязным немощеным улицам, стояло слабое зарево от городских огней, но позади меня ничего не было видно, кроме одинокого окна в доме Моксона. В том, как оно светилось, мне чудилось что-то таинственное и зловещее. Я знал, что это незавешенное окно в мастерской моего друга, и нимало не сомневался, что он вернулся к своим занятиям, которые прервал, желая просветить меня по части разумности машин и отцовских прав ритма... Хотя его убеждения казались мне в то время странными и даже смехотворными, все же я не

мог полностью отделаться от ощущения, что они каким-то образом трагически связаны с его собственной жизнью и характером, а быть может, и с его участью, и, уж во всяком случае, я больше не принимал их за причуды больного рассудка. Как бы ни относиться к его идеям, логичность, с какой он их развивал, не оставляла сомнений в здравости его ума. Снова и снова мне вспоминались его последние слова: «Разум есть детище Ритма». Пусть утверждение это было чересчур прямолинейным и обнаженным, мне оно теперь представлялось бесконечно заманчивым. С каждой минутой оно приобретало в моих глазах все больше смысла и глубины. Что ж, думал я, на этом, пожалуй, можно построить целую философскую систему. Если разум-детище ритма, в таком случае все сущее разумно, ибо все находится в движении, а всякое движение ритмично. Меня занимало, сознает ли Моксон значение и размах своей идеи, весь масштаб этого важнейшего обобщения. Или же он пришел к своему философскому выводу извилистым и ненадежным путем опыта?

Философия эта была настолько неожиданной, что разъяснения Моксона не обратили меня сразу в его веру. Но сейчас словно яркий свет разлился вокруг меня подобно тому свету, который озарил Савла из Тарса, и, шагая во мраке и безлюдии этой непогожей ночи, я испытал то, что Льюис назвал «беспредельной многогранностью и волнением философской мысли». Я упивался неизведанным сознанием мудрости, неизведанным торжеством разума. Ноги мои едва касались земли, меня словно подняли и несли по воздуху невидимые крылья.

Повинуясь побуждению вновь обратиться за разъяснениями к тому, кого отныне я считал своим наставником и поводырем, я бессознательно повернул назад и, прежде чем успел опомниться, уже стоял перед дверью моксоновского дома. Я промок под дождем насквозь, но даже не замечал этого. От волнения я никак не мог нащупать звонок и машинально нажал на ручку. Она повернулась, я вошел и поднялся наверх, в комнату, которую так недавно покинул. Там было темно и тихо; Моксон, очевидно, находился в соседней комнате – в «мастерской». Ощупью, держась за стену, я добрался до двери в мастерскую и несколько раз громко постучал, но ответа не услышал, что приписал шуму снаружи, – на улице бесновался ветер и швырял струями дождя в тонкие стены дома. В этой

комнате, где не было потолочных перекрытий, дробный стук по кровле звучал громко и непрерывно.

Я ни разу не бывал в мастерской, более того – доступ туда был мне запрещен, как и всем прочим, за исключением одного человека – искусного слесаря, о котором было известно только то, что зовут его Хейли и что он крайне неразговорчив. Но я находился в таком состоянии духовной экзальтации, что позабыл про благовоспитанность и деликатность и отворил дверь. То, что я увидел, разом вышибло из меня все мои глубокомысленные соображения.

Моксон сидел лицом ко мне за небольшим столиком, на котором горела одна-единственная свеча, тускло освещавшая комнату. Напротив него, спиной ко мне, сидел некий субъект. Между ними на столе лежала шахматная доска. На ней было мало фигур, и даже мне, совсем не шахматисту, сразу стало ясно, что игра подходит к концу. Моксон был совершенно поглощен, но не столько, как мне показалось, игрой, сколько своим партнером, на которого он глядел с такой сосредоточенностью, что не заметил меня, хотя я стоял как раз против него. Лицо его было мертвенно бледно, глаза сверкали, как алмазы. Второй игрок был мне виден только со спины, но и этого с меня было достаточно: у меня пропала всякая охота видеть его лицо.

В нем было, вероятно, не больше пяти футов росту, и сложением он напоминал гориллу: широченные плечи, короткая толстая шея, огромная квадратная голова с нахлобученной малиновой феской, из-под которой торчали густые черные космы. Малинового же цвета куртку туго стягивал пояс, ног не было видно – шахматист сидел на ящике. Левая рука, видимо, лежала на коленях, он передвигал фигуры правой рукой, которая казалась несоразмерно длинной.

Я отступил назад и стал сбоку от двери, в тени. Если бы Моксон оторвал взгляд от лица своего противника, он заметил бы только, что дверь приотворена, и больше ничего. Я почему-то не решался ни переступить порог комнаты, ни уйти совсем. У меня было ощущение (не знаю даже, откуда оно взялось), что вот-вот на моих глазах разыграется трагедия и я спасу моего друга, если останусь. Испытывая весьма слабый протест против собственной нескромности, я остался.

Игра шла быстро. Моксон почти не смотрел на доску, перед тем как сделать ход, и мне, неискушенному в игре, казалось, что

он передвигает первые попавшиеся фигуры – настолько жесты его были резки, нервны, мало осмысленны. Противник тоже, не задерживаясь, делал ответные ходы, но движения его руки были до того плавными, однообразными, автоматичными и, я бы даже сказал, театральными, что терпение мое подверглось довольно тяжкому испытанию. Во всей обстановке было что-то нереальное, меня даже пробрала дрожь. Правда и то, что я промок до нитки и окоченел.

Раза два-три, передвинув фигуру, незнакомец слегка наклонял голову, и каждый раз Моксон переставлял своего короля. Мне вдруг подумалось, что незнакомец нем. А вслед за этим, что это просто машина – автоматический шахматный игрок! Я припомнил, как Моксон однажды говорил мне о возможности создания такого механизма, но я решил, что он только придумал его, но еще не сконструировал. Не был ли тогда весь разговор о сознании и интеллекте машин всего-навсего прелюдией к заключительной демонстрации изобретения, простой уловкой для того, чтобы ошеломить меня, невежду в этих делах, подобным чудом механики?

Хорошее же завершение всех умозрительных восторгов, моего любования «беспредельной многогранностью и волнением философской мысли» ! Разозлившись, я уже хотел уйти, но тут мое любопытство вновь было подстегнуто: я заметил, что автомат досадливо передернул широкими плечами, и движение это было таким естественным, до такой степени человечьим, что в том новом свете, в каком я теперь все видел, оно меня испугало. Но этим дело не ограничилось: минуту спустя он резко ударил по столу кулаком. Моксон был поражен, по-моему, еще больше, чем я, и словно в тревоге отодвинулся вместе со стулом назад.

Немного погодя Моксон, который должен был сделать очередной ход, вдруг поднял высоко над доской руку, схватил одну из фигур со стремительностью упавшего на добычу ястреба, воскликнул: «Шах и мат!» – и, вскочив со стула, быстро отступил за спинку. Автомат сидел неподвижно.

Ветер затих, но теперь все чаще и громче раздавались грохочущие раскаты грома. В промежутках между ними слышалось какое-то гудение или жужжание, которое, как и гром, с каждой минутой становилось громче и явственнее. Н я понял, что это с гулом вращаются шестерни в теле автомата. Гул этот наводил на мысль о вышедшем из строя механизме,

который ускользнул из-под усмиряющего и упорядочивающего начала какого-нибудь контрольного приспособления, – так бывает, если выдернуть собачку из зубьев храповика. Я, однако, недолго предавался догадкам относительно природы этого шума, ибо внимание мое привлекло непонятное поведение автомата. Его била мелкая, непрерывная дрожь. Тело и голова тряслись, точно у паралитика или больного лихорадкой, конвульсии все учащались, пока наконец весь он не заходил ходуном. Внезапно он 'вскочил, всем телом перегнулся через стол и молниеносным движением, словно ныряльщик, выбросил вперед руки. Моксон откинулся назад, попытался увернуться, но было уже поздно: руки чудовища сомкнулись на его горле, Моксон вцепился в них, пытаясь оторвать от себя. В следующий миг стол перевернулся, свеча упала на пол и потухла, комната погрузилась во мрак. Но шум борьбы доносился до меня с ужасающей отчетливостью, и всего страшнее были хриплые, захлебывающиеся звуки, которые издавал бедняга, пытаясь глотнуть воздух. Я бросился на помощь своему другу, туда, где раздавался адский грохот, но не успел сделать в темноте и нескольких шагов, как в комнате сверкнул слепяще белый свет, он навсегда выжег в моем мозгу, в сердце, в памяти картину схватки: на полу борющиеся, Моксон внизу, горло его по-прежнему в железных тисках, голова запрокинута, глаза вылезают из орбит, рот широко раскрыт, язык вывалился наружу и – жуткий контраст! – выражение спокойствия и глубокого раздумья на раскрашенном лице его противника, словно погруженного в решение шахматной задачи! Я увидел все эго, а потом надвинулись мрак и тишина.

Три дня спустя я очнулся в больнице. Воспоминания о той трагической ночи медленно всплыли в моем затуманенном мозгу, и тут я узнал в моем посетителе доверенного помощника Моксона Хейли. В ответ на мой взгляд он, улыбаясь, подошел ко мне.

– Расскажите, – с трудом выговорил я слабым голосом, – расскажите все.

– Охотно, – ответил он. – Вас в бессознательном состоянии вынесли из горящего дома Моксона. Никто не знает, как вы туда попали. Вам уж самому придется это объяснить. Причина пожара тоже не совсем ясна. Мое мнение таково, что в дом ударила молния.

– А Моксон?

– Вчера похоронили то, что от него осталось.

Как видно, этот молчаливый человек при случае был способен разговориться. Сообщая больному эту страшную новость, он даже проявил какую-то мягкость. После долгих и мучительных колебаний я отважился наконец задать еще один вопрос:

– А кто меня спас?

– Ну, если вам так интересно – я.

– Благодарю вас, мистер Хейли, благослови вас бог за это. А спасли ли вы также несравненное произведение вашего искусства, автоматического шахматиста, убившего своего изобретателя?

Собеседник мой долго молчал, глядя в сторону. Наконец он посмотрел мне в лицо и печально спросил:

– Так вы знаете?

– Да, – сказал я, – я видел, как он убивал.

Все это было давным-давно. Если бы меня спросили сегодня, я бы не смог ответить с такой уверенностью.

Жестокая схватка

В ночную пору, осенью 1861 года, в самой гуще леса Западной Виргинии одиноко сидел человек. Этот край – горная область Чит – был одним из самых безлюдных на континенте. Однако в ту ночь людей поблизости было более чем достаточно. Всего в двух милях от того места, где сидел человек, находился затихший теперь лагерь целой бригады федеральной армии. А где-то совсем рядом, быть может еще ближе, чем лагерь северян, притаились вражеские войска, численность которых была неизвестна. Именно неизвестность расположения и численности противника и объясняла присутствие человека в столь глухом уголке леса.

Это был молодой офицер пехотного полка северян, и на него была возложена обязанность охранять спящих в лагере товарищей от всяких неожиданностей. Он командовал назначенным в дозор подразделением. С наступлением ночи лейтенант расставил людей неровной цепью, сообразно особенностям рельефа, на несколько сот ярдов впереди того места, где он сам сейчас находился. Линия дозора проходила в лесу, между скал и зарослей лавра. Люди стояли в пятнадцати-двадцати шагах друг от друга, тщательно замаскированные, соблюдая наказ о строжайшей тишине и неусыпной бдительности. Через четыре часа, если ничего не случится, их сменит свежее подразделение резерва, отдыхающее теперь под надзором своего капитана чуть позади, на левом фланге. Перед тем как расставить людей', молодой офицер, о котором идет речь, указал двум своим сержантам место, где они смогут отыскать своего командира, в случае если им понадобится его совет или необходимо будет его присутствие на передовой линии.

Место было довольно тихое – на развилке заброшенной лесной дороги, два извилистых ответвления которой уходили далеко вперед, теряясь в лунном сумраке. На каждом из них, в нескольких шагах от передовой линии, молодой командир поставил своих сержантов. Если при внезапной атаке солдатам придется поспешно отступить – а сторожевые посты в таких случаях обычно не задерживаются на месте, – они станут отходить по этим двум сближающимся дорогам и неизбежно встретятся в пункте их пересечения, где людей можно будет

вновь собрать и построить. В своих скромных масштабах молодой лейтенант был до некоторой степени стратегом. Если бы Наполеон столь же разумно расставил свои войска под Ватерлоо, он выиграл бы сражение и был бы свергнут несколько позже.

Младший лейтенант Брейнерд Байринг был храбрый и знающий офицер, несмотря на свою молодость и сравнительно небольшой опыт в искусстве уничтожения ближних. Он был завербован в армию рядовым в первые же дни войны и, не имея ровно никаких военных познаний, а лишь благодаря образованности и хорошим манерам, назначен старшиной роты. С помощью снаряда конфедератов ему посчастливилось лишиться своего капитана, и при последовавшем повышении он получил офицерское звание. Он участвовал в нескольких сражениях – при Филиппи, у горы Рич, у форта Каррика, при Гринбрайере – и вел себя достаточно храбро, чтобы не привлекать внимания старших офицеров. Ему по душе был азарт сражения, но он совершенно не выносил вида мертвых – их желтых, как глина, лиц, их потухших глаз, их окоченевших тел, то неестественно сморщенных, то неестественно распухших. Он чувствовал к ним какую-то необъяснимую антипатию – нечто большее, чем обычное физическое и. духовное отвращение, свойственное нам всем. Без сомнения, эта неприязнь была вызвана его обостренной чувствительностью, – его сильно развитое чувство красоты оскорбляло все отвратительное. Но каковы бы ни были причины, он не в состоянии был смотреть на мертвое тело без омерзения, к которому примешивался оттенок злости. Для Байринга не существовало того, что другие благоговейно называют «величием смерти». Это понятие было для него немыслимо. Смерть можно только ненавидеть. В ней нет ни живописности, ни мягкости, ни торжественности – мрачная штука, отвратительная, с какой стороны ни посмотри. Лейтенант Байринг был гораздо храбрее, чем думали многие, ибо никто не подозревал об его ужасе перед той, с кем он всегда был готов встретиться лицом к лицу.

Расставив людей, отдав распоряжения сержантам, он вернулся на свой пост, сел на ствол поваленного дерева и, напрягши все чувства, приступил к ночному бдению. Для большего удобства он слегка распустил портупею, вынул из кобуры тяжелый пистолет и положил его на ствол рядом с

собой. Он устроился очень удобно, хотя едва ли осознавал это, – до того напряженно он вслушивался, не доносится ли с передовой линии какой-либо звук, предупреждающий об опасности, – крик, выстрел или шаги сержанта, спешащего к нему с важной вестью. Из безбрежного невидимого лунного океана высоко над головой струились вниз призрачные потоки и, расплескавшись о переплетение ветвей, просачивались на землю, образуя между кустарниками небольшие лужицы света. Но таких световых пятен было немного, и они лишь подчеркивали окружающий мрак, который воображение Байринга населяло всевозможными существами невиданных форм, грозными, таинственными или просто уродливыми.

Тому, для кого пребывание ночью, в глухом лесу – дело привычное, нет нужды рассказывать, что зловещий союз мрака, безмолвия и одиночества рождает диковинный мир, в котором самые обычные и знакомые предметы обретают совершенно иной облик. Деревья смыкаются теснее, точно прижимаясь друг к другу в страхе. Даже тишина и та непохожа на дневную тишину. Она полна каких-то едва слышных леденящих кровь шепотов – призраков давно умерших звуков. Раздаются здесь и живые, внятные звуки, каких больше нигде не услышишь: пение незнакомых лесных птиц, жалобный писк зверьков во сне или в стычке с внезапно подкравшимся врагом, шуршание опавшей листвы то ли пробежала крыса, то ли прокралась пантера. Отчего хрустнула ветка? Отчего встревожено защебетала в кустах стайка птиц? Здесь – звуки без названия, формы без содержания. Здесь – перемещения в пространстве, хотя ничто не движется, движения – хотя ничто не меняет места. О дети солнечного света и газовых горелок, как мало знаете вы о мире, в котором живете!

Несмотря на то, что совсем близко от Байринга находились бдительные и вооруженные друзья, он чувствовал себя необычайно одиноким. Проникшись настроением торжественности и таинственности ночного леса, он утратил ощущение связи с видимым и слышимым миром. Лес был бесконечен, здесь не было ни людей, ни их жилищ. Вселенная казалась сплошной первозданной загадкой мрака, а сам он – единственным безмолвным вопрошателем ее извечных тайн. Поглощенный этими мыслями, вызванными его необычным настроением, он не замечал, как шло время. Между тем редкие лужицы света на траве и кустах стали перемещаться, меняя

очертания и размеры. В одной из них, у самой дороги, Байринг вдруг заметил какой-то предмет, которого он прежде не видел. Предмет находился прямо перед ним. Байринг мог поклясться', что раньше его там не было. Мрак наполовину скрывал его, но тем не менее можно было ясно различить формы человеческого тела. Байринг инстинктивно подтянул портупею и положил руку на пистолет – он снова был в мире войны, снова стал убийцей по профессии.

Фигура не двигалась. Лейтенант поднялся и, сжимая в руке пистолет, подошел поближе. Тело лежало на спине, верхнюю часть его скрывала тьма, однако, вглядевшись в лицо, Байринг увидел, что человек мертв. Он вздрогнул и отшатнулся с чувством брезгливости и тошноты, затем возвратился на место и, позабыв о предосторожности, зажег сигару. Когда, вслед за вспышкой пламени, вновь наступила непроглядная чернота, Байринг ощутил даже некоторое облегчение от того, что не видит больше ненавистного ему предмета. И все же он не переставал пристально оглядываться в том направлении, пока труп не возник перед ним с еще большей отчетливостью. Мертвец даже как будто придвинулся к нему чуть поближе.

– Вот проклятый! – пробормотал Байринг. – Что ему надо? – Мертвец, очевидно, не нуждался ни в чем, кроме живой души.

Байринг отвел взгляд и принялся мурлыкать какую-то песенку, но вдруг резко оборвал мелодию и уставился на мертвеца. Его присутствие раздражало лейтенанта, хотя более спокойного соседа, чем этот, трудно было придумать. Байринг был охвачен каким-то безотчетным, доселе незнакомым ему чувством. Это был не страх, а скорее ощущение присутствия чего-то сверхъестественного, во что он никогда не верил.

«Это у меня в крови, – сказал он себе. – Пройдут, наверное, тысячи лет, а может быть, и десятки тысяч, пока человечество изживет в себе это чувство. Где и когда оно возникло? Должно быть, в глубине веков, в тех краях, которые обычно называют колыбелью человеческой расы – в степях Центральной Азии. То, что мы теперь считаем врожденным суеверием, было для наших диких предков вполне естественным убеждением. Находя, по-видимому, оправдание в каких-то неведомых нам фактах, они полагали, что мертвое тело наделено некой таинственной силой, способной причинять зло. Быть может, это было одним из догматов какой-то мрачной религии, которую они исповедовали, и священники их настойчиво внушали его

паствe, подобно тому как наши святые отцы твердят нам о бессмертии души? Когда же арийцы, двинувшись на запад и перевалив Кавказский хребет, распространились по Европе, новые условия существования, очевидно. вызвали к жизни новые формы религии. Старая вера в пагубную силу мертвеца мало-помалу исчезла и забылась, но в наследство от нее остался страх перед умершими, передающийся из поколения в поколение и ставший частью нас самих, как наша плоть и кровь». Погруженный в эти мысли, Байринг постепенно забыл о том, что их вызвало. Но затем взгляд его снова упал на труп. Тень окончательно сошла с него, и теперь лейтенант мог видеть заострившийся профиль, очертания подбородка и все лицо, ужасающе бледное в лунном свете. На трупе была серая солдатская форма армии конфедератов. Под расстегнутым мундиром и жилетом обнажилась белая рубашка. Грудь мертвеца неестественно вздулась, живот запал, и между ними резко обозначилась линия нижних ребер. Руки были раскинуты, согнутая в колене левая нога поднята кверху. Вся поза убитого показалась Байрингу тщательно продуманной, точно мертвец стремился произвести наиболее жуткое впечатление. – Эге, да он, видно, был актером, – воскликнул лейтенант, – знал, как умереть поэффектнее. Он отвел глаза от трупа, решительно устремив их на дорогу, и продолжал прерванные размышления:

«А может быть, у наших предков из Центральной Азии похороны были не в обычае. В таком случае, понятен их страх перед трупами, которые и в самом деле таят в себе угрозу и зло. Они ведь порождают эпидемии. Детям внушали, что они должны обходить стороной те места, где лежат мертвецы, и бежать без оглядки, если случайно наткнутся на труп. Пожалуй, уйду-ка я подальше от этого типа». Он приподнялся было, но вдруг вспомнил о том, что сказал своим людям в дозоре и офицеру, который должен его сменить. Он предупредил, что в любое время его можно будет найти на этом месте. Для него это был вопрос самолюбия. Если он покинет пост, товарищи еще чего доброго подумают, что он испугался мертвеца. Лейтенант Байринг не был трусом и вовсе не намерен был давать пищу насмешкам. Он снова уселся на ствол дерева и с вызовом взглянул на убитого, как бы желая доказать, что он его нисколько не боится. Правая рука трупа, та, что была подальше от Байринга, находилась теперь в тени. Прежде он заметил, что эта рука лежала под лавровым кустом, – теперь он едва

различал ее. Однако все оставалось на своих местах, и это обстоятельство как-то успокоило его, хотя он и сам не мог сказать почему. Байринг не в силах был отвести глаз от трупа. То, чего мы не желаем видеть, обладает обычно какой-то странной притягательной силой, подчас непреодолимой. И я должен заметить, что не следует строго судите женщину, когда она, закрыв лицо руками, подглядывает в щелочку между пальцами.

Внезапно Байринг почувствовал боль в правой руке. Он отвел взор от своего врага и взглянул на руку. Оказалось, он так сильно сжимал рукоять шпаги, что она больно давила на ладонь. Байринг заметил также, что сидит, подавшись вперед, в напряженной, неестественной позе, весь подобравшись, точно гладиатор, готовый прыгнуть и вцепиться в горло противника. Он тяжело дышал, стиснув зубы. Впрочем, Байринг скоро опомнился. Мускулы его ослабли, он тяжело перевел дух, и тут только до него дошла комическая нелепость этой сцены. Лейтенант невольно рассмеялся... Боже! Что за звуки! Какой слабоумный идиот разразился этим жутким хихиканьем, этой жалкой пародией на проявление человеческого веселья? Байринг вскочил и стал оглядываться вокруг, не узнавая собственного смеха.

Он не мог больше скрывать от себя вопиющего факта своей трусости. Он был вконец напуган. Байринг бежал бы отсюда со всех ног, однако ноги не слушались его: они подкосились, и лейтенант снова сел на ствол дерева, дрожа как в лихорадке. Лицо его взмокло, все тело обдало волной холодного пота. Он не в силах был даже крикнуть. Отчетливо слышал он позади себя чьи-то крадущиеся шаги, точно поступь зверя, но не смел оглянуться. Неужто лишенные души живые существа вступили в союз с лишенным души мертвым телом? Был ли то действительно зверь? Ах, если бы он мог убедиться в этом! Но никаким усилием воли не мог он заставить себя оторвать взгляд от мертвеца!

Повторяю, лейтенант Байринг был храбрым и здравомыслящим человеком. Но что поделаешь? Может ли человек один, без посторонней помощи, устоять против зловещей коалиции ночного мрака, одиночества, безмолвия и смерти, в то время как бесчисленные духи его предков подтачивают его мужество тысячами трусливых предостережений, а их скорбные погребальные песни

проникают в сердце и леденят кровь? Силы слишком неравны – храбрость не должна подвергаться столь безжалостным испытаниям.

Одна навязчивая мысль владела теперь Байрингом: ему казалось, что тело шевелится. Теперь оно лежало ближе к краю светового пятна – в этом не могло быть никакого сомнения. Оно двигало руками – вот, смотрите, обе руки уже переместились в тень! Порыв холодного ветра ударил Байрингу в лицо, ветви деревьев у него над головой зашевелились и жалобно заскрипели. Резко очерченная тень сошла с лица трупа, и оно осветилось луной. Затем тень снова надвинулась на лицо, окутав его полумраком. Страшный мертвец явно шевелился! В это мгновение со стороны передовой линии дозора раздался одинокий выстрел. Более сиротливого, более оглушительного и в то же время более далекого выстрела не слышало еще ни одно человеческое ухо! Он разрушил сковывавшие Байринга чары, расколол безмолвие и одиночество, рассеял сонм предостерегающих духов Центральной Азии и вернул Байрингу мужество современного человека. С криком гигантской птицы, бросающейся на свою жертву, он устремился вперед, охваченный жаждой битвы.

Выстрел за выстрелом раздавались на передовой линий. Слышались отдельные выкрики, беспорядочный шум, стук копыт, громкие восклицания. С тыла, из спящего лагеря доносилось пение горнов и грохот барабанов. Продираясь сквозь кустарник, по обоим ответвлениям дороги полным ходом отступали дозорные северян, отстреливаясь наугад. Отставшая группа, отходившая по одной из дорог согласно приказу, внезапно скрылась в зарослях. Полсотни всадников промчались мимо, неистово размахивая саблями. Стреляя на полном скаку, они как одержимые пронеслись мимо того места, где находился Байринг, и скрылись за поворотом дороги, продолжая кричать и разряжать во тьму пистолеты. Спустя минуту послышалась ружейная пальба и одинокие пистолетные выстрелы. Нападающие встретились с резервным отрядом северян. И вот они уже в беспорядке устремились обратно. То там, то здесь мелькали опустевшие седла, обезумевшие раненые лошади неслись вперед, храпя от боли. Все было кончено – «бой на аванпостах» утих.

Отряд был пополнен свежими силами, солдаты после переклички вновь построены. На сцене появился полуодетый

командир северян со своим штабом. Задав с глубокомысленным видом несколько вопросов, он удалился. Простояв около часу в полной боевой готовности, солдаты бригады «прочли одну-две молитвы» и улеглись на покой.

Ранним утром следующего дня отряд под командованием капитана и в сопровождении хирурга осматривал местность в поисках убитых и раненых. На развилке дороги, чуть в стороне, они нашли два тела, лежавшие вплотную друг к другу. Это были трупы офицера федеральных войск и рядового армии конфедератов. Офицер умер от удара шпаги в сердце, но до этого он, по-видимому, успел нанести своему врагу не менее пяти смертельных ран. Мертвый офицер лежал лицом вниз и луже крови, и шпага все еще торчала у него в груди. Его перевернули на спину, и хирург вытащил оружие из раны.

– Черт возьми, да ведь это Байринг! – воскликнул капитан и тут же добавил, взглянув на другого мертвеца, – у них была жестокая схватка.

Хирург осматривал шпагу. Она могла принадлежать только офицеру федеральной пехоты. Точь-в-точь такая же, как была у капитана. Это, значит, шпага Байринга. Никакого другого оружия они не обнаружили, за исключением не разряженного пистолета в кобуре мертвого Байринга. Хирург отложил шпагу и подошел к другому телу. Оно было страшно исколото и изрезано, но крови нигде не было видно. Хирург взял убитого за левую ступню и попытался выпрямить его ногу. Тело чуть сдвинулось с места. Мертвецы не любят, когда их тревожат. Труп запротестовал, откликнувшись слабым тошнотворным зловонием. Под ним обнаружились черви, с бессмысленной хлопотливостью ползавшие взад и вперед.

Хирург и капитан переглянулись.

Один из близнецов

Письмо, найденное среди бумаг покойного Мортимера Барра

Вы спрашиваете, приходилось ли мне, одному из близнецов, сталкиваться с чем-либо, что нельзя объяснить известными нам законами природы. Об этом судите сами; возможно, нам известны разные законы природы. Быть может, вы знаете те, что мне незнакомы, и то, что непонятно мне, может быть совершенно ясно вам.

Вы знали моего брата Джона, то есть вы знали его, когда были уверены, что он – это не я; но мне кажется, ни вы, ни кто другой не смог бы различить нас, если бы мы того не захотели. Наши родители не были исключением; я не знаю примеров большего сходства, чем у нас с братом. Я говорю о своем брате Джоне, но я вовсе не убежден, что его звали не Генри, а меня – не Джон. Нас крестили обычным путем, но потом, привязывая нам на запястья бирочки с буквами, служитель запутался, и, хотя на моей стояла буква «Г», а на его – «Д», нельзя быть сколь-нибудь уверенным, что нас не перепутали. В детстве родители пробовали различать нас более верным путем – по одежде и другим простым признакам; но мы столь часто менялись костюмами и прибегали к другим уловкам, когда нам надо было ввести противника в заблуждение, что родители отказались от этих тщетных попыток, и все те годы, что мы жили вместе, каждый признавал трудность сложившейся ситуации: выход из положения был, однако, найден: нас обоих стали называть «Дженри». Я часто удивлялся несообразительности моего отца, который не догадался поставить клеймо на наших дурацких лбах; но мы были вполне терпимыми мальчишками и пользовались своей способностью докучать старшим и раздражать их с похвальной умеренностью; благодаря этому мы избежали клейма. Отец был на редкость добродушным человеком и про себя, видимо, от души забавлялся этой игрой природы.

Вскоре после того, как мы приехали в Калифорнию, и поселились в Сан-Хосе (где единственной ожидавшей: нас удачей была встреча с таким добрым другом, каким стали для нас вы), наша семья, как вам известно, распалась из-за кончины, в одну и ту же неделю, обоих моих родителей. Отец мой перед

смертью разорился, и дом наш пошел в уплату его долгов. Сестры вернулись к нашим родственникам на Востоке, а Джон и я (нам тогда было по двадцать два года), благодаря вашему: участию, получили работу в Сан-Франциско, в разных: концах города. Обстоятельства не позволили нам поселиться вместе, и мы виделись редко, порой не чаще, раза в неделю. Так как у нас было немного общих знакомых, о нашем поразительном сходстве мало кто знал. Теперь я вплотную подхожу к ответу на ваш вопрос.

Как-то вечером, вскоре после того как мы поселились в этом городе, я проходил по Маркет-стрит. Вдруг, какой-то хорошо одетый человек средних лет остановил меня и сердечно поприветствовав, сказал:

– Стивенс, мне, разумеется, известно, что вы редко бываете в обществе, но я рассказал о вас жене, и она была бы рада видеть вас в нашем доме. Кроме того, у меня есть основания полагать, что мои девочки стоят того, чтобы с ними познакомиться. Вы могли бы прийти, скажем, завтра в шесть и пообедать с нами, в семейном кругу; а потом, если мои дамы не смогут вас занять, я с удовольствием сыграл бы с вами партию-другую в бильярд.

Это было сказано с такой добродушной улыбкой и так обаятельно, что у меня не хватило духу отказаться, и, хотя я никогда в жизни не видел этого человека, я тотчас ответил:

– Вы очень любезны, сэр, и я с благодарностью принимаю приглашение. Прошу вас, засвидетельствуйте мое почтение миссис Маргован и передайте, что я обязательно буду.

Пожав мне руку и попрощавшись в приятных выражениях, человек пошел дальше. Было очевидно, что он принял меня за моего брата. К подобным ошибкам я привык и обычно не пытался рассеять заблуждение, если дело не представлялось важным. Но откуда я знал. что фамилия этого человека Маргован? Эта фамилия определенно не из тех, что могут прийти в голову, когда пытаешься угадать имя незнакомого человека. Что же касается меня, то и эта фамилия, и этот человек были мне одинаково незнакомы.

На следующее утро я поспешил к месту работы моего брата и застал его выходящим из конторы со счетами, по которым ему предстояло получить. Я рассказал ему, каким образом я связал его словом, и прибавил, что если приглашение его не интересует, то я с большим удовольствием продолжу эту игру.

– Странно, – задумчиво сказал брат. – Маргован единственный в конторе человек, которого я хорошо знаю и который мне нравится. Сегодня утром, когда он пришел на работу и мы обменялись обычными приветствиями, какой-то непонятный импульс заставил меня спросить: «Простите, мистер Маргован, но я забыл узнать у вас адрес». Адрес я получил, но до настоящего момента ни за что и жизни не смог бы объяснить, зачем он мне нужен. Очень любезно с твоей стороны, что ты готов расплачиваться за последствия своей нескромности, но я, с твоего разрешения, воспользуюсь приглашением сам.

Он обедал в этом доме еще несколько раз – на мой взгляд, слишком часто, чтобы это пошло ему на пользу, хотя я ни в коем случае не собираюсь хулить качество этих обедов; дело в том, что он влюбился в мисс Маргован и сделал ей предложение, которое было без особого восторга принято.

Через несколько недель, после того как меня оповестили о помолвке, но еще до того, как я мог, не нарушая приличий, познакомиться с молодой женщиной и ее семьей, однажды на Кирни-стрит я встретил красивого, но несколько потрепанного мужчину. Что-то заставило меня пойти за ним следом и понаблюдать, и я сделал это без малейшего угрызения совести. Он свернул на Гиэри-стрит и дошел по ней до Юнион-сквер. Тут он посмотрел на часы и вошел в сквер. Некоторое время он бродил по дорожкам, очевидно кого-то поджидая. Вскоре к нему присоединилась элегантно одетая красивая молодая женщина, и они вместе пошли по Стоктон-стрит; я последовал за ними. Теперь я чувствовал необходимость крайней осторожности, ибо, хотя девушка была мне совершенно незнакома, мне казалось, что она узнала бы меня с первого взгляда. Они несколько раз сворачивали с одной улицы на другую и наконец, поспешно осмотревшись по сторонам и чуть было не заметив меня (я успел спрятаться в каком-то подъезде), вошли в дом, адрес которого я предпочел бы не называть. Расположение этого дома было лучше, чем его репутация.

Поверьте, что мои действия, когда я стал следить за этими незнакомыми мне людьми, не преследовали никакой определенной цели. А стыжусь я этого или нет – зависит от того, что я думаю о человеке, которому об этом рассказываю. Частично отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что я излагаю здесь этот рассказ, ничуть не колеблясь и ничего не стыдясь.

Неделей позже Джон повез меня к своему будущему тестю, и в мисс Маргован, как вы уже догадались, я с величайшим изумлением узнал героиню этого предосудительного приключения. Справедливости ради я должен признать, что если приключение и было предосудительным, то героиня его была изумительно красивой женщиной. Это обстоятельство, однако, было знаменательным только в одном отношении: ее красота настолько поразила меня, что я начал было сомневаться в ее тождестве с той молодой женщиной, которую я тогда видел. Как могло случиться, что дивная прелесть ее лица не произвела тогда на меня никакого впечатления? Но нет, ошибки здесь быть не могло; вся разница заключалась в костюме, освещении и окружающей обстановке.

Джон и я провели вечер в этом доме, не теряя хорошего настроения (несомненно, в силу нашего многолетнего опыта), несмотря на все милые шуточки, естественной пищей которым служило наше сходство. Когда я на несколько минут остался наедине с молодой леди, я посмотрел ей в лицо и сказал с внезапной серьезностью:

– У вас, мисс Маргован, тоже есть двойник: я видел ее в прошлый вторник на Юнион-сквер.

На секунду ее большие серые глаза остановились на моем лице, но ее взгляд оказался несколько менее твердым, чем мой; она отвела его и стала пристально рассматривать кончик туфли. Потом она спросила с безразличием, которое показалось мне чуточку наигранным:

– И что же, она была очень похожа на меня?

– Настолько похожа, – сказал я, – что я залюбовался ею, и, не в силах потерять ее из виду, я, признаюсь, шел следом за ней до... Мисс Маргован, вы уверены, что понимаете, о чем идет речь?

Она побледнела, но осталась по-прежнему спокойной. Ее глаза снова встретились с моими, и на этот раз она не отвела взгляда.

– Что же вам угодно? – спросила она. – Не пугайтесь, назовите ваши условия. Я их принимаю.

За то короткое время, которое отведено было мне на размышление, мне стало ясно, что эта девушка требует особого подхода и что обычные нравоучения здесь излишни.

– Мисс Маргован, – начал я, и в моем голосе, без сомнения, в какой-то степени отразилось то сочувствие, которое было у

меня в сердце. – Я убежден, что вы стали жертвой жестокого принуждения. Я бы предпочел не подвергать вас новым неприятностям, а помочь вам вернуть вашу свободу.

Она печально и безнадежно покачала головой, а я, волнуясь, продолжал:

– Я тронут вашей красотой. Вы обезоружили меня своей откровенностью и своим горем. Если вы вольны поступать, как подсказывает ваша совесть, то вы, я уверен, поступите наилучшим образом. Если же нет – тогда да смилуется над нами небо! Меня вам нечего опасаться: я буду противиться этому браку по другим мотивам, которые мне удастся изобрести.

Это не были мои точные слова, но таков был смысл сказанного мной под влиянием внезапно охвативших меня противоречивых чувств. Я встал и покинул ее, больше на нее не взглянув. В дверях я встретил остальных и сказал со всем спокойствием, на которое был способен:

– Я простился с мисс Маргован; я и не думал, что уже так поздно.

Джон решил идти со мной. На улице он спросил, не заметил ли я чего-нибудь странного в поведении Джулии.

– Мне показалось, что она нездорова, – ответил я. – Я поэтому и ушел.

Больше на эту тему ничего сказано не было.

На другой день я вернулся домой поздно вечером. События минувшего дня взволновали меня: я чувствовал себя больным. Пытаясь освежиться и вернуть себе ясность мысли, я предпринял прогулку, но меня неотступно преследовало ужасное предчувствие какого-то несчастья, предчувствие, в котором я не отдавал себе отчета. Ночь выдалась холодная и туманная; моя одежда и волосы стали влажными; я весь дрожал от озноба. Переодевшись в халат и домашние туфли и сидя перед пылающим камином, я чувствовал себя еще более неуютно. Теперь я уже не просто дрожал: меня трясло как в лихорадке. Ужас перед каким-то надвигающимся несчастьем так сильно сковал меня и настолько лишил, сил, что я пытался прогнать его, вызвав в своей памяти реальное горе; я надеялся развеять мысли о будущем несчастье, заменив их причиняющими боль воспоминаниями прошлого. Я стал думать о смерти родителей, стараясь сосредоточиться на последних печальных сценах, разыгравшихся у их смертного одра и могилы. Все это казалось мне таким неопределенным и

нереальным, будто случилось много веков тому назад и касалось кого-то другого. Внезапно, нарушив ход моих мыслей и не могу найти другого сравнения – разрезав их, как режет сталь туго натянутую веревку, раздался ужасный крик, будто кричал человек в предсмертной агонии! Я узнал голос брата; казалось, он кричал на улице, прямо у меня под окном. Одним прыжком я очутился у окна и распахнул его. Уличный фонарь на противоположной стороне бросал свой тусклый, мертвенный свет на мокрый асфальт и фасады домов. Одинокий полисмен, подняв воротник, стоял, прислонившись к воротам, и спокойно курил сигару. Больше никого не было видно. Я закрыл окно и опустил штору, снова уселся перед камином и попытался сосредоточить мысли на окружавших меня предметах. Чтобы облегчить себе задачу, я решил совершить какое-нибудь привычное действие и посмотрел на часы. Они показывали половину двенадцатого. И снова я услышал этот ужасный крик! На этот раз, казалось, он раздался в комнате, где-то рядом со мной. Ужас на несколько мгновений лишил меня способности двигаться. Я опомнился через несколько минут – не помню, что я делал до этого, – на незнакомой улице, по которой я спешил изо всех сил. Я не знал, где я и куда иду, но вот я взбежал по ступеням в дом, перед которым стояло несколько карет. В окнах мелькали огни; до меня доносился приглушенный шум голосов. Это был дом, в котором жил мистер Маргован.

Вам, дорогой друг, известно, что там произошло. В одной комнате лежала бездыханная Джулия Маргован, несколько часов назад принявшая яд, а в другой – Джон Стивене, истекающий кровью от огнестрельной раны в груди, которую он сам себе нанес. Когда я ворвался в комнату и, оттолкнув врачей, положил руку ему на лоб, он открыл глаза, посмотрел невидящим взглядом, медленно закрыл их и умер.

Я пришел в себя только через полтора месяца после случившегося. Жизнь вернулась ко мне в вашем чудесном доме, благодаря заботам вашей милой жены. Все это вы уже знаете, и мне осталось рассказать вам лишь об одном обстоятельстве, хотя оно и не имеет отношения к предмету ваших психологических исследований, вернее к той их области, в которой вы, с присущей вам деликатностью и вниманием, просили меня оказать вам посильную помощь.

Однажды лунной ночью (это произошло через несколько лет после разыгравшейся трагедии) я проходил по Юнион-сквер.

Час был поздний, и вокруг никого не было. Как только я приблизился к месту, где некогда я был свидетелем злополучной встречи, мои мысли естественно обратились к некоторым событиям прошлого, и, повинуясь тому безотчетному чувству, которое заставляет нас подолгу задерживаться на мыслях, причиняющих нам особенно сильную боль, я уселся на скамью и погрузился в них. Какой-то человек вошел в сквер и направился по дорожке в мою сторону. Он шел, держа руки за спиной и наклонив голову; казалось, он ничего вокруг не замечал. Когда он приблизился к тому затененному месту, где я сидел, я узнал в нем человека, встречу которого с Джулией Маргован я наблюдал здесь много лет назад. Но он ужасно изменился: поседел, был оборванным и изможденным. Все в нем говорило о беспорядочной жизни и пороках; не менее очевидны были и признаки болезни. Его одежда была неряшлива; волосы падали ему на лоб в странном и в то же время живописном беспорядке. Казалось, его место было не на свободе, а скорее в заключении, – например, в больнице.

Без какой-либо определенной цели я поднялся и преградил ему дорогу. Он поднял голову и посмотрел на меня. Я не нахожу слов, чтобы описать то страшное выражение, которое появилось на его лице. Это было выражение непередаваемого ужаса: он думал, что встретился с глазу на глаз с привидением. Но он был смелым человеком. «Будь ты проклят, Джон Стивенс!» – воскликнул он и, подняв дрожащую руку, хотел нанести мне удар кулаком в лицо, но упал ничком на гравий дорожки. Я повернулся и ушел.

Кто-то нашел его там; он был мертв. О нем ничего не известно, не знают даже его имени. Но знать, что человек мертв, уже достаточно.

Кувшин сиропа

Это повествование начинается со смерти героя. Сайлас Димер умер июля 16-го 1863 года, а два дня спустя его останки были преданы земле. Так как его знали в лицо все взрослые и дети в поселке, похороны, по выражению местной газеты, «состоялись при большом стечении народа». В соответствии с обычаем того времени гроб, поставленный у могилы, был раскрыт, и все друзья и соседи вереницей проследовали мимо него, чтобы в последний раз взглянуть на лицо усопшего, после чего тело Сайласа Димера на глазах у всех было опущено в могилу. Правда, кой у кого глаза слегка затуманились, но, в общем, можно сказать, что погребение было совершено по всем правилам и в свидетелях недостатка не было. Сайлас, вне всякого сомнения, умер, и никто из присутствующих не мог указать на какой-нибудь недосмотр в погребальном обряде, который оправдывал бы его возвращение с того света. Однако, если показания свидетелей что-нибудь да значат (а разве не с их помощью было искоренено колдовство в Сэлеме), он вернулся.

Я забыл упомянуть, что смерть и похороны Сайласа Димера произошли в маленьком поселке Гилбрук, где он прожил тридцать один год. Димер был «коммерсантом», как в некоторых местах Соединенных Штатов называют владельцев мелочных лавок, и торговал всем тем, что обычно продается в таких лавках. Его честность, насколько известно, никогда не подвергалась сомнению, и он пользовался всеобщим почетом. Единственно, в чем могли бы его упрекнуть самые придирчивые люди, – это в том, что он уделял слишком много внимания делам. Однако ему это не ставилось в вину, хотя многие другие, в равной мере приверженные этому, встречали к себе более суровое отношение. Это объяснялось тем, что Сайлас преимущественно занимался собственными делами.

Никто не помнил, чтобы Димер хотя бы один день, кроме воскресений, не сидел у себя в лавке, с тех самых пор, как он впервые открыл ее больше четверти века назад, и до самой своей смерти. Он ни разу не болел, а ни в чем другом он не видел уважительных причин, которые могли бы отвлечь его от прилавка. Передавали, что, когда однажды он не явился на вызов в суд округа для дачи свидетельских показаний по важному делу и адвокат имел смелость предложить, чтобы

Димеру послали повестку с предупреждением, ему на это было заявлено, что суд «изумлен» подобным предложением. Как известно, изумление суда относится к тем чувствам, которые адвокаты не особенно стремятся возбуждать; посему он поспешил взять обратно означенное предложение и условился с противной стороной относительно того, что показал бы мистер Димер, будь он в суде, причем противная сторона ловко воспользовалась этим промахом и фиктивное свидетельское показание оказалось явно не в пользу предложившей его стороне. Короче говоря, во всем округе считали, что единственное, что есть прочного в Гилбруке, это Сайлас Димер и что перемещение его в пространстве может повлечь за собой какое-нибудь страшное общественное бедствие или другое тяжкое несчастье.

Миссис Димер со своими двумя взрослыми дочерьми занимала комнаты верхнего этажа, а Сайлас, как всем было известно, спал на койке, поставленной за прилавком в магазине. Там его и нашли однажды под утро умирающим, и он испустил дух как раз перед тем, когда нужно было снимать ставни. Он был еще в сознании, и хотя и лишился языка, и люди, хорошо знавшие его, полагали, что, если бы, на его несчастье, он дожил до того часа, когда обычно открывалась лавка, это подействовало бы на него удручающе.

Таков был Сайлас Димер, и таково было постоянство и неизменность его жизненных привычек, что местный юморист (учившийся некогда в колледже) наделил его кличкой старого Ibidem и в первом же вышедшем после смерти Сайласа номере газетки добродушно отметил, что Димер разрешил себе «небольшой отпуск», Правда, отпуск этот слегка затянулся, но, по словам летописи, из которой мы черпаем наши сведения, не прошло и месяца, как мистер Димер без обиняков дал понять, что ему недосуг лежать в могиле.

Одним из самых почетных граждан Гилбрука был банкир Элвен Крид. Он жил в лучшем доме поселка, имел собственный выезд и некоторым образом был не чужд страсти к путешествиям, так как неоднократно посещал Бостон; полагали даже, что он побывал в Нью-Йорке, хотя сам он скромно опровергал это лестное предположение. Мы упоминаем об этом лишь для того, чтобы помочь разобраться в достоинствах мистера Крида, ибо это так или иначе говорит в его пользу, в пользу его просвещенности, если он хотя бы кратковременно

соприкоснулся с культурой Нью-Йорка, или в пользу его чистосердечия, если в столице он не был.

В один приятный летний вечер, часов около десяти, мистер Крид открыл калитку своего сада, прошел по усыпанной гравием дорожке, четко белевшей в лунном свете, поднялся на крыльцо своего прекрасного дома и, немного помедлив, всунул ключ в замок. Приоткрыв дверь, он увидел жену, проходившую по коридору из гостиной в библиотеку. Она радостно приветствовала его и, распахнув дверь пошире, ждала, когда он войдет, но вместо этого он повернулся и, окинув взглядом крыльцо, удивленно воскликнул:

– Куда, черт возьми, делся этот кувшин?

– Какой кувшин, Элвен? – спросила жена довольно равнодушно.

– Кувшин с кленовым сиропом – я купил его в лавке и поставил вот тут на крыльце, чтобы открыть дверь. Какого чер...

– Ну, ну, Элвен, хватит, – прервала его супруга.

К слову сказать, Гилбрук является не единственным местом в цивилизованном мире, где пережитки политеизма запрещают упоминать всуе имя злого духа.

Кувшин кленового сиропа, нести который из лавки, при сельской простоте гилбрукских нравов, не считалось зазорным для именитых граждан, исчез!

– Ты уверен, что купил его, Элвен?

– Дорогая моя, неужели человек может не заметить, что несет кувшин? Я купил этот сироп в лавке Димера по дороге домой. Сам Димер нацедил мне сиропу и одолжил кувшин, и я...

Эта фраза и по сей день осталась неоконченной. Мистер Крид, шатаясь, вошел в дом, добрался до гостиной и рухнул в кресло, дрожа всем телом. Он внезапно вспомнил, что мистер Димер умер три недели тому назад.

Миссис Крид стояла перед своим супругом, глядя на него с удивлением и тревогой.

– Силы небесные, – сказала она, – что с тобой, ты болен?

Так как у мистера Крида не было никаких оснований полагать, что болезнь его может представлять интерес для сил потустороннего мира, он не внял заклинанию жены; он ничего не ответил и сидел в оцепенении. Наступило длительное молчание, нарушаемое лишь мерным тиканьем часов, которые, казалось, шли медленнее обычного, вежливо предоставляя супругам побольше времени, чтобы прийти в себя.

– Джен, я сошел с ума – вот что! – Он говорил невнятно и быстро. – Почему ты не сказала мне об этом раньше? Ты, наверно, замечала кое-какие признаки, а теперь они так очевидны, что я и сам обратил на них внимание. Мне казалось, будто бы я иду мимо лавки Димера; она была открыта и освещена, то есть мне так показалось. Ведь она теперь никогда не бывает открыта. Сайлас Димер стоял у конторки за своим прилавком. Клянусь богом, Джен, я видел его так же ясно, как вижу тебя. Вспомнив, что ты просила кленового сиропа, я вошел и купил его, вот и все, – я купил две кварты кленового сиропа у Сайласа Димера, который, хотя умер и лежит в могиле, все же нацедил сиропа из бочки и подал мне его в кувшине. Помню, он разговаривал со мной очень степенно, даже степенней, чем это было в его привычках, но ни одного слова, сказанного им, я не могу припомнить. Но я видел его, боже милостивый, я видел его и говорил с ним, – а ведь он умер! Вот что мне показалось. Выходит, я сошел с ума, Джен, я совсем спятил, а ты утаила это от меня!

Этот монолог дал супруге мистера Крида время собрать воедино умственные способности, которые имелись в ее распоряжении.

– Элвен, – сказала она, – поверь мне, никаких признаков безумия ты не проявлял. Наверно, тебе померещилось, и ничего другого тут и быть не могло. Это было бы слишком ужасно! Никакого помешательства тут нет. Просто ты слишком заработался в банке. Тебе не надо было ходить на заседание правления банка сегодня вечером; ты ведь и без того до смерти устал. Я так и знала, что-нибудь да случится.

Мистер Крид мог бы указать, что это предупреждение, высказанное задним числом, носило несколько запоздалый характер, но, как бы там ни было, он ничего не возразил, озабоченный своим состоянием. Он овладел собой, и способность связно мыслить вернулась к нему.

– Несомненно, то был феномен субъективного порядка, – изрек он, ни с того ни с сего начиная изъясняться ученым языком. – Явление и даже материализация духов – вещь допустимая, но явление и материализация коричневого глиняного кувшина в полгаллона, грубого тяжеловесного гончарного изделия, маловероятны.

Когда смысл этого дошел до сознания Элвена Крида, он содрогнулся.

Недвижимое имущество Сайласа Димера находилось в руках душеприказчика, который счел за лучшее разделаться с «коммерческим предприятием», и лавка оставалась закрытой со времени смерти ее владельца, а товары были оптом проданы другому «коммерсанту». Комнаты верхнего этажа тоже стояли пустыми, так как вдова с дочерьми переехала в другой город.

На другой день после приключения Элвена Крида (слух о котором как-то выплыл наружу) толпа мужчин, женщин и детей собралась вечером перед лавкой на противоположной стороне улицы. То, что в лавке объявился дух покойного Сайласа Димера, теперь стало известно каждому из обитателей Гилбрука, хотя многие делали вид, что сомневаются в этом. Самые смелые из них, они же по большей части и самые молодые, кидали камнями в фасад, единственно доступную для обстрела часть дома, старательно избегая, впрочем, попадать в не закрытые ставнями окна. Сомнение еще не переросло в злобу. Несколько смельчаков перешли улицу и принялись дубасить в дверь, подносить зажженные спички к темным окнам, пытаясь разглядеть, что делается внутри лавки. Другие зрители старались блеснуть своим остроумием: кричали, выли и звали призрак побегать с ними наперегонки.

После того как прошло порядочно времени и ничего примечательного не случилось и многие уже разошлись, оставшиеся вдруг заметили, что лавка внутри начала озаряться тусклым желтым сиянием. Это положило конец всяким дерзким выходкам. Отчаянные смельчаки, столпившиеся было у двери и окон, отступили на противоположную сторону и смешались с толпой, мальчишки перестали швыряться камнями. Голоса смолкли; в толпе возбужденно перешептывались и указывали на все усиливающийся свет. Никто не мог сказать, сколько времени протекло с того мгновения, как показалось слабое мерцанье, но в конце концов освещение стало таким ярким, что можно было видеть все, что делается внутри лавки; и тогда в глубине за конторкой собравшиеся на улице явственно увидели Сайласа Димера!

Действие, произведенное этим на толпу, было поразительно. Малодушные дрогнули, и толпа быстро поредела с обоих флангов. Одни пустились бежать, что есть мочи, другие удалялись, соблюдая большее достоинство и оглядываясь через плечо. В конце концов на месте осталось человек около двадцати, преимущественно мужчин; они стояли молчаливые,

потрясенные, вытаращив глаза. Привидение в лавке не обращало на них никакого внимания; по-видимому, оно всецело было занято приходо-расходной книгой.

Но вот трое мужчин, как бы движимые одним чувством, отделились от толпы на тротуаре и перешли улицу. Один из них, грузный детина, хотел было налечь плечом на дверь, но она открылась сама, точно какой-то сверхъестественной силой, и смелые исследователи вошли внутрь. Оставшиеся на улице в ужасе заметили, что все трое стали как-то странно вести себя, едва переступили порог. Они вытягивали перед собой руки, кружили по магазину, натыкались на прилавок, на ящики и бочки, стоявшие на полу, сталкивались друг с другом. Они неуклюже поворачивались во все стороны, как будто хотели выбраться оттуда, но не могли найти выхода. Слышны были их крики и проклятия, но привидение Сайласа Димера не проявляло ни малейшего интереса к происходившему.

Что послужило толчком для толпы, никто не мог впоследствии вспомнить, но внезапно мужчины, женщины, дети, собаки-все разом беспорядочно бросились к дверям. Каждому хотелось пролезть вперед, и у входа образовалась давка, – наконец, точно по уговору, они выстроились в очередь и начали подвигаться шаг за шагом. В силу какой-то неуловимой духовной или физиологической алхимии наблюдатели превратились в действующих лиц: зрители стали участниками представления, публика захватила сцену.

Лишь для одного зрителя, оставшегося на противоположном тротуаре – для банкира Элвена Крида, внутренность лавки, заполняющаяся толпой, оставалась ярко освещенной. Ему было ясно видно все то странное, что там творилось. Находящиеся же внутри оказались в полной темноте. Каждый, кто протискивался в лавку, как будто сразу лишался зрения и рассудка. Люди бессмысленно двигались ощупью, пытались пробиться против течения, толкали друг друга, наносили удары куда попало, падали, и их топтали, подымались и сами топтали упавших. Они хватали друг друга за платье, волосы, бороды, дрались с остервенением, орали, ругались, осыпали друг друга оскорбительной и непристойной бранью. Когда наконец последний в очереди вмешался в эту невообразимую толчею, свет, озарявший лавку, внезапно погас, и Элвен Крид на улице очутился в полной темноте, как и все, кто находился внутри. Он повернулся и ушел.

Рано утром толпа любопытных собралась у лавки Димера. Тут были и те, которые прошлым вечером обратились в бегство, а сейчас осмелели при дневном свете, и трудовой люд, идущий на работу. Дверь магазина была распахнута настежь, помещение пусто, но на стенах, на полу, на мебели – всюду были лоскутья одежды и клочья волос. Гилбрукские вояки кое-как выбрались ночью из лавки и поплелись домой залечивать свои ушибы и божиться, что провели всю ночь в постели. На пыльной конторке позади прилавка лежала приходная книга. Записи, внесенные в нее рукой Димера, кончались шестнадцатым июля, последним днем его земного бытия. Никаких пометок о последовавшей позднее продаже товара Элвену Криду не было обнаружено.

Вот и вся история; можно добавить только, что, когда страсти улеглись и разум вступил в свои извечные права, жители Гилбрука пришли к выводу, что, принимая во внимание безобидный и добропорядочный характер первой торговой сделки, совершенной Сайласом Димером при изменившихся обстоятельствах, можно было спокойно разрешить покойнику снова занять свое место за прилавком. К сему суждению местный летописец, из неопубликованных трудов которого извлечены вышеизложенные факты, почел за благо присоединиться.

Заполненный пробел

1. ПАРАД ВМЕСТО ПРИВЕТСТВИЯ

Летней ночью на невысоком холме, поднимавшемся над простором лесов и равнин, стоял человек. Полная луна клонилась к западу, и по этому признаку человек понял, что близок час рассвета, – иначе это трудно было определить. Легкий туман стлался по земле, затягивая низины, но над пеленой тумана четко выделялись на чистом небе темные массы отдельных деревьев. Сквозь туман смутно виднелись два-три фермерских домика, но ни в одном из них не было света. Нигде ни признака жизни, только собачий лай, доносясь издали и повторяясь через равные промежутки времени, скорее сгущал, чем рассеивал впечатление заброшенности и безлюдья.

Человек с любопытством озирался по сторонам; казалось, все окружающее ему знакомо, но он не может найти своего места в нем и не знает, что делать. Так, наверно, мы будем вести себя, восстав из мертвых в ожидании Страшного суда.

В ста шагах от него лежала прямая дорога, белея в лунном свете. Пытаясь «определиться», как сказал бы землемер или мореплаватель, он медленно перевел взгляд с одного конца дороги на другой и заметил в четверти мили к югу смутно чернеющий в тумане отряд кавалерии, который направлялся на север. За ним шла колонна пехоты с тускло поблескивавшими винтовками за спиной. Колонна двигалась медленно и неслышно. Еще отряд кавалерии, еще полк пехоты, за ним еще и еще, непрерывным потоком двигались к тому месту, откуда на них смотрел человек, мимо него и дальше на север. Проехала батарея; канониры, скрестив на груди. руки, сидели на лафетах и зарядных ящиках. И вся эта бесконечная процессия, отряд за отрядом, выступала из тьмы с юга и уходила во тьму на север, но не слышно было ни говора, ни стука копыт, ни грохота колес.

Это показалось ему странным: он подумал было, что оглох; произнес это вслух и услышал собственный голос, хотя он звучал как чужой, и это его поразило; ухо его ожидало услышать голос совсем иного тембра и звучания. Однако он понял, что не оглох, и на время успокоился.

Затем он вспомнил, что существует явление природы, известное под названием «акустической тени». Когда человек попадает в акустическую тень, есть такое направление, по которому звук до него не доходит. Во время одного из самых ожесточенных боев войны Севера с Югом – сражения при Гейнс-Мнлл, в котором участвовало сто орудий, зрители, находившиеся на расстоянии полутора миль на противоположном склоне долины Чикагомини, не слышали ни звука, хотя очень ясно видели все происходившее. Бомбардировка Порт-Ройал, слышная и ощутимая в Сент-Августине, в ста пятидесяти милях к югу, не была слышна в двух милях к северу при тихой погоде. За несколько дней до сдачи при Аппоматоксе оглушительная перестрелка между войсками Шеридана и Пикета оставалась неизвестной последнему, – он находился в тылу своей армии, в какой-нибудь миле от линии огня.

Ни один из этих случаев не был известен герою нашего рассказа, но менее значительные явления того же порядка не ускользнули от его внимания. Его тревожило не загадочное безмолвие этого ночного похода, а нечто иное.

«Боже мой, – сказал он себе, и опять ему почудилось что кто-то другой выражает вслух его мысли, – если это действительно южане, – значит, мы проиграли сражение и они двигаются к Нэшвиллу!»

Потом у него мелькнула мысль о самом себе – тревожное предчувствие, – то ощущение надвигающейся опасности, которое в других мы называем страхом. Он быстро отступил в тень дерева. А молчаливые батальоны все так же медленно и неслышно проходили в тумане.

Вдруг он почувствовал на затылке холодок, и это заставило его взглянуть туда, откуда дохнуло ветром обернувшись к востоку, он увидел бледный серый свет на горизонте – первый признак наступающего дня. Предчувствие опасности усилилось в нем.

«Надо уходить, – подумал он, – не то меня заметят и возьмут в плен».

Он вышел из тени и быстрым шагом направился к бледнеющему востоку. Из-под прикрытия группы кедров он оглянулся назад. Вся колонна скрылась из виду; прямая дорога белела в лунном свете, безлюдная и пустая.

Он и раньше недоумевал, но теперь был прямо-таки ошеломлен. Как могла пройти армия так быстро, передвигающаяся так медленно! Он этого не понимал. Незаметно проходила минута за минутой – он утратил ощущение времени. Сосредоточив все свои силы, он стал искать решения загадки, но тщетно. Когда наконец он отвлекся от занимавших его мыслей, в которые был погружен, над холмами уже показался краешек солнца, но и солнечные лучи не рассеяли его сомнений.

По обеим сторонам дороги тянулись возделанные поля, и нигде не было заметно опустошений, какие влечет за собой война. Из труб фермерских домиков восходили к небу тонкие струйки дыма, свидетельствуя о приготовлениях к мирным дневным трудам. Собака, прекратив свою извечную жалобу луне, бегала за негром, который, погоняя мулов, запряженных в плуг, мирно напевал то веселые, то печальные мотивы.

Герой нашего рассказа в остолбенении смотрел на эту мирную картину, как будто никогда в жизни не видел ничего подобного, потом поднес руку к голове, провел ею по волосам и стал внимательно рассматривать ладонь-поведение, непонятное для зрителя. После этого, по-видимому успокоившись, он уверенно зашагал к дороге.

2. ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ САМОГО СЕБЯ, ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ

Доктор Стиллинг Молсониз Морфрисборо, отправившись навестить пациента за шесть или семь миль от дома по Нэшвилльской дороге, оставался при больном всю ночь. На рассвете он поехал домой верхом, по обычаю существовавшему в то время среди окрестных врачей.

Когда он проезжал недалеко от места битвы при Стон-ривер, с обочины дороги к нему подошел человек и отдал честь по-военному, поднеся руку к полям шляпы. Однако шляпа эта была вовсе не армейского образца, человек не носил мундира, и в его движениях не заметно было военной выправки. Доктор вежливо ему поклонился, полагая, что не совсем обычная манера здороваться объясняется уважением к историческим местам. Незнакомец, по-видимому, желал заговорить с ним, и доктор учтиво придержал свою лошадь и стал ждать.

– Сэр, – сказал незнакомец, – вы, быть может, неприятель, хотя вы и штатский.

– Я – врач, – лаконически ответил тот.

– Благодарю вас, – сказал незнакомец, – я лейтенант из штаба генерала Газена. – Он замолчал и с минуту пристально вглядывался в человека, к которому обращался, потом прибавил: – Из армии северян.

Врач ограничился кивком.

– Скажите мне, пожалуйста, – продолжал тот, – что здесь произошло? Где обе армии? Кто выиграл сражение?

Врач, полузакрыв глаза, с любопытством смотрел на своего собеседника. После наблюдения, длившегося столько времени, сколько позволяла учтивость, он сказало

– Простите меня, но тот, кто спрашивает, не должен и сам уклоняться от ответа. Вы ранены? – прибавил он с улыбкой.

– Кажется, легко.

Человек снял шляпу штатского фасона, провел рукой по волосам и, отняв ее, пристально посмотрел на ладонь.

– Меня задело пулей, и я потерял сознание. Задело, вероятно, слегка, шальной пулей: крови нет, и я не чувствую боли. Я не хочу беспокоить вас просьбой, чтоб вы меня осмотрели, но не скажете ли вы, как мне найти свою часть или хоть какой-нибудь отряд армии северян, если вы знаете, где она?

Доктор опять ответил не сразу: он старался припомнить все, что говорится в медицинских книгах о потере памяти и о том, что знакомые места, кажется, помогают вспомнить забытое. Наконец он взглянул человеку в глаза и заметил с улыбкой:

– Лейтенант, почему вы не в мундире, который присвоен вашему званию?

Человек оглядел свой штатский костюм, поднял глаза и сказал с запинкой: – Это верно. Я... я не понимаю.

Все еще глядя на него зорким, но сочувственным взглядом, доктор спросил напрямик:

– Сколько вам лет?

– Двадцать три, – а почему вас это интересует?

– Я бы этого не сказал; никак нельзя подумать, что вам двадцать три года.

Человек потерял терпение.

– Не стоит об этом спорить, – сказал он. – Мне нужно узнать, где находится армия. Не прошло еще двух часов, как я видел колонну войск, двигавшуюся к северу по этой дороге. Вы,

должно быть, встретились с ними. Будьте добры, скажите, какого цвета на них мундиры, я сам не мог этого разглядеть, – и больше я не стану вас беспокоить.

– Вы совершенно уверены, что видели их?

– Уверен? Боже мой, сэр, да я мог бы пересчитать их!

– Вот как, – сказал врач, внутренне забавляясь собственным сходством с болтливым цирюльником из «Тысяча и одной ночи», – это очень любопытно. Я не видел никаких войск.

Человек посмотрел на него холодно, словно и он тоже заметил это сходство с цирюльником.

– Видно, вы не хотите мне помочь, – сказал он. – Можете убираться ко всем чертям, сэр!

Он повернулся и, не разбирая дороги, зашагал прямиком через росистые поля, а его мучитель, начинавший уже раскаиваться, спокойно следил за ним со своего наблюдательного поста в седле, пока тот не исчез за деревьями.

3. КАК ОПАСНО СМОТРЕТЬ В ЛУЖУ

Свернув с дороги, путник замедлил шаг и теперь шел вперед, нетвердой походкой, чувствуя сильную усталость. Он не мог понять, отчего он так устал, хотя чрезмерная словоохотливость деревенского лекаря была сама по себе утомительна. Усевшись на камень, он положил руку на колено, ладонью вниз, и случайно взглянул на нее. Рука была исхудалая, морщинистая. Он поднял обе руки к лицу. Лицо было все в глубоких морщинах: борозды чувствовались на ощупь. Странно! Не могла же простая контузия и короткий обморок превратить человека в развалину.

– Я, верно, очень долго пролежал в госпитале, – сказал он вслух. – Боже, до чего я глуп! Ведь сражение было в декабре, а сейчас лето! – Он засмеялся. – Не удивительно, что этот лекарь подумал, будто я сбежал из сумасшедшего дома. Он ошибся: я сбежал всего-навсего из лазарета.

Его внимание привлек маленький клочок земли неподалеку, обнесенный каменной оградой. Без всякой определенной цели он встал и подошел к ней. Посредине стоял тяжелый монумент, сложенный из камня. Он потемнел от времени, выкрошился по углам и был покрыт пятнами мха и лишайника. Между массивными глыбами пробилась трава, и корни ее раздвинули глыбы камня. В ответ на дерзкий вызов этого сооружения время

наложило на него свою разрушающую руку, и скоро оно сровняется с землей, «подобно Тиру и Ниневии». В надписи на одной из сторон памятника взгляд его уловил знакомое имя. Задрожав от волнения, он перегнулся всем телом через ограду и прочел:

Бригада генерала Газена.
солдатам,
павшим в бою
при Стон-ривер, 21 декабря 1862 года

Чувствуя слабость и головокружение, человек повалился на землю. Рядом с ним – стоило только протянуть руку – было небольшое углубление в земле, полное воды после недавнего дождя, – прозрачная лужица. Он подполз к ней, чтобы освежиться, приподнялся, напрягая дрожащие руки, вытянул голову впереди увидел свое отражение, как в зеркале. Он вскрикнул страшным голосом. Руки его ослабели, он упал лицом вниз, прямо в лужу, и нить, связавшая на миг начало и конец его существования, оборвалась навсегда.

Проклятая тварь

1. НЕ ВСЕ, ЧТО НА СТОЛЕ, МОЖНО ЕСТЬ

За грубым дощатым столом сидел человек и при свете сальной свечи читал какие-то записи в книге. Это была старая записная книжка, сильно потрепанная; и, по-видимому, почерк был не очень разборчивый, потому что читавший то и дело подносил книгу к самому огню так, чтобы свет падал прямо на страницу. Тогда тень от книги погружала во мрак половину комнаты, затемняя лица и фигуры, ибо, кроме читавшего, в комнате было еще восемь человек. Семеро из них сидели вдоль неотесанных бревенчатых стен, молча, не шевелясь, почти у самого стола, и, так как комната была небольшая, протянув руку, они могли бы дотянуться до восьмого, который лежал на столе, навзничь, полуприкрытый простыней, с вытянутыми вдоль тела руками. Он был мертв. Человек за столом читал про себя, и никто не говорил ни слова: казалось, все чего-то ожидали, только мертвецу нечего было ждать. Снаружи из ночного мрака, через служившее окном отверстие, доносились волнующие ночные звуки пустыни: протяжный, на одной неопределенной ноте, вой далекого койота; тихо вибрирующее стрекотанье неугомонных цикад в листве деревьев; странные крики ночных птиц, столь не похожие на крики дневных: гуденье больших суетливых жуков и весь тот таинственный хор звуков, настолько незаметных, что, когда они внезапно умолкают, словно от смущения, кажется, что их почти и не было слышно. Но никто из присутствующих не замечал этого: им не свойственно было праздное любопытство к тому, что не имело практического значения; это ясно было из каждой черточки их суровых лиц – ясно даже при тускло горевшей одинокой свече. Очевидно, все это были местные жители – фермеры и дровосеки.

Человек, читавший книгу, несколько отличался от остальных, он, казалось, принадлежал к людям другого круга – людям светским, хотя что-то в его одежде указывало на сродство с находившимися в хижине. Сюртук его вряд ли мог бы считаться приличным в Сан-Франциско; обувь была не

городская, и шляпа, лежавшая на полу подле него (он один сидел с непокрытой головой), была такой, что всякий, предположивший, что она служит лишь для украшения его особы, неправильно понял бы ее назначение. Лицо у него было приятное, с некоторым оттенком суровости, хотя, возможно, суровость эта была напускная или выработанная годами, как это подобало человеку, облеченному властью. Он был следователем и в силу своей должности получил доступ к книге, которую читал: ее нашли среди вещей умершего, в его хижине, где сейчас шло следствие.

Окончив чтение, следователь спрятал книжку в боковой карман. В эту минуту дверь распахнулась, и в комнату вошел молодой человек. По всей видимости, он родился и вырос не в горах: он был одет как городской житель. Платье его, однако, пропылилось, словно он проделал длинный путь. Он и в самом деле скакал во весь опор, чтобы поспеть на следствие.

Следователь кивнул головой; больше никто не поклонился вновь пришедшему.

– Мы вас поджидали, – сказал следователь. – С этим делом необходимо покончить сегодня же.

Молодой человек улыбнулся.

– Очень сожалею, что задержал вас, – сказал он, – я уехал не для того, чтобы уклониться от следствия: мне нужно было отправить в газету сообщение о случившемся, и я полагаю, вы меня вызвали, чтобы я рассказал вам об этом.

Следователь улыбнулся.

– Сообщение, посланное вами в газету, – сказал он, – вероятно, сильно разнится от того, что вы покажете здесь под присягой.

– Об этом судите сами, – запальчиво возразил молодой человек, заметно покраснев. – Я писал через копировальную бумагу, и вот копия того, что я послал. Это написано не в виде хроники, так как все случившееся слишком неправдоподобно, а в виде рассказа. Он может войти в мои показания, данные под присягой.

– Но вы говорите, что это неправдоподобно?

– Для вас, сэр, это не имеет никакого значения, если я присягну, что это правда.

Следователь с минуту молчал, опустив глаза. Люди, сидевшие вдоль стен, переговаривались шепотом, лишь изредка

отводя взгляд от лица покойника. Потом следователь поднял глаза и сказал:

– Будем продолжать следствие.

Все сняли шляпы. Свидетеля привели к присяге.

– Ваше имя? – спросил следователь.

– Уильям Харкер.

– Возраст?

– Двадцать семь лет.

– Вы знали покойного Хью Моргана?

– Да.

– Вы были при нем, когда он умер?

– Я был поблизости.

– Как это случилось? Я имею в виду то, что вы очутились здесь.

– Я приехал к нему поохотиться и половить рыбу; в мои намерения входило также познакомиться поближе с ним и его странным, замкнутым образом жизни. Мне казалось, из него может выйти неплохой литературный персонаж. Я иногда пишу рассказы.

– Я иногда читаю их.

– Благодарю вас.

– Рассказы вообще-то – не ваши.

Кое-кто из присяжных засмеялся. На мрачном фоне веселая шутка вспыхивает ярко. Солдаты на войне в минуту затишья охотно смеются, и острое словцо в мертвецкой захватывает своей неожиданностью.

– Расскажите обстоятельства, сопровождавшие смерть этого человека, – сказал следователь. – Если желаете, можете пользоваться любыми заметками или записями.

Свидетель понял. Вынув из внутреннего кармана рукопись, он поднес ее к свечке и стал перелистывать; найдя нужную страницу, он начал читать.

2. ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ В ЗАЯЧЬИХ ОВСАХ

Солнце еще только всходило, когда мы вышли из дома, захватив с собой дробовики. Мы хотели пострелять перепелов, но у нас была только одна собака. Морган сказал, что лучшее место для охоты лежит за гребнем соседней горы, и мы пошли по тропинке сквозь густые заросли кустарника. По ту сторону гребня местность была сравнительно ровная, густо поросшая

заячьим овсом. Когда мы вышли из кустарника, Морган, был на несколько ярдов впереди меня. Вдруг немного вправо от нас послышался шум: словно ворочалось какое-то животное, и мы увидели, как кусты сильно заколыхались.

– Оленя вспугнули, – сказал я. – Жаль, что мы не захватили винтовки.

Морган, который остановился, напряженно всматриваясь в колыхавшийся кустарник, ничего не сказал, но взвел оба курка и взял ружье на прицел. Он показался мне немного взволнованным, что меня удивило, так как он слыл за человека, умевшего сохранять исключительное хладнокровие даже в минуты внезапной и неминуемой опасности.

– Ну, бросьте, – сказал я. – Уж не думаете ли вы уложить оленя одним зарядом дроби, а?

Он ничего не ответил; но, когда он слегка обернулся ко мне и я увидел его лицо, меня поразила напряженность его взгляда. Тогда я понял, что дело нешуточное, и первое, что пришло мне в голову, это что мы напоролись на гризли. Я двинулся к Моргану, на ходу взводя курок.

Кусты больше не шевелились, и шум прекратился, но Морган все так же пристально смотрел в ту сторону.

– В чем дело? Что за чертовщина? – спросил я.

– Проклятая тварь, – ответил он, не поворачивая головы.

Голос его звучал хрипло и неестественно. Морган заметно дрожал. Я уже хотел было заговорить с ним, как вдруг заметил, что заячий овес там, где кончается кустарник, заволновался каким-то непонятным образом. Передать это словами почти невозможно. Казалось, налетел порыв ветра, который не только пригибал траву, но и придавливал ее, прижимал к земле так, что она не могла подняться, и это движение медленно шло прямо на нас.

Никогда в жизни ничто так не поражало меня, как это необыкновенное и необъяснимое явление, хотя, кажется, я не испытывал ни малейшего страха. Я припоминаю, – и говорю об этом сейчас потому, что, как ни странно, я вспомнил об этом тогда, – как однажды, глядя рассеянно в открытое окно, я на миг принял небольшое деревцо под самым окном за одно из больших деревьев, стоявших поодаль. Оно казалось одинаковой с ними величины, но отличалось от них более четкими и резкими очертаниями. И хотя это всего-навсего было искажением перспективы, я был поражен, почти испуган. Мы

так привыкли полагаться на незыблемость законов природы, что малейшее от них отклонение воспринимаем как угрозу нашей безопасности, как предупреждение о неведомом бедствии. Так и теперь, на первый взгляд беспричинное колыхание травы и медленное, неуклонное ее движение вселяли явную тревогу. Мой спутник, казалось, не на шутку испугался, и я глазам своим не поверил, когда он приложился и выпалил из обоих стволов сразу по надвигавшейся траве! Не успел еще рассеяться дым, как я услышал громкий, неистовый крик, словно рев дикого зверя, – и Морган, отшвырнув ружье, прыгнул в сторону и стремглав бросился прочь. В ту же минуту что-то скрытое в дыму резким толчком отбросило меня на землю – что-то мягкое, тяжелое, налетевшее на меня со страшной силой.

Не успел я подняться и взять ружье, которое, по-видимому, было выбито у меня из рук, как услышал крик Моргана – крик предсмертной агонии, сливавшийся с хриплыми, дикими звуками: словно рычали и грызлись собаки. Охваченный невыразимым ужасом, я вскочил на ноги и посмотрел в ту сторону, куда бежал Морган; и не дай мне бог еще раз увидеть подобное зрелище! Ярдах в тридцати от меня мой друг, опустившись на одно колено, запрокинув голову, без шляпы, с разметавшимися длинными волосами, раскачивался всем телом влево и вправо, вперед и назад. Правая рука была поднята, но кисти как будто не было, по крайней мере я ее не видел. Другая рука совсем была не видна.

Временами – так мне теперь вспоминается вся эта непостижимая сцена – я мог различить только часть его тела: словно остальное было стерто – иного выражения я не могу подобрать, – и затем какое-то перемещение, и все тело становилось видным.

Все это, вероятно, длилось лишь несколько секунд, и, однако, Морган за это время успел проделать все движения борца в схватке с противником, превосходящим его весом и силой. Мне виден был только он, и то не всегда отчетливо. И до меня непрерывно доносились его крики и проклятья сквозь заглушавший их рев, который звучал злобно и яростно, – мне никогда не приходилось слышать, чтобы такие звуки вырывались из глотки зверя или человека.

Нерешительность моя длилась лишь одну минуту, потом, бросив ружье, я кинулся на помощь другу. У меня мелькнула догадка, что его сводит судорога или с ним случился припадок.

Прежде чем я успел добежать до него, он упал и затих. Все звуки смолкли, но с ужасом, превосходящим тот, какой вызвало у меня это страшное происшествие, я опять увидел то же таинственное движение травы от места, истоптанного вокруг распростертого человека, к опушке леса. И только когда оно достигло леса, я смог отвести глаза и взглянуть на своего друга. Он был мертв «.

3. И ОБНАЖЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ БЫТЬ В ЛОХМОТЬЯХ

Следователь встал и подошел к мертвецу. Приподняв край простыни, он откинул ее, открыв все тело, обнаженное и казавшееся при свете сального огарка грязно-желтым. Оно было покрыто большими синевато-черными пятнами, по-видимому вызванными кровоизлиянием. Грудь и бока имели такой вид, словно по ним колотили дубинкой. Повсюду были ужасные раны. Кожа была изодрана в клочья.

Следователь перешел на другой конец стола и развязал шелковый платок, который поддерживал подбородок и был завязан узлом на макушке. Когда платок сняли, под ним обнаружилось то, что было когда-то горлом..Кое-кто из присяжных встал, чтобы лучше видеть, но тут же отвернулся, раскаявшись в своем любопытстве. Свидетель Харкер отошел к открытому окну и облокотился на подоконник, почувствовав тошноту и слабость. Набросив платок мертвецу на шею, следователь отошел в угол комнаты и из кучи платья стал вытаскивать одну вещь за другой, на несколько секунд поднимая ее к свету и осматривая. Все было изорвано и заскорузло от крови. Присяжные не стали производить более тщательного осмотра. По-видимому, это не интересовало их. Собственно говоря, они все это уже видели; единственно, что было для них новым, – это показания Харкера.

– Джентльмены, – сказал следователь, – очевидно, у нас нет других свидетелей. Ваши обязанности вам известны; если вопросов больше нет, вы можете удалиться, чтобы обсудить ваше решение.

Встал старшина присяжных – высокий, бородатый человек лет шестидесяти, в грубой одежде.

– У меня есть только один вопрос, господин следователь, – сказал он. – Из какого сумасшедшего дома сбежал этот ваш свидетель?

– Мистер Харкер, – сказал следователь совершенно серьезно и спокойно, из какого сумасшедшего дома вы в последний раз сбежали?

Харкер снова густо покраснел, но ничего не сказал, и семеро присяжных встали и торжественно один за другим вышли из хижины.

– Если вы не собираетесь продолжать ваши оскорбления, сэр, – сказал Харкер, как только они со следователем остались одни возле мертвеца, – то, полагаю, я могу удалиться?

– Да.

Харкер пошел к выходу, но, положив руку на щеколду, остановился. Профессиональные привычки в нем были сильны – сильнее чувства собственного достоинства. Он обернулся и сказал:

– Я узнал книжку, которую вы держали в руках: это дневник Моргана. Кажется, он вас сильно заинтересовал: вы читали его все время, пока я давал показания. Нельзя ли мне взглянуть на него? Читателям интересно будет...

– Дневник не будет фигурировать в деле, – возразил следователь, опуская книжку в карман сюртука, – все записи в нем сделаны до смерти писавшего.

Когда Харкер вышел из хижины, присяжные вернулись и встали у стола, на котором под простыней резко обрисовались контуры тела. Старшина сел около свечи, вынул из бокового кармана карандаш и клочок бумаги и старательно вывел следующее решение, которое с большей или меньшей затратой усилий подписали все остальные:

«Мы, присяжные заседатели, установили, что останки подверглись смерти от руки горного льва. Однако некоторые из нас все-таки полагают, что их хватила кондрашка».

4. ОБЪЯСНЕНИЕ ИЗ МОГИЛЫ

В дневнике покойного Хью Моргана содержатся интересные записи, имеющие некоторое научное значение, возможно, как гипотеза. Во время следствия дневник не был оглашен; видимо, следователь решил, что не стоило смущать умы присяжных.

Дата первой записи не может быть установлена: верхняя часть страницы оторвана; сохранившаяся запись гласит:

«...бегала, описывая полукруг, все время держа голову повернутой к центру, потом останавливалась и яростно лаяла. Наконец она стремительно бросилась в кусты. Сначала я думал, что она взбесилась, но, вернувшись домой, не заметил в ее поведении ничего необычного, кроме того, что можно было объяснить страхом наказания.

Может ли собака видеть носом? Могут ли запахи вызвать в мозговом центре какие-то отпечатки того предмета, от которого они исходят?

2 сентября. Вчера ночью, наблюдая за тем, как звезды восходят над горным хребтом к востоку от дома. я заметил, что они исчезают одна за другой – слева направо. Каждая затмевалась на секунду, и не все сразу, а одна или даже несколько звезд на расстоянии градуса или двух над гребнем были как бы стерты. Казалось, между ними и мною что-то двигалось, я не мог рассмотреть, что это, а звезды были слишком редки, чтобы можно было определить контуры предмета. Ух! не нравится мне это...»

Не хватает записей за несколько недель – из книжки вырвано три страницы.

«27 сентября. Оно опять было здесь: я каждый день нахожу следы его преступления. Вчера я снова всю ночь продежурил в том же месте с ружьем в руках, зарядив оба ствола крупной дробью. Наутро я увидел свежие следы, снова те же самые. А я могу поклясться, что не спал, – в сущности, я почти совсем не сплю. Это ужасно! Невыносимо!

Если эти поразительные явления реальны, я сойду с ума; если же это плод моего воображения, я уже сошел с ума.

3 октября. Я не уйду, оно не выгонит меня отсюда. Нет! это мой дом, моя земля. Бог ненавидит трусов.

5 октября. Я больше не могу; я пригласил Харкера провести у меня несколько недель – у него трезвая голова. По его поведению я узнаю, считает ли он меня сумасшедшим.

7 октября. Я нашел решение загадки: это случилось сегодня ночью – внезапно, как откровение. Как просто, как ужасно просто! Есть звуки, которых мы не слышим. На концах гаммы есть ноты, которые не задевают струн такого несовершенного инструмента, как человеческое ухо. Они слишком высоки или слишком низки. Я не раз наблюдал за стаей дроздов, усевшихся

на верхушке дерева или даже на нескольких деревьях и распевавших во все горло. И вдруг в одну минуту точно в одно и то же мгновение – все снимаются и улетают. Почему? Они не могли видеть друг друга – мешали верхушки деревьев. Все птицы разом не могли видеть вожака, где бы он ни был. Верно, был подан какой-нибудь сигнал на высокой ноте, перекрывший все звуки, но не слышный мне. Случалось, я наблюдал такой же одновременный и молчаливый отлет не только дроздов, но и других птиц, например, перепелов, отделенных друг от друга кустами или даже сидевших на противоположных склонах холма. Моряки знают, что стадо китов, которые греются на солнце или резвятся на поверхности океана, растянувшись на несколько миль друг от друга, разделенные кривизной земли, иногда одновременно в одно мгновение-все исчезают из вида. Дан был сигнал – слишком глухой для слуха матроса на топ-матче и для его товарищей на палубе, тем не менее ощутивших его в вибрации судна, подобно тому как своды собора отвечают на басовые ноты органа. То же самое происходит не только со звуком, но и с цветом. На обоих концах солнечного спектра химик может обнаружить то, что известно под именем актинических лучей. Это тоже цвета-лучи, неотделимо входящие в состав видимого света, которые мы не можем различить. Человеческий глаз несовершенный инструмент; его диапазон всего несколько октав «хроматической гаммы». Я не сошел с ума; есть цвета, которые мы не можем видеть.

И да поможет мне бог! Проклятая тварь как раз такого цвета «.

Ибо существуют разные виды смерти: такие, когда тело остается видимым, и такие, когда оно исчезает бесследно вместе с отлетевшей душой. Последнее обычно свершается вдали от людских глаз (такова на то воля господа), и тогда, не будучи очевидцами кончины человека, мы говорим, что тот человек пропал или что он отправился в дальний путь – и так оно и есть. Но порой, и тому немало свидетельств, исчезновение происходит в присутствии многих людей. Есть также род смерти, при которой умирает душа, а тело переживает ее на долгие годы. Установлено с достоверностью, что иногда душа умирает в одно время с телом, но спустя какой-то срок снова появляется на земле, и всегда в тех местах, где погребено тело.

Я размышлял над этими словами, принадлежащими Хали [1] (упокой, господь, его душу), пытаясь до конца постичь их смысл, как человек, который, уловив значение сказанного, вопрошает себя, нет ли тут еще другого, скрытого смысла. Размышляя так, я не замечал, куда бреду, пока внезапно хлеснувший мне в лицо холодный ветер не вернул меня к действительности. Оглядевшись я с удивлением заметил, что все вокруг мне незнакомо. По обе стороны простиралась открытая безлюдная равнина, поросшая высокой, давно не кошенной, сухой травой, которая шуршала и вздыхала под осенним ветром, – бог знает какое таинственное и тревожное значение заключалось в этих вздохах. На большом расстоянии друг от друга возвышались темные каменные громады причудливых очертаний; казалось, есть между ними какое-то тайное согласие и они обмениваются многозначительными зловещими взглядами, вытягивая шеи, чтобы не пропустить какого-то долгожданного события. Тут и там торчали иссохшие деревья, словно предводители этих злобных. заговорщиков, притаившихся в молчаливом ожидании.

Было, должно быть, далеко за полдень, но солнце не показывалось. Я отдавал себе отчет в том, что воздух сырой и промозглый, но ощущал это как бы умственно, а не физически –

---

[1] Хали – псевдоним индийского писателя Алтафы Хусейн (1837-1914) (*Прим перев.*).

холода я не чувствовал. Над унылым пейзажем, словно зримое проклятие, нависали пологом низкие свинцовые тучи. Во всем присутствовала угроза, недобрые предзнаменования – вестники злодеяния, признаки обреченности. Кругом ни птиц, ни зверей, ни насекомых. Ветер стонал в голых сучьях мертвых деревьев, серая трава, склоняясь к земле, шептала ей свою страшную тайну. И больше ни один звук, ни одно движение не нарушали мрачного покоя безотрадной равнины.

Я увидел в траве множество разрушенных непогодой камней, некогда обтесанных рукой человека. Камни растрескались, покрылись мхом, наполовину ушли в землю. Некоторые лежали плашмя, другие торчали в разные стороны; ни один не стоял прямо. Очевидно, это были надгробья, но сами могилы уже не существовали, от них не осталось ни холмиков, ни впадин – время сравняло все. Кое-где чернели более крупные каменные глыбы: так какая-нибудь самонадеянная могила, какой-нибудь честолюбивый памятник некогда бросали тщетный вызов забвению. Такими древними казались эти развалины, эти следы людского тщеславия, знаки привязанности и благочестия, такими истертыми, разбитыми и грязными, и до того пустынной, заброшенной и всеми позабытой была эта местность, что я невольно вообразил себя первооткрывателем захоронения какого-то доисторического племени, от которого не сохранилось даже названия.

Углубленный в эти мысли, я совсем забыл обо всех предшествовавших событиях и вдруг подумал: «Как я сюда попал?»

Минутное размышление – и я нашел разгадку (хотя весьма удручающую) той таинственности, какой облекла моя фантазия все видимое и слышимое мною. Я был болен. Я вспомнил, как меня терзала жестокая лихорадка и как, по рассказам моей семьи, в бреду я беспрестанно требовал свободы и свежего воздуха, и родные насильно удерживали меня в постели, не давая убежать из дому. Но я все-таки обманул бдительность врачей и близких и теперь очутился – но где же? Этого я не знал. Ясно было, что я зашел довольно далеко от родного города – старинного прославленного города Каркозы.

Ничто не указывало на присутствие здесь человека; не видно было дыма, не слышно собачьего лая, мычания коров, крика играющих детей – ничего, кроме тоскливого кладбища, окутанного тайной и ужасом, созданными моим больным

воображением. Неужели у меня снова начинается горячка и не от кого ждать помощи? Не было ли все окружающее порождением безумия? Я выкрикивал имена жены и детей, я искал их невидимые руки, пробираясь среди обломков камней по увядшей, омертвелой траве.

Шум позади заставил меня обернуться. Ко мне приближался хищный зверь – рысь.

«Если я снова свалюсь в лихорадке здесь, в этой пустыне, рысь меня растерзает!» – пронеслось у меня в голове.

Я бросился к ней с громкими воплями. Рысь невозмутимо пробежала мимо на расстоянии вытянутой руки и скрылась за одним из валунов. Минуту спустя невдалеке, словно из-под земли, вынырнула голова человека, – он поднимался по склону низкого холма, вершина которого едва возвышалась над окружающей равниной. Скоро и вся его фигура выросла на фоне серого облака. Его обнаженное тело покрывала одежда из шкур. Нечесаные волосы висели космами, длинная борода свалялась. В одной руке он держал лук и стрелы, в другой – пылающий факел, за которым тянулся хвост черного дыма. Человек ступал медленно и осторожно, словно боясь провалиться в могилу, скрытую под высокой травой. Странное видение удивило меня, но не напугало, и, направившись ему наперерез, я приветствовал его: – Да хранит тебя бог!

Как будто не слыша, он продолжал свой путь, даже не замедлив шага. – Добрый незнакомец, – продолжал я, – я болен, заблудился. Прошу тебя, укажи мне дорогу в Каркозу.

Человек прошел мимо и, удаляясь, загорланил дикую песню на незнакомом мне языке. С ветки полусгнившего дерева зловеще прокричала сова, в отдалении откликнулась другая. Поглядев вверх, я увидел в разрыве облаков Альдебаран и Гиады. Все указывало на то, что наступила ночь: рысь, человек с факелом, сова. Однако я видел их ясно, как днем, – видел даже звезды, хотя не было вокруг ночного мрака! Да, я видел, но сам был невидим и неслышим. Какими ужасными чарами был я заколдован?

Я присел на корни высокого дерева, чтобы обдумать свое положение. Теперь я убедился, что безумен, и все же в убеждении моем оставалось место для сомнения. Я не чувствовал никаких признаков лихорадки. Более того, я испытывал неведомый мне дотоле прилив сил и бодрости, некое духовное и физическое возбуждение. Все мои чувства были

необыкновенно обострены: я ощущал плотность воздуха, я слышал тишину.

Обнаженные корни могучего дерева, к стволу которого я прислонился, сжимали в своих объятьях гранитную плиту, уходившую одним концом под дерево. Плита, таким образом, была несколько защищена от дождей и ветров, но, несмотря на это, изрядно пострадала. Грани ее затупились, углы были отбиты, поверхность изборождена глубокими трещинами и выбоинами. Возле плиты на земле блестели чешуйки слюды – следствия разрушения. Плита когда-то покрывала могилу, из которой много веков назад выросло дерево. Жадные корни давно опустошили могилу и взяли плиту в плен.

Внезапный ветер сдул с нее сухие листья и ветки: я увидел выпуклую надпись и нагнулся, чтобы прочитать ее. Боже милосердный! Мое полное имя! Дата моего рождения! Дата моей смерти! Горизонтальный луч пурпурного света упал на ствол дерева в тот момент, когда, охваченный ужасом, я вскочил на ноги. На востоке вставало солнце. Я стоял между деревом и огромным багровым солнечным диском – но на стволе не было моей тени!

Заунывный волчий хор приветствовал утреннюю зарю. Волки сидели на могильных холмах и курганах поодиночке и небольшими стаями; до самого горизонта я видел перед собой волков. И тут я понял, что стою на развалинах старинного и прославленного города Каркозы! Таковы факты, переданные медиуму Бейроулзу духом Хосейба Аллара Робардина.

Из сборника «Незначительные рассказы»

Город почивших

Я родился от честных, а потому бедных родителей и до двадцати трех лет не имел ни малейшего понятия о том, сколько счастливых возможностей таится для человека в деньгах его ближнего. Но когда я достиг этого возраста, провидение явило мне сон и раскрыло предо мною всю бессмысленность честного труда.

– Взгляни на скудость и убожество своего жребия и внимай урокам природы, – сказал привидевшийся мне святой отшельник. – По утрам ты встаешь со своей соломенной подстилки и идешь на поля, чтобы вновь предаться ежедневным грудам. По пути головки цветов дружески кивают тебе. Жаворонок приветствует тебя звонкой песней. Утреннее солнце согревает тебя нежаркими лучами, и ты вдыхаешь струящийся от росистых трав прохладный воздух, столь благодатный для легких. Кажется, будто вся природа радостно встречает тебя, как верная служанка своего доброго хозяина. Нежнейшие ее звучания находят в тебе отклик, и в душе твоей все поет. Ты берешься за плуг в надежде, что чудесное утро предвещает еще более чудесный день, когда в полном блеске предстанет пред тобою красота природы и вызванное ею отрадное чувство упрочится в твоем сердце. Ты идешь за плугом, пока усталость не заставит тебя сделать передышку, а затем садишься в конце борозды, предполагая всецело насладиться блаженством, которое тебе лишь едва-едва удалось вкусить поутру.

Но, увы! Солнце стоит высоко в раскаленном небе, посылая на землю целые потоки жарких лучей. Цветы сомкнули лепестки, оберегая свой аромат и скрыв от постороннего взора яркость своих красок. От трав уже не струится прохлада; роса исчезла, и пересохшие поля, так же как и небо, пышут свирепым жаром. Птицы больше не приветствуют тебя своими руладами, и лишь сойка на опушке рощи хрипло бранит тебя за что-то. Несчастный! Природа лишила тебя своего нежного и врачующего участия в наказании за твой грех. Ты нарушил первую из ее десяти заповедей: ты трудился!

Пробудившись от этого сна, я собрал свои немногочисленные пожитки, сказал «прости» заблудшим моим родителям и покинул страну, задержавшись лишь ненадолго у могилы своего деда-священника, чтобы принести там торжественную клятву, что отныне ни единого пенни не заработаю честным трудом, и да поможет мне бог!

Не помню, долго ли я странствовал, но в конце концов очутился в большом городе у моря и сделался там врачом. Я теперь уже не помню, как назывался этот город до того, как я туда приехал. Мои успехи и популярность на новом поприще были столь велики, что олдермены, по настоянию сограждан, вынуждены были дать городу новое название, и он стал именоваться «Городом Почивших».

Нет нужды упоминать, что я отнюдь не обладал какими-либо познаниями в медицине. Но с помощью видного специалиста по подделке документов я приобрел диплом, якобы выданный мне Королевским Обществом Знахарей и Шарлатанов города Идол-сити. Этот диплом в рамке из бессмертника был подвешен на креповой ленточке к плакучей иве, растущей против моей приемной, и привлекал к себе толпы страждущих. Я основал также чрезвычайно крупный похоронный комбинат, тесно связанный с моей врачебной практикой. Как только мне позволили средства, я купил большой участок земли и устроил на нем кладбище, по одну сторону которого находилась моя мастерская мраморных памятников, а по другую – обширное цветоводство. Кокетство, мода и скорбь поставляли покупателей в мой универсальный магазин «Все для скорбящих». Словом, дела мои процветали, и уже через год я смог выписать своих родителей и устроить старого отца на прекрасную должность скупщика краденых вещей. Поступок этот никак нельзя было счесть постыдным актом сыновней признательности, потому что я вытягивал у старика все доходы.

Но, к сожалению, лишь крайняя бедность может гарантировать нас от превратностей судьбы; человек не в состоянии уберечь себя от зависти богов и бесконечных козней фортуны. Богатство, разрастаясь вширь, теряет свою мощь, в то время как антагонистические силы, которых оно оттесняет, накапливают энергию по закону упругости и, в конце концов, наносят сокрушительный ответный удар. Слава о моем врачебном искусстве все росла, и ко мне стали привозить пациентов со всех концов земного шара. Лежачие больные, чье

упорное отлынивание от смерти служило постоянным источником огорчения для их друзей; богатые завещатели, чьи наследники жаждали получить свои кровные денежки; нежеланные отпрыски раскаявшихся в своем грехе родителей и родители, находящиеся на иждивении у расчетливых детей; супруги, задумавшие вступить в новый брак и при этом избежать бракоразводного процесса – все эти и многие другие разновидности избыточного населения препровождались в мою клинику в Городе Почивших. Прибывало их бесчисленное множество.

Правительственные чиновники привозили ко мне целые караваны сирот, бедняков, умалишенных, – в общем, всех тех, кто стал обузой для общества. Мое искусство в исцелении пауперизма и орфанизма было особо отмечено благодарным парламентом.

Естественно, все это способствовало процветанию моих сограждан, так как, хотя прибывающие в город чужеземцы большую часть денег оставляли мне, все же благодаря им очень оживилась торговля, в которую я и сам вкладывал немалые суммы. Я был крупным предпринимателем, а также покровителем наук и искусств. Город Почивших так быстро разрастался, что через несколько лет мое кладбище, которое и само необыкновенно расширилось, вошло в пределы города. Вот тут-то и таилась мой погибель.

Олдермены объявили мое кладбище общественным злом и постановили отнять его у меня, тела перенести в другое место, а там разбить парк. Конечно, мне должны были возместить стоимость кладбища, и, с легкостью подкупив оценщиков, я смог бы сорвать за него изрядный куш. Но по одной причине, которая станет ясна позднее, решение олдерменов мало меня радовало. Все мои протесты против кощунственного нарушения покоя умерших оказались напрасными. А между тем это был веский аргумент, так как в той стране мертвецы служат предметом религиозного поклонения. В их честь воздвигаются храмы, и на государственном обеспечении содержится особая категория священнослужителей специально для отправления заупокойных служб, всегда очень трогательных и торжественных. Ежегодно, в течение четырех дней здесь отмечают «Праздник Усопших». Люди, оставив все свои дела, огромной процессией во главе со священниками проходят по кладбищам, украшая могилы и вознося молитвы в храмах. В

этой стране существует поверье, что, как бы ни грешил человек при жизни, скончавшись, он обретет вечное и невыразимое блаженство. Всякое сомнение в этом рассматривают как тяжкое преступление и карают смертью. Вырыть погребенное тело или отказаться похоронить умершего считается страшным злодеянием, и для него даже не предусмотрено кары, потому что никто никогда еще не осмеливался его совершить. Согласно закону, эксгумация трупов производится лишь по особому разрешению и сопровождается торжественной церемонией.

Все это как будто говорило в мою пользу, однако жители города и власти были так твердо убеждены в пагубном влиянии моего кладбища на их здоровье, что, в конце концов, его отобрали у меня, предварительно определив стоимость. С трудом подавив тайный ужас получив за кладбище сумму, втрое превышавшую его истинную цену, я лихорадочно стал сворачивать свои дела.

Неделю спустя наступил день, назначенный для торжественного обряда перенесения трупов Погода была прекрасная, и все население города и окрестностей собралось, чтобы присутствовать при этой величественной религиозной церемонии. Весь ритуал выполнялся под руководством священнослужителей в погребальном облачении. Состоялось искупительное жертвоприношение в Храмах Усопших, а затем грандиозная процессия двинулась к кладбищу. Возглавлял процессию сам Великий Мэр в парадной мантии и с золотой лопатой в руках. За ним следовал хор из ста одетых в белое мужчин и женщин, которые пели Гимн Почившим. Далее следовало младшее духовенство храмов, городские власти в парадных мундирах, и каждый из них нес живого поросенка – жертву богам Почивших. И лишь последние ряды этой длинной процессии составляло местное население. Горожане шли с непокрытыми головами, посыпая волосы придорожной пылью в знак смирения. В центре некрополя, перед часовней стоял Верховный Прелат в пышном одеянии, а по обе стороны от него выстроились епископы и другие высшие сановники курии. Все они смотрели на приближавшуюся толпу с крайней суровостью. Великий Мэр почтительно остановился перед священнослужителями, а младшее духовенство, гражданские власти и горожане плотным кольцом обступили место действия. Великий Мэр, положив золотую лопату к ногам Высшего Духовного Властителя, молча опустился перед ним на колени.

– Зачем дерзнул ты явиться сюда, о смертный? – громко и торжественно вопросил Верховный Прелат. – Уж не возымел ты нечестивое намерение при помощи этого орудия обнажить тайну смерти и нарушить покой усопших?

Великий Мэр, не вставая с колен, вытащил из-под мантии грамоту с весьма внушительными печатями.

– Взгляни, о неизреченный, на слугу твоего, посланного народом, чтобы умолять тебя о милости. Позволь нам взять на себя заботу о почивших, дабы они могли покоиться в более подходящей земле, освящением подготовленной к их приему.

С этими словами он вручил Прелату постановление совета олдерменов о перенесении умерших на другое кладбище. Едва коснувшись пергаментного свитка, Верховный Прелат передал его в руки стоящего рядом Главного Хранителя Кладбищ. Воздев руки к небу и несколько смягчив суровое выражение лица. Прелат возгласил:

– Боги согласны! Священнослужители, выстроившиеся по обе стороны от Прелата, повторили его жест, взгляд и слова. Великий Мэр поднялся с колен, хор затянул торжественную песню. В этот момент в ворога кладбища въехала погребальная колесница, запряженная десятью белыми лошадьми с развевающимися черными плюмажами. Сквозь расступившуюся толпу колесница покатила к могиле, выбранной для этого торжественного случая. Здесь был похоронен важный сановник, которого я пользовал от хронической склонности к лежанию. Великий Мэр золотой лопатой коснулся могильного холма, вручил ее Верховному Прелату, а два дюжих могильщика энергично принялись орудовать уже железными лопатами.

Тут мне пришлось срочно покинуть и кладбище и город. Сведениями о дальнейших событиях я обязан моему блаженной памяти отцу. Родитель сообщил мне о них в письме, написанном в тюремной камере ночью, накануне того дня, как он имел непоправимое несчастье угодить в петлю.

Пока могильщики работали, четыре епископа стали по углам могилы и в глубокой тишине, нарушаемой лишь лязгом лопат, принялись повторять заклинания из Ритуала Нарушения Покоя Усопших, умоляя почившего брага простить их. Но почившего брата там не было и в помине. Напрасно вырыв яму глубиною в две сажени, могильщики прекратили работу. Священнослужители пришли в явное замешательство, толпа

застыла в ужасе. Могила была пуста. В этом не было никаких сомнений.

После краткого совещания с Верховным Прелатом Великий Мэр приказал рабочим вскрыть другую могилу. На этот раз решено было повременить с ритуалом, пока не обнаружится гроб. Но и здесь не было ни гроба, ни мертвеца.

Смятение и ужас воцарились на кладбище. Люди с воплями метались взад и вперед, стеная и жестикулируя. Все кричали разом, не слушая друг друга. Некоторые помчались за лопатами, мотыгами, кирками. Другие тащили плотничьи стамески и даже зубила из мастерской мраморных памятников и с помощью этих малопригодных орудий принимались раскапывать первые попавшиеся могилы. Иные бросались ничком на могильные холмики и яростно разгребали землю голыми руками, напоминая собак, охотящихся на сурков. Еще до наступления темноты было перерыто почти все кладбище. Каждая могила была исследована до дна, и теперь тысячи людей, превозмогая усталость, ожесточенно рыли землю на тропинках между могилами. Вечером были зажжены факелы, и при их зловещем свете эти жалкие безумцы, подобно бесовскому легиону, справляющему какой-то нечестивый обряд, продолжали свой бесплодный труд, пока не перерыли все кладбище. Но они не нашли ни одного трупа и даже ни одного гроба.

Объяснялось все это очень просто. Существенную часть моего дохода составляла продажа трупов моим медицинским коллегам. Никогда прежде они так обильно не снабжались материалом для своих ученых исследований, и в благодарность за эти неоценимые заслуги перед наукой, они без числа награждали меня дипломами, учеными степенями и почетными званиями. Но предложение сильно превышало спрос: при самом расточительном потреблении трупов, они не могли использовать и половины той продукции, которую поставляло им мое врачебное искусство. Для утилизации излишков я основал одно из крупнейших, оборудованных по последнему слову техники, мыловаренных предприятий в стране. Прекрасные качества моего туалетного мыла «Гомолин»

были засвидетельствованы аттестатами святейших теологов, и весьма лестно отозвалась о моем мыле также знаменитая Блуделина Спатти – самое чистое сопрано нашего времени.

Банкротство фирмы Хоуп и Уондел

От мистера Джейбиза Хоупа, Чикаго,
мистеру Пайку Уонделу в Нью-Орлеан,
2 декабря 1877 года

Не стану утруждать Вас, дорогой друг, описанием моей поездки из Нью-Орлеана в этот полярный край. В Чикаго лютый холод, и всякий южанин, который, подобно мне, явится сюда без защитных приспособлений для носа и ушей, поверьте, будет горько сожалеть о том, что, собираясь в путь, столь неосмотрительно сэкономил на снаряжении.

Но к делу. Озеро Мичиган промерзло насквозь. Вообразите, о дитя жаркого климат а, ничейные ледяные поля, протяженностью в триста миль, шириной в сорок миль и толщиной в шесть футов! Это похоже на ложь, дорогой Пайки, но Ваш компаньон по фирме «Хоуп и Уондел, Нью-Орлеанская Оптовая Продажа Башмаков и Туфель» еще никогда не врал. Я намерен прибрать этот лед к рукам. Сворачивайте наше дело и безотлагательно шлите мне все деньги. Я воздвигну склад, грандиозный как Капитолий в Вашингтоне, набью его льдом до отказа и стану по Вашему требованию и в соответствии со спросом на южном рынке отгружать лед на судах. Могу посылать лед в виде плит для катков, статуэток для украшения каминных полок, стружек для сиропов, а также в жидком виде для мороженого и вообще для любых надобностей. Вот это вещь!

Вкладываю в письмо ломтик льда в качестве образчика. Видели ли Вы когда-нибудь такой прелестный лед?

От мистера Пайка Уондела, Нью-Орлеан,
мистеру Джейбизу Хоупу в Чикаго,
24 декабря 1877 года

Ваше письмо пришло в таком безобразном виде, до такой степени размокло и расплылось, что оказалось совершенно неудобочитаемо. Должно быть, оно все время шло водой. Однако с помощью химии и фотографии мне удалось его кое-как разобрать. Отчего же Вы не вложили обещанный образчик льда?

Я распродал все (должен сказать, с ужасающим убытком) и прилагаю чек на вырученную сумму. Немедленно начинаю сражаться за подряды. Во всем полагаюсь на Вас, но все-таки позволю себе спросить, а не было ли попыток выращивать лед в наших местах? Ведь у нас есть озеро Пончертрен.

От мистера Джейбиза Хоупа, Чикаго,
мистеру Пайку Уонделу в Нью-Орлеан,
27 февраля 1878 года

Дорогой Уонни, вот бы Вам посмотреть на наш новый склад для льда! Он, правда, дощатый, сколочен на скорую руку, и все-таки это не склад, а просто загляденье и стоит кучу денег (хотя земельную ренту я не плачу). Размерами он почти не уступает Капитолию в Вашингтоне, Как Вы думаете, не увенчать ли нам его шпилем? Он у меня почти заполнен, пятьдесят рабочих рубят лед и набивают склад днем и ночью – ужасно холодная работа! Между прочим, когда я писал Вам в прошлый раз, лед был толщиной в десять футов, сейчас он тоньше. Но пусть Вас это не огорчает: его еще здесь сколько угодно.

Наш склад расположен милях в десяти от города, так что посетители меня не очень беспокоят, что весьма отрадно. А сколько здешняя публика по этому поводу зубоскалила и хихикала!

Как это ни абсурдно и невероятно, Уонни, но знаете, по-моему, с тех пор как потеплело, наш лед стал еще холоднее. Ей-богу, это так. Можете упомянуть об этом в рекламах.

От мистера Пайка Уондела, Нью-Орлеан,
мистеру Джейбизу Хоупу в Чикаго,
7 марта 1878 года

Все идет прекрасно. Я получаю сотни заказов. Наш лед будет нарасхват. Фирму мы назовем «Вечный Лед, Нью-Орлеан-Чикаго». Вы почему-то не сообщили мне, какой он будет, – пресный или соленый. Если пресный, не подойдет для приготовления пищи, а если соленый, то испортит мятный сироп. И где он холоднее – внутри или по наружным срезам?

От мистера Джейбиза Хоупа, Чикаго,
мистеру Пайку Уонделу,
3 апреля 1878 года

На Озерах открылась навигация, пароходы кишмя кишат. Я на плаву, держу курс на Буффало с долговым обязательством «Вечного Льда» в жилетном кармане. Мы обанкротились, мой бедный Пайки, «и славы, счастья не знать нам в мире сем». Устройте собрание кредиторов, но сами там лучше не показывайтесь.

Вчера ночью шхуна, следовавшая из Милуоки, врезалась в груду досок, сваленную на гигантской глыбе плавучего льда – впервые в этих водах встречен айсберг. Оставшиеся в живых говорят, что айсберг величиной с вашингтонский Капитолий. И половина этого айсберга принадлежит Вам, Пайки!

Как это ни печально, но дело в том, что я выстроил склад на неподходящем месте, в миле от берега (на льду, как вы понимаете), и когда началось таяние... Бог мой, Уонни, я ничего печальнее не видывал! Представляю себе, как Вы рады, что меня в то время на складе не было.

Какие нелепые вопросы Вы мне все время задаете. Бедный мой компаньон, ничего-то Вы не понимаете в торговле льдом!

Сальто мистера Свиддлера

Джерома Боулза (как рассказывал джентльмен по имени Свиддлер) собирались повесить в пятницу девятого ноября, в пять часов вечера. Это должно было произойти в городе Флетброке, где он сидел в тюрьме. Джером был моим другом, и я, естественно, расходился во мнениях о степени его виновности с присяжными, осудившими его на основании установленного следствием факта, что он застрелил индейца без всякой особенной надобности. После суда я неоднократно пытался добиться от губернатора штата помилования Джерома; но общественное мнение было против меня, что я приписывал отчасти свойственной людям тупости, отчасти же распространению школ и церквей, под влиянием которых Крайний Запад утратил прежнюю простоту нравов. Однако все то время, что Джером сидел в тюрьме, ожидая смерти, я, всеми правдами и неправдами, добивался помилования, не жалея сил и не зная отдыха; и утром, в тот самый день, когда была назначена казнь, губернатор послал за мной и, сказав, «что не желает, чтобы я надоедал ему всю зиму», вручил мне ту самую бумагу, в которой отказывал столько раз.

Вооружившись этим драгоценным документом, я бросился на телеграф, чтобы отправить депешу во Флетброк на имя шерифа. Я застал телеграфиста в тот момент, когда он запирал двери и ставни конторы. Все мои просьбы были напрасны: он ответил, что идет смотреть на казнь и у него нет времени отправить мою депешу. Следует пояснить, что до Флетброка было пятнадцать миль, а я находился в Суок-Крике, столице штата.

Телеграфист был неумолим, и я побежал на станцию железной дороги узнать, скоро ли будет поезд на Флетброк. Начальник станции с невозмутимым и любезным злорадством сообщил мне, что все служащие дороги отпущены на казнь Джерома Боулза и уже уехали с ранним поездом, а другого поезда не будет до завтра.

Я пришел в ярость, но начальник станции преспокойно выпроводил меня и запер двери.

Бросившись в ближайшую конюшню, я потребовал лошадь. Стоит ли продолжать историю моих злоключений? Во всем городе не нашлось ни одной лошади – все они были

заблаговременно наняты теми, кто собирался ехать на место казни. Так, по крайней мере, мне тогда говорили; я же знаю теперь, что это был подлый заговор против акта милосердия, ибо о помиловании стало уже известно.

Было десять часов утра. У меня оставалось всего семь часов на то, чтобы пройти пятнадцать миль пешком, но я превосходный ходок, к тому же силы мои удесятеряла ярость; можно было не сомневаться, что я одолею это расстояние и еще час останется у меня в запасе. Лучше всего было идти по линии железной дороги: она шла, прямая как струна, пересекая ровную безлесную равнину, тогда как шоссе делало большой крюк, проходя через другой город.

Я зашагал по полотну с решимостью индейца, ступившего на военную тропу. Не успел я сделать и полумили, как меня нагнал «Ну-и-Джим» – известный под этим именем в Суон-Крике неисправимый шутник, которого все любили, но старались избегать.

Поравнявшись со мною, он спросил, уж не иду ли я «смотреть эту потеху». Сочтя за лучшее притвориться, я ответил утвердительно, но ничего не сказал о своем намерении положить этой потехе конец; я решил проучить «Ну-и-Джима» и заставить его прогуляться за пятнадцать миль попусту – было ясно, что он направляется туда же. Однако я бы предпочел, чтобы он или отстал, или обогнал меня. Первого он не хотел, а второе было ему не по силам, поэтому нам приходилось шагать рядом.

День был пасмурный и очень душный для этого времени года. Рельсы уходили вдаль между двумя рядами телеграфных столбов, словно застывших в своем унылом однообразии, и стягивались в одну точку на горизонте. Справа и слева сплошной полосой тянулось удручающее однообразие прерий.

Но я почти не думал обо всем этом, так как, будучи крайне возбужден, не чувствовал гнетущего влияния пейзажа. Я собирался спасти жизнь другу и возвратить обществу искусного стрелка. О своем спутнике, чьи каблуки хрустели по гравию чуть позади меня, я вспоминал только тогда, когда он обращался ко мне с лаконическим и, казалось, насмешливым вопросом: «Устал?» Разумеется. я устал, но скорее умер бы, чем признался в этом.

Мы прошли таким образом, вероятно, около половины дороги, гораздо меньше чем в половину времени, которым я

располагал, и я только-только разошелся, когда «Ну-и-Джим» снова нарушил молчание:

– В цирке колесом ходил, а?

Это была совершенная правда! Очутившись однажды в весьма затруднительных обстоятельствах, я добывал пропитание таким способом, извлекая доход из своих акробатических талантов. Тема эта была не из приятных, и я ничего не ответил. «Ну-и-Джим» не отставал:

– Хоть бы сальто мне показал, а?

Глумление, сквозившее в этих издевательских словах, трудно было стерпеть: этот молодец, по-видимому, решил, что я «выдохся», тогда, разбежавшись и хлопнув себя руками по бедрам, я сделал такой флик-флак, какой только возможно сделать без трамплина! В то мгновение, когда я выпрямился и голова моя еще кружилась, «Ну-и-Джим» проскочил вперед и вдруг так завертел меня, что я едва не свалился с насыпи. Секундой позже он зашагал по шпалам с невероятной быстротой и, язвительно смеясь, оглядывался через плечо, словно отколол бог весть какую ловкую штуку, для того чтобы очутиться впереди.

Не прошло и десяти минут, как я догнал его, хотя должно признать, что он был замечательным ходоком, Я шагал с такой быстротой, что через полчаса опередил его, а когда час был на исходе, Джим казался неподвижной черной точкой позади и, как видно, уселся на рельсы в полном изнеможении.

Избавившись от «Ну-и-Джима», я начал думать о моем друге, сидевшем в тюремной камере Флетброка, и у меня мелькнула мысль, что с казнью могут поспешить. Я знал, что народ настроен против него и что там будет много прибывших издалека, а они, конечно, захотят вернуться домой засветло. Кроме того, я не мог не сознаться самому себе, что пять часов слишком позднее время для повешения. Мучимый этими опасениями, я бессознательно ускорял шаг с каждой минутой и под конец чуть ли не пустился бегом. Я сбросил сюртук и отшвырнув его прочь, распахнул ворот рубашки и расстегнул жилет. Наконец, отдуваясь и пыхтя, как паровоз, я растолкал кучку зевак, стоявших на окраине города, и как безумный замахал конвертом над головой крича:

– Обрежьте веревку! Обрежьте веревку!

И тут – ибо все смотрели на меня в совершенном изумлении и молчали – я нашел время оглядеться по сторонам, удивляясь

странно знакомому виду города. И вот дома, улицы, площадь – все переместилось на сто восемьдесят градусов, словно повернувшись вокруг оси, и как человек, проснувшийся поутру, я очутился среди привычной обстановки. Яснее говоря, я прибежал обратно в Суон-Крик, ошибиться было невозможно.

Все это было делом «Ну-и-Джима». Коварный плут намеренно заставил меня сделать головокружительное сальто-мортале, толкнул меня, завертел и пустился в обратный путь, тем самым заставив и меня идти в обратном направлении. Пасмурный день, две линии телеграфных столбов по обе стороны полотна, полное сходство пейзажа справа и слева – все это участвовало в заговоре и помешало мне заметить перемену направления.

Когда в тот вечер экстренный поезд вернулся из Флетброка, пассажирам рассказали забавную историю, случившуюся со мной. Как раз это и было нужно, чтоб развеселить их после того, что они видели, – ибо мое сальто сломило шею Джерому Боулзу, находившемуся за семь миль от меня!

Из сборника «Фантастические басни»

МОРАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП И МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЫГОДА

На мостике, по которому мог пройти только кто-нибудь один, Моральный Принцип повстречался с Материальной Выгодой.

– Пади ниц, презренная! – рявкнул Моральный Принцип, – и я пройду по тебе.

Материальная Выгода посмотрела ему прямо в глаза и ничего не сказала.

– Гм! давай... – с запинкой проговорил Моральный Принцип, –...давай бросим жребий, кому податься назад, пока другой не перейдет.

Материальная Выгода все так же безмолвствовала, вперяясь в него взглядом.

– Во избежание ссоры, – отчасти даже с волнением продолжал Моральный Принцип, – я, пожалуй, лягу, а ты пройдешь по мне.

И вот тогда у Материальной Выгоды отверзлись уста.

– Вряд ли по тебе приятно будет ступать, – сказала она. – Мне далеко не безразлично, что у меня под ногами. Я на этот счет малость привередлива. Прыгай-ка ты в воду.

Тем дело и кончилось.

ЦЕРКОВНЫЙ СТАРОСТА

Один Бродячий Проповедник, потрудившись несколько часов подряд в вертограде благодати духовной, шепнул Старосте местного храма:

– Брат мой, эти люди хорошо тебя знают, помощь твоя, не словом, а делом, принесет обильные плоды. Будь так добр, обойди вместо меня прихожан с тарелкой, и четвертина сбора пойдет тебе.

Староста так и сделал, а потом ссыпал всю лепту себе в карман и, дождавшись, когда паства разошлась, пожелал Проповеднику спокойной ночи.

– А деньги-то, брат мой, деньги, которые ты собрал! – сказал Бродячий Проповедник.

– Тебе ничего не причитается, – последовал ответ. Враг рода человеческого ожесточил сердца их, и они только на четвертину и расщедрились.

ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ ПРЕСТУПНИК

Приговорив одного Преступника к каторжной тюрьме, Судья стал распространяться о проторях и убытках злокозненной жизни и о выгодах становления на путь истинный.

– Ваша честь, – перебил его Преступник. – Не соизволите ли вы изменить приговор? Дайте мне десять лет тюрьмы, и хватит с меня.

– Как?! – в изумлении воскликнул Судья. – Я же присудил вас всего к трем годам!

– Да, правильно, – подтвердил Преступник. – Три года тюрьмы, да еще проповедуете. Если на то будет ваша воля, нельзя ли смягчить приговор за счет проповеди?

ТЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА

Лидер одной политической партии прогуливался как-то по солнышку и вдруг увидел, что сопутствующая ему Тень оторвалась от него и быстро зашагала прочь.

– Вернись, подлая! – крикнул он.

– Будь я подлая, – ответила ему Тень, прибавляя ходу, – я бы тебя не бросила.

ДОРОЖКА

Одна Богатая Дама, вернувшись из заморских краев, сошла с парохода у Трясинной улицы и хотела было пройти в гостиницу пешком, прямо по грязи.

– Сударыня! – сказал ей Полисмен. – Да статочное ли это дело! Вы же измараете и туфельки и чулки.

– Ну и пускай! – с милой улыбкой отвечала ему Богатая Дама.

– Но в этом нет никакой нужды. Как вы сами изволите убедиться, от пристани и до гостиницы лежат павшие ниц газетчики. Они добиваются чести, чтобы вы прогулялись по ним.

– В таком случае, – сказала она, присаживаясь на крылечко и открывая саквояж, – придется мне надеть калоши.

ДВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЯ

Два Политических Деятеля обменивались однажды мнениями относительно награды, коей достойны те, кто служит обществу.

– Нет для меня ничего желаннее, – сказал Первый, – чем благодарность моих сограждан.

– Да, это было бы весьма лестно, – сказал Второй. – Но, увы! Для того чтобы удостоиться такой награды, надо отойти от политики.

Секунду они смотрели Друг на друга с невыразимой нежностью, потом Первый Политический Деятель проговорил вполголоса:

– На все воля господня! Поскольку мы не можем надеяться на такую награду, не будем роптать и удовольствуемся тем, что имеем.

И, отняв на миг правую руку от государственной казны, каждый из них поклялся, что роптать не будет.

ДРУГ ФЕРМЕРОВ

Один Знаменитый Филантроп, метивший в Президенты, внес на рассмотрение Конгресса билль о том, чтобы Правительство под его, Филантропа, личную ответственность предоставляло любые денежные ссуды избирателям, буде кто из них этого пожелает, а ученикам Воскресной школы пустился рассказывать, сколько он всего сделал на благо своей страны. В эту минуту Ангел увидел его с небес и заплакал.

– Вот вам наглядное подтверждение моих слов, сказал Знаменитый Филантроп, глядя, как ангельские слезинки секут пыль. – Ранние дожди сулят фермерам неисчислимую прибыль.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Во время проливного дождя Сторож Зоологического сада увидел, что Принципиальный Человек, скрючившись, сидит под брюхом у страуса, а тот спит, вытянувшись во весь свой рост.

– Послушайте, уважаемый сэр, – сказав Сторож. Вы, видимо, боитесь промокнуть, так залезайте лучше в сумку вон к той кенгуру – Saltatrix mackintosha, потому что, если этот страус проснется, он в одну минуту залягает вас до смерти!

– Ну и ладно, – ответил Принципиальный Человек, высокомерностью тона выражая свое презрение к соображениям практического порядка, что свойственно всей их братии. – Если этому страусу придет охота залягать меня до смерти, пусть лягает. А пока что его дело укрыть меня от ливня. Он проглотил мой зонтик.

СТРОГИЙ ГУБЕРНАТОР

Тюрьму штата посетил Губернатор, и, воспользовавшись этим, один Заключенный обратился к нему с мольбой о помиловании.

– За что вы сидите? – последовал вопрос.

– Я занимал высокий пост, – смиренно ответил Заключенный, – а низшие должности продавал.

– В таком случае я отказываюсь вмешиваться в ваше дело, – отрезал Губернатор. – Человек, который использует свой пост для достижения личных целей и радеет только о собственном благе, не достоин свободы. Кстати, сказал он, обращаясь к Начальнику тюрьмы, лишь только Заключенный, понурившись, пошел прочь, – когда я назначал вас на это место, мне дали понять, что по совету ваших друзей депутаты от округа Шикэйн будут голосовать на ближайших выборах за... за переизбрание нынешних представителей власти. Надеюсь, меня правильно уведомили?

– Да, сэр.

– Ну что ж, прекрасно. Пожелаю вам всего хорошего. Будьте любезны назначить моего племянника на должность Ночного Тюремного Капеллана, коему положено вести с преступниками душеспасительные беседы о Матерях и Сестрах.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Услыхав шум побоища, один Христианин, живущий на Востоке, спросил своего Толмача, что там происходит.

– Буддисты режут Магометан, – с истинно восточной невозмутимостью ответствовал Толмач.

– Кто бы мог предполагать, – сказал Христианин, проявляя научный интерес к происходящему, – что это сопровождается таким шумом?

– А Магометане режут Буддистов, – добавил Толмач.

– Удивительное дело, – в раздумье продолжал Христианин, – какой ожесточенный и к тому же повсеместный характер носят религиозные распри!

Сказав это, он принял добродетельный вид и отправился на телеграф вызывать отряд головорезов для защиты интересов Христиан.

КОМАНДА СПАСАТЕЛЬНОЙ ЛОДКИ

Отважная Команда со станции спасения на водах только было вознамерилась отправиться на спасательной лодке вдоль побережья, как вдруг увидела в море перевернувшееся судно, за киль которого цеплялись люди.

– Какое счастье, – сказала Отважная Команда, что мы вовремя их заметили. Ведь нас могла бы постигнуть такая же участь.

И они втащили свою лодку в сарай и сохранили себя для дальнейшей службы на благо родины.

ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Один Государственный Муж, преданный суду по решению жестокосердого Большого Жюри, был арестован шерифом и брошен в тюрьму. Поскольку это оскорбило его тонкую душу, он вызвал к себе Окружного Прокурора и потребовал, чтобы возбужденное против него дело прекратили.

– На каком основании? – спросил Окружной Прокурор.

– За неимением улик, – ответил обвиняемый.

– А это неимение случайно не при вас? – спросил Прокурор. – Мне бы хотелось взглянуть на него.

– Сделайте одолжение, – сказал обвиняемый. Вот оно.

С этими словами он вручил Окружному Прокурору чек, и, внимательно ознакомившись с ним. Прокурор вспомнил о презумпции невиновности и заявил, что более полного отсутствия доказательств ему не приходилось видеть. Этого достаточно, пояснил он, чтобы оправдать самого бедного человека в мире.

РАСХОЖДЕНИЕ ВО МНЕНИЯХ

Делегация, прибывшая в Вашингтон, явилась на прием к Новому Президенту и сказала:

– Ваше Превосходительство, мы никак не можем договориться, кто из наших Любимых Сыновей будет представлять нас в вашем Кабинете.

– В таком случае, – сказал Новый Президент, придется мне продержать вас под замком До тех пор, пока вы не договоритесь.

И всю Делегацию бросили в глубокое подземелье под крепостным рвом, где она не одну неделю продолжала расходиться во мнениях, но под конец покончила со своими разногласиями и потребовала, чтобы ее допустили к Новому Президенту.

– Дети мои! – сказал он. – Что может быть лучше единодушия! Состав моего Кабинета был сформирован до нашей с вами первой беседы, но вы явили блистательный пример патриотизма, подчинив свои личные пристрастия интересам всеобщего блага. Разъезжайтесь же по своим прекрасным домам и будьте счастливы.

ДВОЕ ГРАБИТЕЛЕЙ

Двое Грабителей попивали грог в придорожном кабачке и обсуждали свои вечерние похождения.

– Я остановил Начальника Полиции, – сказал Первый, – и он ушел у меня голенький.

– А мне, – сказал Второй, – попался Окружной Прокурор, и он ушел...

– Силы небесные! – с изумлением и восторгом воскликнул Первый Грабитель. – Прокурор ушел от тебя голенький?

– Нет, – пояснил неудачник. – Он ушел, прихватив с собой почти все, что было на мне.

РУКА НЕ ПРИ ДЕЛЕ

Одному Преуспевающему Коммерсанту пришлось как-то обратиться с письмом к Вору, и он выразил в этом письме желание обменяться с ним при встрече рукопожатием.

– Нет, – ответил Вор. – Есть на свете вещи, которые я никогда не возьму, в том числе и вашу руку.

– Тут надо пустить в ход стратегию, – сказал один Философ, когда Преуспевающий Коммерсант пожаловался ему на высокомерный ответ Вора. – Оставьте как-нибудь вечерком свою руку не при деле, и он возьмет ее.

И вот однажды вечером Преуспевающий Коммерсант вынул руку из кармана ближнего своего, и, увидев его длань свободной, Вор ухватил ее с жадностью.

НЕСУСВЕТНЫЙ БОЛВАН

Судья обратился к Осужденному Убийце со следующими словами:

– Подсудимый, имеете ли вы что-нибудь сказать, в отмену вынесенного вам смертного приговора?

– А то, что я скажу, повлияет на ход дела? – осведомился Осужденный Убийца.

– Да нет, вряд ли, – в раздумье проговорил Судья. – Нет, Никак не повлияет.

– В таком разе, – сказал Осужденный, – мне хотелось бы отметить, что второго такого несусветного болвана, как вы, не найдется в семи штатах и во всем округе Колумбия.

ПОЛНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ

Белые Христиане, вознамерившиеся изгнать Китайских Язычников из одного американского города, нашли номер газеты, которая выходила в Пекине на китайском языке, и заставили одну из своих жертв перевести им напечатанную там передовую. Как выяснилось, газета призывала население провинции Панг Ки изгнать из Китая чужеземных дьяволов и предать огню их жилища и храмы. Это доказательство монгольского варварства вызвало у Белых Христиан такую ярость, что они не замедлили привести в исполнение свое первоначальное намерение.

ЧЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Наклеив на себя ярлык с обозначением цены, Политическая Карьера ходила по своему штату в поисках покупателей. В один

прекрасный день она предложила себя Человеку Истинной Добродетели, но Человек этот, увидев цену, обозначенную на ярлыке, и убедившись, что она вдвое превышает ту, которую он был не прочь заплатить, с позором прогнал Политическую Карьеру от своего порога. Тогда люди сказали:

– Смотрите! Вот честный гражданин!

И Человек Истинной Добродетели скромно признал: что правда, то правда.

СКРИПУЧИЙ ХВОСТ

Один Американский Государственный Деятель до ломоты в руках выкручивал хвост Британскому Льву и наконец был вознагражден за свои труды резким, скрежещущим звуком.

– Я знал, что тебя надолго не хватит! – радостно воскликнул Американец. – Твои муки – свидетельство моей политической мощи.

– Какие там муки! – зевая, сказал Британский Лев. – Просто в хвосте у меня смазки не хватает. Две – три капельки нефти на шарниры, и все образуется.

НАДО ВОЕВАТЬ

Народ Камземли питал неприязнь к народу Новочатки, и однажды Камземляне напали на матросов с Новочадальского корабля и двоих убили, а двенадцать ранили. Поскольку от Короля Камземли ничего не добились – ни извинений, ни возмещения причиненного ущерба, Король Новочатки пошел на него войной, дабы показать, что Новочадалов нельзя убивать безнаказанно. В сражениях, которые вслед за этим разыгрались, Камземляне убили две тысячи граждан Новочатки и двенадцать тысяч ранили. Но войны Камземля не выиграла, и это так раздосадовало ее жителей, что с тех пор где бы у них в стране ни оказался кто-нибудь из Новочадалов, имущество его и самая жизнь всегда подвергались опасности.

НЕ В КОНЯ КОРМ

Один Кандидат на выборную должность, обходивший своих избирателей, встретил на улице Няню, которая катила Ребенка в коляске, и, остановившись, запечатлел поцелуй на

замусоленной рожице Младенца. Выпрямившись, он увидел улыбку на лице Прохожего.

– Почему вы смеетесь? – спросил его Кандидат.

– Смеюсь я потому, – отвечал Прохожий, – что этот Младенец воспитывается в сиротском доме.

– А Няня? – возразил ему Кандидат. – Уж Няня-то, наверное, повсюду разнесет весть о столь трогательном случае и, может статься, даже опишет его в письме своему прежнему хозяину.

– Няня эта, – сказал насмешливый Прохожий, немая и вдобавок неграмотная.

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ЧЛЕН КОНГРЕССА

Один Член Законодательной Комиссии, торжественно поклявшийся своим Избирателям, что красть он не будет, по окончании сессии приволок домой чуть ли не добрую половину купола Капитолия. Узнав об этом, его Избиратели созвали митинг и, исполненные негодования, постановили вывалять своего Представителя в смоле и перьях.

– Это вопиющая несправедливость! – сказал Член Законодательной Комиссии. – Я действительно обещал вам не красть, но разве кто-нибудь слышал от меня, что лгать я тоже не буду?

Избиратели сочли его человеком честным и выдвинули в Конгресс Соединенных Штатов, пожелав ему ни пуха ни перьев.

ГОСУДАРСТВИННЫЙ МУЖ

Один Государственный Муж пожелал выступить с речью на заседании Торговой Палаты, но слова ему не дали на том основании, что он не имеет никакого касательства к торговым делам.

– Господин Председатель, – вставая с места, сказал один Престарелый Член этого Учреждения. – Насколько я могу судить, вы возражаете не по существу. Уважаемый джентльмен имеет самое близкое и самое непосредственное отношение к торговле: он является объектом купли и продажи.

ИСТЕЦ И СУДЬЯ

Один Многоопытный Коммерсант ожидал решения суда по своему иску о возмещении убытков, причиненных ему железнодорожной компанией. Дверь отворилась, и в зал вошел Судья.

– Итак, – сказал он, – сегодня я буду разбирать ваше дело. Но меня интересует, как вы сможете выразить свое удовлетворение, если Суд решит в вашу пользу?

– Сэр, – ответил ему Многоопытный Коммерсант. Рискуя навлечь на себя ваш гнев, я предложу вам половину суммы своего иска.

– Неужели я сказал, что только собираюсь слушать ваше дело? – будто очнувшись от сна, пробормотал Судья. – Бог мой! Какая рассеянность! Я же хотел сказать, что решение уже вынесено и сумма иска присуждена вам полностью.

– Неужели я сказал, что уделю вам половину? – холодно произнес Многоопытный Коммерсант. – Бог мой! Того и гляди, меня сочтут мошенником! Я же хотел сказать, что чрезвычайно вам признателен.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Узнав, что сессия Законодательного Органа закончила свою работу, Избиратели одного Округа созвали многолюдный митинг, дабы решить, какому наказанию подвергнуть их Достонепочтенного Представителя. Один оратор стоял за то, чтобы выпустить ему кишки, следующий советовал прогнать его сквозь строй. Кто высказывался за повешение, кто полагал, что ему пойдет на пользу, если он появится на людях в костюме из смолы и перьев. Один Старец, славящийся своей мудростью и обыкновением пускать слюни на манишку, заметил, что собравшимся не мешало бы сначала изловить этого зайчика. Тогда Председатель назначил Комиссию, которой вменили в обязанность выследить ночью их жертву и схватить ее в ту минуту, когда она будет тайком пробираться с близлежащих болот в город. Но обсуждение этого вопроса вдруг прервал гром духового оркестра. Их Достонепочтенный Представитель катил с вокзала в карете четверкой, под трубные звуки и с развевающимся знаменем. Не прошло и нескольких минут, как он появился в зале, взошел на трибуну и сказал, что сейчас наступил самый торжественный миг в его жизни. (Аплодисменты.)

СВЯТОЙ И ГРЕШНИК

– Друг мой, – сказал Закоренелому Грешнику один высокий Чин Армии спасения. – Когда-то я был пьяницей, вором и убийцей. Таким, каков я теперь, меня сделало Божественное Благоволение.

Закоренелый Грешник смерил его взглядом с головы до ног.

– Надо надеяться, – сказал он, – что со мной Божественное Благоволение связываться не будет.

ПОДХОДЯЩИЙ ЗЯТЬ

Один Умнейший Человек вершил делами банка и предоставлял займы своим сестрам – родным и двоюродным, а также теткам. Однажды к нему подошел Оборванец и попросил у него ссуду в сто тысяч долларов.

– А под какое обеспечение? – осведомился Умнейший Человек.

– Под самое надежное, какое только может быть, доверительным тоном отвечал проситель. – Я скоро сделаюсь вашим зятем.

– Спору нет, гарантия солидная, – с полной серьезностью проговорил Банкир. – Но какие у вас основания претендовать на руку моей дочери?

– Попробуйте их опровергнуть, – сказал Оборванец. – У меня скоро будет капитал в сто тысяч долларов.

Не обнаружив ни единого слабого звена в этом плане, сулившем им взаимную выгоду. Финансист выдал чек Переодетому Прожектеру и послал записку жене, чтобы она сбросила дочку со счета.

ХОРОШЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

– Какая благодатная у тебя страна! – сказала Республиканская Форма Правления Суверенному Государству. – Будь любезно лежать тихо и смирно, покуда я прогуляюсь по тебе, славословя всеобщее избирательное право и воспевая прелести гражданских и религиозных свобод. А ты тем временем можешь облегчить душу, проклиная абсолютизм и вырождающихся европейских монархов.

– С тех пор как ты пришла к власти, мне служат одни дураки и прохвосты, – отвечало Государство. Мои законодательные органы – и общегосударственные и муниципальные – превратились в воровские шайки. Налоги мои стали непомерны, судьи – продажны; мои города позорят цивилизацию; акционерные общества душат частную инициативу. Все мои дела пришли в упадок, и хаос, воцарившийся в них, принял поистине преступный характер.

– Что правда, то правда, – сказала Республиканская Форма Правления, надевая подбитые гвоздями сапоги, но ты только вспомни, как я тебя развлекаю каждое Четвертое июля .

ПАТРИОТ И БАНКИР

Один Патриот занял высокий пост, будучи совсем бедным человеком, а покинул его богачом. Друзья дали ему рекомендательное письмо в банк, где он хотел открыть счет.

– Что ж, пожалуйста, – сказал Честный Банкир. Мы с удовольствием вступим с вами в деловые отношения, но сначала зарекомендуйте себя честным человеком и верните государству то, что вы у него наворовали.

– Боже правый! – вскричал Патриот. – Но тогда мне и вкладывать будет нечего!

– Почему же? – сказал Честный Банкир. – Ведь мы здесь представляем не весь американский народ.

– Так... понимаю, – в раздумье проговорил Патриот. – В какой же сумме вы исчисляете долю вашего банка в возмещении того ущерба, который я нанес родине?

– Примерно в доллар, – последовал ответ.

И с горделивым сознанием, что он поступил мудро и достойно, радея о благе своей страны, Честный Банкир списал эту сумму со вновь открытого счета.

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ СЫН

Один Миллионер пришел в богадельню навестить своего отца и встретил там Соседа, который крайне удивился при виде его.

– Ка-ак! – сказал Сосед. – Вы все-таки навещаете иногда своего родителя?

– Если бы мы с ним поменялись местами, – отвечал Миллионер, – он, разумеется, ходил бы ко мне. Старичок всегда мною гордился. Кроме того, тихонько добавил он, – мне требуется его подпись. Я хочу застраховать его жизнь.

ГОЛОД ИЛИ МОР?

– Как мне ни жаль вас, мой доблестный друг, сказал Победитель, – но я не могу умолчать об этом. Мор косил мое войско, и не сдайся вы мне, я бы сам вам сдался.

– Вот это меня и страшило, – отвечал Побежденный Полководец. – Мои солдаты уже ели свои ремни и патронташи. Мы не смогли бы обеспечить вас продовольствием.

ИСТИНА И ПУТНИК

Один Человек, странствующий в пустыне, встретил там Женщину.

– Кто ты? – спросил он ее. – И почему ты живешь в этом гиблом месте?

– Меня зовут Истина, – отвечала ему Женщина, и я поселилась в пустыне, ибо хочу быть ближе к моим почитателям, коих люди гонят прочь от себя. Рано или поздно они все сюда стекаются.

– Как я погляжу, – сказал Путник, озираясь по сторонам, – здешние места не очень густо населены.

ГОСПОЖА ФОРТУНА И ПУТПИН

Устав с дороги, Путник прилег и уснул возле глубокого колодца. Тут его и нашла Госпожа Фортуна.

– Если этому глупцу приснится страшный сон и он свалится в воду, сказала Госпожа Фортуна, – люди будут говорить, что это дело моих рук. Тяжело терпеть злые поклепы, и я не хочу подвергаться им понапрасну.

С этими словами она столкнула Путника в колодец.

БОЕВОЙ КОНЬ И МЕЛЬНИК

Один Боевой Конь, ходивший под седлом у Полковника Милицейских Частей, услыхал, что вражеские полчища, того и

гляди, вторгнутся в их страну, и, повстречав по дороге Мельника, предложил пойти к нему в услужение.

– Нет, – отвечал сей патриот. – Такие, которые покидают свой пост в грозную годину, мне не нужны. Что может быть отраднее, чем сложить голову за родину!

Возвышенные чувства, прозвучавшие в этих словах, показались Боевому Коню знакомыми, и, приглядевшись повнимательнее, он узнал под обличьем Мельника своего бывшего хозяина.

БАРАШЕК И ВОЛК

Волк утолял жажду в речке. Увидев это, Барашек убежал из-под защиты пастуха и, с вызывающим видом обойдя Волка стороной, спустился ниже по берегу.

– Прошу заметить, – сказал Барашек, – что, как правило, реки вверх не текут. Если я тут испью, это не замутит воду там, где вы стоите, так что вам не сыскать предлога, чтобы зарезать меня.

– А я и не знал, – ответил ему Волк, – что мне нужно выискивать какие-то предлоги, чтобы объяснить свое пристрастие к бараньим отбивным.

Тут маленькому логику пришел конец.

ФЕРМЕР И ЕГО СЫНОВЬЯ

Один Фермер собрался помирать и перед смертью созвал своих сыновей, которые резались в карты с доктором, покуда отец их болел, и совсем запустили виноградник.

– Дети мои, – сказал он им, – в саду у меня зарыто бесценное сокровище. Вскопайте землю и найдете его.

И сыновья выкопали все сорные травы, а заодно и виноградные лозы и за недосугом даже забыли похоронить старика отца.

ОСЕЛ И СТРЕКОЗЫ

Услышав пение Работников в поле, один Государственный Деятель захотел, чтобы у него тоже было легко на душе, и полюбопытствовал, что исторгает у них песню из груди.

– Честность, – отвечали Работники.

Тогда Государственный Деятель решил тоже стать честным, и дело кончилось тем, что умер он от истощения.

МОЛОЧНИЦА И ПОДОЙНИК

Один Сенатор как-то размечтался: «На те деньги, что мне обещаны, если я подам в Сенате голос за субсидирование ферм для разведения кошек, можно будет обзавестись набором инструментов для краж со взломом и открыть банк. Доход с этого предприятия даст мне возможность приобрести шхуну – черную, с длинным, низким корпусом, поднять на ней пиратский флаг и заняться коммерческими операциями на океанских просторах. Полученные барыши я пущу в уплату за избрание меня Президентом, а на этом поприще я выручу за четыре года, считая по пятидесяти тысяч долларов ежегодных...» Но на этот подсчет ему понадобилось так много времени, что голосование за выдачу субсидий кошачьим фермам прошло без его участия, вследствие чего он вернулся к своим избирателям честным человеком, терзаемым угрызениями чистой совести.

Из книги «Словарь Сатаны»

А.

Абсурд. Утверждение или мнение, явно противоречащее тому, что думаем на этот счет мы сами.

Академия. 1) В древности – школа, где обучали морали и философии; 2) теперь – школа, где обучают футболу.

Амнистия. Великодушие государства по отношению к тем преступникам, наказать которых ему не по средствам.

Апеллировать. Собрать игральные кости в стаканчик для следующего броска.

Аплодисменты. Эхо прозвучавшей пошлости.

Аристократия. Правление лучших людей. (Это значение слова устарело так же, как и данная форма правления.) Люди, носящие ворсистые шляпы и чистые сорочки, а также повинные в высокой образованности и подозреваемые в том, что имеют счет в банке.

Б.

Барометр. Остроумный прибор, показывающий, какая сейчас стоит погода.

Безбожие. Основная из великих религий мира.

Безнаказанность. Богатство.

Белый. Черный.

Благоговение. Чувство, испытываемое человеком к богу и собакой к человеку.

Ближний. Тот, кого нам предписано любить паче самого себя и который делает все, что может, чтобы заставить нас ослушаться.

Богатство. 1) Дар неба, означающий: «Сей есть сын мой возлюбленный, на нем же мое благоволение» (Джон Рокфеллер). 2) Награда за тяжелый труд и добродетель (Пирпонт Морган). 3) Сбережения многих в руках одного (Юджин Дебс) .

Составитель словаря, как он ни увлечен своим делом, признает, что к этим прекрасным определениям он не может добавить ничего существенного.

Брак. Организация общественной ячейки, в состав которой входят господин, госпожа, раб и рабыня, а всего двое.

Будущее. Тот период времени, когда дела наши процветают, друзья нам верны и счастье наше обеспечено.

В.

Вежливость. Самая приемлемая форма лицемерия.

Вера. Безоговорочное приятие того, что люди незнающие рассказывают о вещах небывалых.

Вилка. Инструмент, применяемый главным образом для того, чтобы класть в рот трупы животных. Раньше для этой цели служил нож, который многие почтенные особы и до сего времени предпочитают первому орудию, совсем, однако, ими не отвергаемому, а используемому как подспорье ножу.

То, что этих вольнодумцев не постигает немедленная и ужасная кара господня, является одним из самых разительных доказательств милосердия божия к ненавидящим его.

Виселица. Подмостки, на которых разыгрывается мистерия, главный исполнитель которой возносится на небо. В нашей стране виселица замечательна главным образом числом лиц, счастливо избегающих ее.

Воздух. Питательное вещество, предусмотренное щедрым провидением для откорма бедняков.

Волнение. Тяжелый недуг, вызванный приливом чувств от сердца к голове. Иногда сопровождается обильным выделением из глаз гидрат-хлорала натрия.

Восхищение. Вежливая форма признания чьего-либо сходства с вами самими.

Г.

Генеалогия. История происхождения от некоего предка, который сам отнюдь не стремился выяснить свою родословную.

Год. Период, состоящий из трехсот шестидесяти пяти разочарований.

Голод. Чувство, предусмотрительно внедренное провидением как разрешение Рабочего Вопроса.

Голосование. Осуществление права свободного гражданина валять дурака и губить свою родину.

Граница. В политической географии воображаемая линия между двумя государствами, отделяющая воображаемые права одного от воображаемых прав другого.

Д.

Дипломатия. Патриотическое искусство лгать для блага своей родины.

Дневник. Подневная запись тех поступков и мыслей, о которых записывающий может вспомнить не краснея.

Добродетель. Некоторые виды воздержания.

Дом. Сооружение, предназначенное служить жилищем для человека, мыши, крысы, таракана, прусака, мухи, москита, блохи, бациллы и микроба.

Дружба. Корабль, в ясную погоду достаточно просторный для двоих, а в ненастье – только для одного.

З.

Забывчивость. Дар божий, ниспосланный должникам в возмещение за отобранную у них совесть.

Злословить. Злостно приписывать другому дурные поступки, которые сам не имел случая или искушения совершить.

Знакомый. Человек, которого мы знаем достаточно хорошо, чтобы **занимать** у него деньги, но недостаточно хорошо, чтобы давать ему взаймы.

Знакомство. Степень близости, которую называют поверхностной, когда объект ее неизвестен и беден, и тесной, когда тот богат и знатен.

Знамение. В пору, когда ничего не случается, знак того, что что-либо случится.

Знаток. Специалист, который знает решительно все в своей области и ровно ничего во всех остальных.

Один старый гурман пострадал в железнодорожной катастрофе. Чтобы привести его в чувство, ему влили в рот немного вина. «Пойяк, разлива тысяча восемьсот семьдесят третьего года», – прошептал он – и умер.

И.

Избиратель. Человек, пользующийся священным правом голосовать за того, кому отдал предпочтение другой.

Извиняться. Закладывать фундамент для будущего проступка.

Иначе. Не лучше.

Иностранный (не-американский). Порочный, нестерпимый, нечестивый.

Историк. Крупнокалиберный сплетник.

История. Описание, чаще всего лживое, действий, чаще всего маловажных, совершенных правителями, чаще всего плутами, и солдатами, чаще всего глупцами.

К.

Капитал. Опора дурного правления.

Карман. Колыбель побуждений и могила совести. У женщин этот орган отсутствует; поэтому они действуют без побуждений, а совесть их, поскольку ей отказано в погребении, всегда жива и поверяет миру чужие грехи.

Катафалк. Детская колясочка смерти.

Коммерция. Сделки, в ходе которых А отбирает у Б товары, принадлежащие В, а Б в возмещение потери вытаскивает из кармана у Г деньги, принадлежащие Д.

Компромисс. Форма улаживания спора, позволяющая каждому из противников с удовлетворением почувствовать, что он получил то, что ему не причиталось, а потерял только то, что следовало ему по праву.

Конгресс. Собрание людей, которые сходятся, чтобы отменять законы.

Консерватор. Государственный деятель, влюбленный в существующие непорядки, в отличие от либерала, стремящегося заменить их непорядками иного рода.

Коран. Книга, которую магометане в безумии своем считают боговдохновенной, но которая, как известно христианам, является лишь злостными выдумками, противоречащими Священному писанию.

Корпорация. Хитроумное изобретение для получения личной прибыли без личной ответственности.

Корректор. Злоумышленник, который делает вашу рукопись бессмысленной, но искупает свою вину тем, что позволяет наборщику сделать ее неудобочитаемой.

Корсар. Политик морей. Красноречие. Искусство убеждать глупцов, что белое есть белое. Включает и способность представлять любой цвет в виде белого.

М.

Магия. Искусство превращать суеверие в звонкую монету. Существуют и другие искусства, служащие той же высокой цели, но по скромности своей составитель словаря о них умалчивает.

Медаль. Маленький металлический диск, даруемый в воздаяние за доблести, достижения и заслуги, более или менее достоверные.

Меньший. Менее предосудительный.

Мир. В международных отношениях – период надувательств между двумя периодами военных столкновений.

Мифология. Совокупность первоначальных верований народа о его происхождении, древнейшей истории, героях, богах и пр. в отличие от достоверных сведений, выдуманных впоследствии.

Мода. Деспот, которого умные люди высмеивают и которому подчиняются.

Мое. Вещь, принадлежащая мне, если я сумею схватить или удержать ее.

Мозг. Орган, посредством которого мы думаем, будто мы думаем. То, что отличает человека, которому достаточно чем-то быть, от человека, который стремится что-то делать. В нашу эпоху и при нашей республиканской форме правления мозг так высоко почитают, что обладатели его награждаются освобождением от тягот всякой государственной службы.

Молиться. Домогаться, чтобы законы Вселенной были отменены ради одного, и притом явно недостойного просителя.

Моральный. Соответствующий местному и изменчивому представлению о том, что хорошо и что плохо. Отвечающий всеобщему понятию, о выгоде.

Н.

Надоеда. Человек, который говорит, когда вам хотелось бы, чтобы он слушал.

Наперсник, **наперсница**. Человек, которому А поверяет тайны Б и который, в свою очередь, поверяет их В.

Неверный. В Нью-Йорке – тот, кто не разделяет Христова учения, в Константинополе – тот, кто исповедует его. Негодяй, недостаточно чтущий и скудно оделяющий священнослужителей, духовных лиц, пап, попов, пасторов, монахов, мулл, пресвитеров, знахарей, колдунов, прелатов, игумений, миссионеров, заклинателей, дьяконов, хаджи, муэдзинов, исповедников, браминов, примасов, пилигримов, странников, пророков, имамов, причетников, архиепископов, дьячков, псаломщиков, епископов, аббатов, приоров, проповедников, падре, куратов, канонисс, архидиаконов,

иерархов, шейхов, викариев, благочинных, гуру, факиров, настоятелей, дервишей, игумнов, раввинов, дьяконисс, улемов, лам, звонарей, кардиналов, приоресс, муфтиев, жрецов и кюре.

Невзгоды. Процесс акклиматизации, подготавливающий душу к переходу в иной, худший мир.

Ненависть. Чувство, естественно возникающее по отношению к тому, кто вас в чем-то превосходит.

Ненормальный. Не соответствующий стандарту. В области мышления и поведения быть независимым значит быть ненормальным, быть же ненормальным значит быть ненавистным. Поэтому составитель словаря советует добиваться большего сходства со Стандартным Человеком, чем то, которым он сам обладает. Достигший полного сходства обретет душевный покой, гарантию от бессмертия и надежду на место в аду.

О.

Обвинять. Утверждать вину или порочность другого человека, как правило – с целью оправдать зло, которое мы ему причинили.

Обдумывать. Искать оправдания для уже принятого решения.

Обласкать. Породить неблагодарность.

Образование. То, что мудрому открывает, а от глупого скрывает недостаточность его знаний.

Океан. Масса воды, занимающая до двух третей нашей планеты, созданной специально для человека, который, однако, лишен жабр.

Опыт. Мудрость, которая позволяет в уже затеянном сумасбродстве распознать старого, постылого знакомца.

Оригинальность. Способ утвердить свою личность,. столь дешевый, что дураки пользуются им для выставления напоказ собственной несостоятельности.

Остроумие. Соль, отсутствие которой сильно портит умственную стряпню американских юмористов.

Откровение. Знаменитая книга, в которой Иоанн Богослов сокрыл все, что он знал. Откровение сокрытого совершается комментаторами, которые не знают ровно ничего.

П.

Памятник. Сооружение, предназначенное увековечить то, что либо не нуждается в увековечении, либо не может быть увековечено. Обычай ставить памятники доведен до абсурда в памятниках «неизвестному покойнику», то есть в памятниках, назначение которых хранить память о тех, кто никакой по себе памяти не оставил.

Панегирик. Похвала человеку, у которого либо есть богатство и власть, либо хватило такта умереть.

Пантеизм. Доктрина, утверждающая, что все есть бог, в отличие от другой, гласящей, что бог есть все.

Патриот. Человек, которому интересы части представляются выше интересов целого. Игрушка в руках государственных мужей и орудие в руках завоевателей.

Патриотизм. Легковоспламеняющийся мусор, готовый вспыхнуть от факела честолюбца, ищущего прославить свое имя.

В знаменитом словаре д-ра Джонсона патриотизм определяется как последнее прибежище негодяя. Со всем должным уважением к высокопросвещенному, но уступающему нам лексикографу, мы берем на себя смелость назвать это прибежище первым.

Подагра. Медицинский термин для ревматизма у богатых пациентов.

Поздравление. Вежливое проявление зависти.

Понедельник. В христианских странах – день после бейсбольного матча.

Поносить (за глаза). Высказываться о том, каким вы находите человека, когда тот не может вас найти.

Похороны. Церемония, которой мы свидетельствуем свое уважение к покойнику, обогащая похоронных дел мастера, и отягчаем нашу скорбь расходами, которые умножают наши стоны и заставляют обильнее литься слезы.

Праздность. Опытное поле, на котором дьявол испытывает семена новых грехов и выращивает укоренившиеся пороки.

Превзойти. Нажить врага.

Преданность. Добродетель, присущая тем, кого вот-вот должны предать.

Презрение. Чувство благоразумного человека по отношению к врагу, слишком опасному для того, чтобы противиться ему открыто.

Приверженец. Последователь, который еще не получил всего, что он от вас ожидает.

Привидение. Внешнее и видимое воплощение внутреннего страха.

Придира. Человек, критикующий нашу работу.

Признавать. Сознаваться. Признание чужих погрешностей есть высший долг, налагаемый на нас любовью к истине.

Приличный. Уродливо наряженный согласно моде данной эпохи и страны.

В африканском селении Бурнобула Гха человек считается приличным, если в торжественных случаях он расписывает себе живот ярко-синей краской и привешивает сзади коровий хвост; в Нью-Йорке он может, при желании, обойтись без раскраски, но по вечерам должен носить два хвоста из овечьей шерсти, окрашенной в черный цвет.

Приниженность. Достойное и обычное состояние духа пред лицом богатства или власти. Особенно свойственно подчиненному, когда он обращается к начальнику.

Принуждение. Красноречие силы.

Пушка. Механизм, употребляемый для уточнения государственных границ.

Р.

Радикализм. Консерватизм завтрашнего дня, приложенный к сегодняшним нуждам.

Рай. Место, где нечестивые перестают досаждать вам разговорами о своих делах, а праведники внимательно слушают, как вы разглагольствуете о своих.

Рука. Своеобразный инструмент, прицепленный к человеческому плечу и, как правило, запускаемый в чей-нибудь карман.

С.

Самоочевидный. Очевидный для тебя самого и ни для кого больше.

Святой. Мертвый грешник в пересмотренном издании.

Священник. Человек, который берет на себя устроение наших духовных дел как способ улучшения своих материальных.

Священное писание. Боговдохновенные книги нашей святой религии в отличие от ложных и нечестивых писаний, на которых основаны все прочие верования.

Скрипка. Инструмент для щекотания человеческих ушей при помощи трения лошадиного хвоста о внутренности кошки.

Снаряд. Последний судья международных споров. Прежде такие споры разрешались физическим воздействием спорящих друг на друга с помощью простых аргументов, которыми снабжала их зачаточная логика того времени, то есть с помощью копья, меча и т. п. С ростом осмотрительности в военных делах снаряд пользуется все большим вниманием и в наши дни высоко ценится даже самыми храбрыми. Существенный его недостаток в том, что в исходный момент своего полета он требует участия человека.

Соболезновать. Доказывать, что утрата – – меньшее зло, чем сочувствие.

Совет. Самая мелкая монета из тех, что имеются в обращении.

Советоваться. Искать одобрения уже принятой линии поведения.

Союз. В международных отношениях – соглашение двух воров, руки которых так глубоко завязли друг у друга в карманах, что они уже не могут грабить третьего порознь.

Спина. Та часть тела вашего друга, которую вы можете созерцать, очутившись в беде.

Спор. Способ утвердить противников в их заблуждениях.

Сражение. Метод развязывания зубами политического узла, если его не удалось развязать языком.

Судьба. Для тирана – оправдание злодейства, для глупца – оправдание неудачи.

Счастье. Приятное ощущение, вызываемое созерцанием чужих страданий.

Съедобное. Годное в пищу и удобоваримое, как-то; червь для жабы, жаба для змеи, змея для свиньи, свинья для человека и человек для червя.

Т.

Танцевать. Прыгать под звуки игривой музыки, предпочтительно обнявшись с женой или дочерью ближнего. Существует много разновидностей танцев, но для всех тех, в которых участвуют кавалер и дама, характерны две

особенности: они подчеркнуто невинны и горячо любимы развратниками.

Телефон. Дьявольская выдумка, которая уничтожила некоторую возможность держать в отдалении нежелательное вам лицо.

Терпение. Ослабленная форма отчаяния, замаскированная под добродетель.

Труд. Один из процессов, с помощью которых А добывает собственность для Б.

Трус. Тот, кто в минуты опасности думает ногами.

У.

Уолл-стрит. Символ греховности в пример и назидание любому дьяволу. Вера в то, что Уолл-стрит не что иное, как воровской притон, заменяет каждому неудачливому воришке упование на царство небесное.

Успех. Единственный непростительный грех по отношению к своему ближнему.

Утешение. Сознание, что человеку, более вас достойному, повезло меньше, чем вам.

Ф.

Филистер. Тот, кто следует обычаю в мыслях, чувствах и склонностях. Он иногда бывает образован, часто обеспечен, обычно добродетелен и всегда напыщен.

Финансовая деятельность. Искусство, или наука, управлять доходами и ресурсами для вящей выгоды управляющего.

Х.

Хабеас корпус (Habeas corpus). Указ, согласно которому человека можно выпустить из тюрьмы, если его посадили туда не за то, за что следовало.

Христианин. Человек, верующий в Новый завет как в божественное учение, вполне отвечающее духовным потребностям его ближнего. Человек, следующий учению Христа постольку, поскольку оно не противоречит греховной жизни.

Ц.

Цена. Стоимость плюс разумное вознаграждение за угрызения совести при назначении цены.

Цирк. Место, где слоны, лошади и пони имеют возможность любоваться тем, как мужчины, женщины и дети валяют дурака.

Ч.

Часы. Прибор большой моральной ценности, облегчающий человеку заботу о будущем напоминанием б том, какая уйма времени еще остается в его распоряжении.

Честолюбие. Непреодолимое желание подвергнуться поруганию врагов при жизни и издевкам друзей после смерти.

Чтение. Совокупность того, что человек читает. В нашей стране, как правило, состоит из приключенческих романов, рассказов на местных диалектах и жаргонной юмористики.

Щ.

Щедрость. Великодушие того, кто имеет много и позволяет тому, кто не имеет ничего, получить все, что тот может.

Говорят, что одна ласточка пожирает ежегодно десять миллионов насекомых. Наличие этих насекомых я расцениваю как пример поразительной щедрости Творца в заботе о жизни своих творений.

Э.

Эгоист. Человек дурного тона, больше интересующийся собой, чем мной,

Экономить. Покупать бочонок виски, который вам не нужен, за цену коровы, которая вам не по карману.

Эрудиция. Пыль, вытряхнутая из книги в пустой череп.

Я.

Язычник. Темный дикарь, по глупости поклоняющийся тому, что он может видеть и осязать.

Содержание

Р. Орлова. Амброз Бирс/3

Из сборника «В гуще жизни» (1891)
Случай на мосту через Совиный ручей. *Перевод В. Топер*/15
Всадник в небе. *Перевод П. Охрименко/25*
Чикамога. *Перевод Ф. Золотаревской/*'32
Без вести пропавший. *Перевод Н. Рахмановой*/39
Убит под Ресакой. *Перевод М. Лорие/51*
Сражение в ущелье Коултера. *Перевод Ф. Золотаревской/58*
Добей меня. *Перевод С. Пшенникова и Д. Петрова/68*
Паркер Аддерсон, философ. *Перевод Б. Кокорева/14*
Офицер из обидчивых. *Перевод М. Лорие/82*
Один офицер, один солдат. *Перевод Б. Кокорева/93*
Пересмешник. *Перевод Ф. Золотаревской*/100
Наследство Гилсона. *Перевод Е. Калашниковой* /107
Проситель. *Перевод И. Волжиной/116*
Страж мертвеца. *Перевод Н. Рахмановой*/122
Человек и змея. *Перевод Н. Волжиной*/133
Соответствующая обстановка. *Перевод Е. Калашниковой*/141
Заколоченное окно. *Перевод Ф. Золотаревской/149*
Глаза пантеры. *Перевод А. Елеонской*/155

Из сборника «Может ли это быть?» (1892)
Тайна долины Макарджера. *Перевод Ф. Золотаревской* /165
Диагноз смерти. *Перевод О. Холмской*/173
Хозяин Моксона. *Перевод Н. Рахмановой*/177
Жестокая схватка. *Перевод Ф. Золотаревской*/187
Один из близнецов. *Перевод С. Пшенникова*/196
Кувшин сиропа. *Перевод Г. Прокуниной*/204
Заполненный пробел. *Перевод Н. Дарузес*/211
Проклятая тварь. *Перевод А. Елеонской/217*
Житель Каркозы. *Перевод Н. Рахмановой*/226

Из **сборника «Незначительные рассказы» (1894)**
Город почивших. *Перевод Ф. Золотаревской/230*
Банкротство фирмы Хоуп и Уондел. *Перевод Н. Рахмановой/231*
Сальто мистера Свиддлера. *Перевод П. Дарузес/240*

Из сборника «Фантастические басни» (1899). *Перевод Н. Волжиной/244*

Из книги «Словарь Сатаны» (1906). *Перевод И. Кашкина/* 261

Бирс А.
Б64 Заколоченное окно: Рассказы и миниатюры.– Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989.– 272 с. ISBN 5–7529–0182–0 В обл.: 1 р. 50 к. 130 тыс. экз.

В большинстве рассказов известного американского писателя прошлого века присутствует дух войны. Это важно для писателя не только потому, что война – часть его биографии, личный опыт,– на войне обнажается сокровенная сущность человека. Бирсу всегда хотелось исследовать человека в особых обстоятельствах, испытать на излом. Отсюда психологическая напряженность повествования, атмосфера «страшного сюжета», жестокость и необычайность ситуаций. Но главное – писатель скорбит о нехватке человечности, благородства, достоинства. Главнейшим злом Бирс считает непротивление человека всякому злу и насилию, призывает к рыцарству духа, к непокорности и свободолюбию.

40100-050
Б ———— 50–89 ББК 83.37США
М 158 (03)-89

Амброз Бирс

ЗАКОЛОЧЕННОЕ ОКНО

Редактор *С. В. Марченко*
Художник *В. С. Солдатов*
Художественный редактор *М. М. Кошелева*
Технический редактор *И. Ш. Трушникова*
Корректор *М. А. Казанцева*

На переплете использован фрагмент с картины П. Филонова «Человек в мире».

ИБ № 1978. Сдано в набор 17.01.89. Подписано в печать 27.04.89. Формат 84Х 108/32. Бумага кн-журнальная. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,3. Усл. кр. отт. 14,7. Уч. изд. л. 15,0. Тираж 130 000. Заказ 42. Цена 1 р. 50 к.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.